

родное пепелище

18+

воспоминания XX век

ЮРИЙ ГАВРИЛОВ

*курение вредит
вашему здоровью*



Юрий Львович Гаврилов

Марина Гаврилова

Родное пепелище

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65788246

SelfPub; 2021

Аннотация

"Человек не может вернуться в детство. Но может вообразить его. Люди с исключительной, феноменальной памятью – такие, как Юрий Львович Гаврилов – способны вообразить прошлое настолько точно, что оно сохраняет аутентичность в мельчайших деталях. И всё же это не может, да и не должно быть реальным прошлым, таким, как оно случилось когда-то. Это будет повестью о прошлом, тем более яркой повестью, чем талантливее рассказчик. А более талантливого повествователя, чем Юрий Гаврилов, повстречать было сложно, что там сложно – попросту невозможно. Он был тем гениальным задушевым рассказчиком, которого режиссёры фильмов иногда помещают за кадр, вооружая той скрытой мудростью, которая делает повествование неизмеримо шире и значительнее того, что мы видим и слышим." Иван Кузнецов.

Содержание

Вместо предисловия	4
Жизнь как способ существования	8
Родное пепелище	9
Двор и окрестности	54
Ойкумена	72
Дом и его обитатели	130
Казенный дом	240
Дела и дни	281
История первая	402
Первая ходка	408
Я проснулся на мглистом рассвете...	487
Вторая школа. Начало	514

Юрий Гаврилов

Родное пепелище

Вместо предисловия

Из дневника Гаврилова Ю. Л. 30 декабря 2007 года:

«Мне 64-й год, жизнь прожита – у каждого свой век. Я сед, как лунь, неизлечимо болен, но так и не понял: что была в моей судьбе Россия.

Да какой там – «в судьбе»! В печенках, в слезах и муках, в радости и тоске, в любви, в хлебном вине, во сне и наяву, пожизненно и, боюсь, посмертно. А, может быть, она и была моей судьбой?

Кем и за что я был к ней приговорен? Не там и не тогда родился? Не из тех ключей пил? Не в тех реках купался, не теми туманами дышал, не с тех трав сбивал росы рассветной порой?

Власть, государство, родина, Россия – это всё суть разные понятия.

Рожденный в СССР, я был высоких зрелищ зритель: бабка в только что освобожденном Клину, целующая красноармейца с простецким лицом, смутным от нечеловеческой усталости; штандарты и знамёна фашисткой Германии на мокрой брусчатке Красной площади у подножия мавзолея

Ленина (из песни слова не выкинешь!), и развязавшийся инжурок на ботинке Гагарина, когда он шел от самолёта по красной ковровой дорожке.

И чёрный стыд при виде танков на улицах поруганной Праги; сколько судеб (и мою) перечеркнул тот августовский погожий день.

Я не любил и презирал советскую власть и особенно коммунистическую партию, скончавшуюся позорной жалкою смертью.

...

Государство было вновь разрушено до основания, а затем должна была наступить смерть. Русские стремительно вымирали, женщины перестали рожать, творческая либеральная интеллигенция занялась, наконец, своим прямым делом – растлением малолетних и, заодно, всех остальных. И преуспела: наивный советский человек – легкая добыча.

*Пришла проблема пола,
Веселая Фефела...*

Доллар вытеснил рубль, стриптиз – передачу «Очевидное – невероятное», народу объяснили, что Бог есть церковь, а чистоган – нравственность.

Я утешался чтением Карамзина: наши беды были ничто в сравнении с временами смуты, когда городское население сократилось вдвое, в Московском Кремле сидели поляки, в

Новгородском детинце – шведы.

Что тогда позволило России выжить? Что позволило выстоять в 41 году? Не знаю, но думаю, что то же самое, что и в 1612 году.

И это – исторические судьбы моей родины, а что для меня Россия – её вневременная ипостась.

Чуждый всякой мистике (отсутствие мистического опыта) я смирился с присутствием в моей жизни единственной мистической реальностью – Россией.

10 лет назад я почувствовал, что Россия-Психея умерла и похоронил мою родину, потому что – что есть родина без души – туловище, территория.

Всего мучительнее было видеть, как болел и умирал язык. Он уже потерял способность самоочищения. Язык – главная скрепа, по большому счету – единственное, что у нас осталось, не считая, конечно, углеводов.

Проза умерла первой – нынче вместо неё Улицкая и Акунин, поэзия при последнем издыхании.

Но иногда мне слышится музыка сфер...

Приближается звук...

Этот голос – он твой...

Неужели мы ещё живём, как трава под снегом?

Я вас на праздник пригласил

От брашен будет стол ломиться,

*Но ни наестся, ни напиться
У нас уже не станет сил.*

Жизнь как способ существования

История России – это моя личная история. Я в ней как в своем доме, на родном пепелище.

Родное пепелище

Колокольников переулочек был горбат и силен булыжником, весной между разноцветных, если присмотреться, камней зеленела молодая трава.

Булыжная мостовая (когда-то каждый крестьянин, въезжавший в Москву, должен был привезти дюжину камней величиной в пядь) совсем не говорит о том, что мое детство и отрочество безмятежно текли в захолустье или же на окраине Москвы.

Мы жили в центре, между Рождественским бульваром и Садовой-Сухаревской улицей, там, где по крутому склону словно частым гребнем были проведены переулочки от вершины Сretenского холма, Сretenки, к его подножию – Трубной: Печатников, Колокольников, Сергиевский, Пушкарёв, Головин, Последний и Сухарев – самая малая моя родина.

Как уже знает мой внимательный, хотя и немногочисленный читатель – моя жена и Коля Формозов, я родился на Урале, в Верхней Салде, от родителей, встретившихся в эвакуации.

Моя мама, коренная петроградка, а папа – уроженец Колокольникова переулочка.

Когда-то я замыслил написать большой семейный роман – хронику (иного я не мыслю разговора), но неодолимые обстоятельства – советская власть и слишком частое обра-

щение к бутылке, помешали этому.

Когда же препятствия расточились, я был уже совершенная руина и в этом состоянии пребываю до сих пор.

Руина может разрушаться, пока ее окончательно не размыкает время, но творить она не может.

Сей вопль души есть ответ двум ужасным аристархам, которые пристают с ножом к горлу и все твердят: писать, писать, писать!..

Переулки наши не оставили в прошлом следа великого и кровавого, как соседняя Лубянка, но свою лепту в историю Отечества внесли.

Если бы я был мистиком, я бы задумался о некоторых тайных знаках, каковые были сокрыты в истоках моей судьбы.

Улица Сретенка, не нашедшая себе певца, подобно Арбату, есть наилучшим образом сохранившаяся московская слобода, жители которой кормились многочисленными ремеслами.

Ряд наших переулков со стороны Рождественского бульвара начинается слободой печатников, т.е. типографщиков, которые построили себе каменную церковь Успения Богородицы в 1695 году на месте деревянной 1631 года; цела, слава Богу, по сей день.

Одно время в ней размещался Музей Арктики, а затем – Морского флота СССР, который я неоднократно посещал по ненастным дням, сочетая полезное с приятным – распивал спиртные напитки и знакомился с экспозицией – судите са-

ми, читатель, что из этого было приятным, а что полезным.

Заметьте, что в это время я сам уже был матерым типографщиком, и не было ли здесь знака судьбы?

Сретенка заканчивается у Сухаревской площади церковью Троицы, что в Листах, здесь торговали продукцией печатников – листами: церковной литературой, печатными иконами и лубками.

И моя жизнь заканчивается вот этими листами – еще один знак.

Дом №1 по Трубной улице, где жил мой школьный приятель, до революции носил название «Ад», по помещавшемуся в нем заведению последнего разбора даже для тогдашних гнусных московских трущоб.

И первый реактор Красноярского горно-химического комбината назывался «Ад».

Ну почему я не мистик?

Жизнь была бы хоть и так же тяжела, но хотя бы понятна.

Колокольников переулочек получил название по литейному колокольному заводу Ивана Моторина, отлившего, помимо всего прочего, Царь-Колокол.

Жившие по соседству пушкари на склоне холма между нашим и соседним переулочком поставили церковь преподобного Сергия; первая, деревянная, сгорела в пожар 1547 года, вторую строили долго, пока цари Иван V и Петр I не помогли камнем, и церковь освятили в 1689 году.

Крестный ход от нее совершался к Неглинским прудам,

что славились рыбными ловлями на месте нынешнего Цветного бульвара.

Пушкари по случаю праздника палили из орудий, пугая Сретенку, Сухаревку, Лубянку и Мясницкую – а ну, как сожгут.

Строили церковь долго, а снесли в 1935 году быстро, под огромный, по проекту, клуб глухонемых.

Однако вместо клуба построили школу, № 239 мужскую (с 1944 г.) школу Дзержинского района, куда первого сентября 1951 я пошел учиться.

А клуб глухонемых открыли в полуподвальном помещении в Пушкарском переулке, с 1945 по 1993 год он назывался улицей Хмелева, в честь знаменитого исполнителя роли Алексея Турбина, в любимом спектакле отца народов.

У Хмелева в Пушкарском была студия. Вообще этот переулочек любим театральными деятелями, ныне на месте клуба глухонемых – филиал театра Маяковского, а неподалеку еще какое-то театральное заведение.

В Большом Головином переулке была дровяная биржа, откуда мы на ломовом извозчике привозили в начале осени дрова.

Лошадь была такая откормленная, что с годами я начал подозревать, не от извозчика ли Дрыкина, возившего Ивана Васильевича во МХАТ достался Мосгоркомхозу сей Буцефал.

В Последнем переулке располагалась старшая группа на-

шего детского сада, а наискосок от него – 18-е отделение милиции – неисчерпаемый кладезь детских впечатлений не совсем детского содержания.

Первое воспоминание детства – путешествие по почти неизменному маршруту, в Сандуновские бани.

Лет до трех меня и сестру мыли на кухне-коридоре дома, и я это помню. Видимо, это связано с тем, что сестру время от времени мыли таким образом и в более поздние времена.

*В года мытарств,
во времена немислимого быта...*

Воду грели на двух керосинках и примусе на двух столах – нашем и тети Мани.

Вы когда-нибудь пытались вскипятить ведро воды на керосинке?

Несколько часов терпеливого ожидания и вы поймете, что это невозможно.

Но Россия такая страна...

У меня было детское приданое, дожившее до 60-х годов: таз для купания, кувшин, большое ведро и ковшик.

Все это было склепано на 45-м авиационном заводе из неправильно раскроенного хвостового оперения штурмовика Ил-10 с разрешения очень высокого начальства.

После войны 45-й завод частично вернулся в родную Селунь, и мы с родителями ездили в гости к тем, кто мастерил

мои купальные принадлежности.

И мужчины обязательно пили за таз для купания, ковшик и другие предметы, за каждый отдельно, после чего им требовался отдых.

В тех компаниях, что собирались у приятелей моего отца, у его сослуживцев-наборщиков, на складчинах, что собирались у нас, никогда не пили за Сталина, партию, родину – видимо, это не было принято в той среде.

Во время очередной коммунальной свары, особенно зимой, мытье дома было невозможно, так как наш сосед Александр Иванович начинал ходить туда-сюда, поминутно открывая входную дверь, что грозило нам, малым детям, простудой, и нас вели в баню.

Ближайшими были знаменитые на всю Россию Сандуны.

В них были три мужских разряда, два женских и еще какие-то загадочные семейные, куда, как я слышал краем уха, пускали по паспортам.

А как много я слышал этим краем, трудно себе представить. Взрослые по вечному недомыслию своему полагали, что мы не понимаем того, о чем они говорили недомолвками, но не тут-то было.

Каким-то непостижимым чутьем я распознавал среди шелухи обычных пересудов и обывательских слухов именно то, что мне никак не полагалось знать, и складывал все это в сердце своем.

Так, я восстановил по различным обмолвкам историю довоенных браков родителей и многое другое, о чем расскажу позже.

Сначала меня брали в женское отделение (что бы сказал об этом больной на всю голову дедушка Фрейд?), но я никаких комплексов по этому поводу не испытывал, так как мальчиков дошкольного возраста в женском отделении было много – у них просто не было отцов.

Именно в предбаннике женского отделения 1-го разряда я сказал первое своё слово, и это слово, заметьте, было «юбка».

Мне было уже хорошо за два года, а кроме «мама», «папа», «баба» и «Лида» я ничего не говорил.

Обеспокоенные родители повели меня к врачу, и тот успокоил их, пообещав, что я скоро начну говорить, и заткнуть меня будет очень трудно.

Редчайший случай в практике – врач оказался прав.

Мама рассказывала, что, сказав «юбка», я на этом не остановился, а дал развернутую нелицеприятную характеристику бабушке Лидии Семеновне, самой коричневой юбке, всему банному отделению, и, оказавшись редкостным занудой, ничего во всей вселенной благословить не захотел.

Дома папа и бабушка Мария Федоровна несказанно обрадовались тому, что я наконец-то заговорил.

Но уже на следующий день их радость омрачилась тем обстоятельством, что, проснувшись против обыкновения ни

свет ни заря, я начал излагать свои взгляды на жизнь.

При этом я обильно цитировал все, мне прочитанное: сказки народов мира, стихи Маршака, Михалкова, Агнии Барто и Чуковского; здесь мама, видимо, пожалела, что читала мне на ночь каждый вечер, если не работала во вторую смену.

Умолк я не раньше, чем меня объял ночной сон.

Швейк, как известно, по любому поводу, даже про ужас нерожденного, мог рассказать историю из собственной жизни; мне же в конце сорок шестого года недостаток жизненного опыта восполняло радио, черная тарелка, висевшая у нас как раз над входной дверью, выключать которую было опасно (соседи могли донести, что имяреку не нравится наше радио, наш гимн, борьба с пресмыкательством перед Западом – нужное подчеркнуть).

С молодых ногтей я был страстный и неутомимый обличитель империализма, колониализма, агрессивной внешней политики США и особенно морального загнивания и бездуховности западного общества.

А если учесть, что память моя той поры не уступала возможностям современного цифрового диктофона, то можно только поражаться терпению взрослых, вынужденных слушать мои бесконечные бредни, которые оказывались подчас и крепче, и круче официальной пропаганды.

Когда же годам к семи в голове моей уже хранилось изрядное число разрозненных томов из библиотеки чертей, по-

явились первые поклонники моего таланта.

Тетя Маня частенько просила меня: расскажи стишок, только не про политику, ну ее к шуту, и внимательно слушала и «Тараканище», и «Муху-Цекотуху», и «Мистера Твистера», и «Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Висит плакат: Долой господ! Помещиков долой!»

Михалков был моим любимым поэтом. Нет, не дядя Степа, но «Жили три друга-товарища в маленьком городе N».

Пришли фашисты, товарищей-подпольщиков схватили, пытали, двое не произнесли ни слова. Но «Третий товарищ не выдержал, третий язык развязал: «Не о чем нам разговаривать», – он перед смертью сказал», – надо ли говорить, что третьим товарищем я воображал самого себя...

Через лет двадцать я частенько был «третьим» товарищем.

«Мы знаем, есть еще семейки, где наше хаят и бранят, где с восхищением глядят на заграничные наклейки... А сало... русское едят».

Подобные сентенции намертво ложились в память, я и сейчас могу напугать жену солдатской песней «Про советский атом»:

*Подтвердил товарищ Сталин,
Что мы бомбу испытали
И что впредь еще не раз
Будут опыты у нас.
Бомбы будут! Бомбы есть!*

Это надо вам учесть.

.....
Вашим Штатам,

Синдикатам

Да магнатам,

Э-ге-гей!

Ваши планы –

Всё обманы,

Их не скроешь от людей!

– кузькина мать, одним словом, особенно хорош залихватский возглас «Э-ге-гей!». Я был убежден: если бы Гарри Трумэн это прочитал, он кое-что поменял бы в своей беспардонной политике.

Но Трумэн не любил Михалкова, боюсь, он даже не подозревал о его существовании, иначе мы бы сейчас жили в другом, более уютном мире.

Много позже я узнал, что в Северной Корее есть лихой пионерский танец под названием «Оторвем конечности американскому империализму», к концу детской пляски конечности действительно отрывают.

Однако старый Мазай разболтался в сарае...

Баннный день был суббота, и это было святое.

Тогда, до 1967 года, был один выходной день в неделю –

воскресенье.

Лет с четырех меня стал водить в баню отец.

Мать собирала нам смену белья, простыни, чтобы постелить на черный дерматин дивана в предбаннике, банные принадлежности, а мне обязательно – два мандарина, мою любимую игрушку, трофейную собачку–прыскалку по кличке Индус.

Как у Никиты Федорыча Карацупы, славного нашего пограничника, задержавшего уйму шпионов и контрабандистов (когда в 1950 году СССР заключил договор о дружбе с Индией, называть собаку Индусом стало неловко и её из соображений политкорректности переименовали в Ингуса), но я свою оставил Индусом и вступил, таким образом, на пагубный путь политического инакомыслия.

И мама, и папа были равно одержимы страхом, что мы с сестрой можем подхватить какую-нибудь заразу (а при скученной жизни, когда все вынужденно «терлись друг о друга жопами» – выражение из детства, заразы хватало, – в 1946 году заболевания сифилисом увеличились в десять раз) – и перестарались: я до 50 лет панически боялся заразиться именно сифилисом, хотя никаких к тому оснований не было.

Дорога шла вниз по переулку к Трубной улице, потом к Трубной площади.

Здесь, на углу, висела таинственная эмалированная табличка с нерусскими буквами WC и синей оперенной стрелой.

На углу площади в сезон стояла тележка газированной воды, самой лучшей во всей округе.

Дело, конечно, не в том, что вода была родниковая, а в том, что толстая тетка, сидевшая на табуретке, где под клеенчатой юбкой прятался бидон с вишневым сиропом, сироп в стакан наливала по-божески, не жухая, а пламенный призыв: «Требуите долива пива после отстоя пены» прошел красной нитью через всю мою жизнь.

Тетка на Сретенке, у церкви Успения, нацедит сиропа вдвое меньше положенного и ждет, змея, будешь ты требовать долива или смолчишь, как гнилой интеллигент.

На обратном пути мои два законных стакана с двойным сиропом (1 р. 60 коп.) я пил, смакуя, и никто меня не торопил.

На углу площади и Неглинной улицы, там, где теперь безликая «Неглинная plaza» для очень богатых, помещалась аптека с чашей и змеей на витринном стекле.

Я уже на Трубной улице начинал санпросвет: рекламировал гематоген как лучшее средство против малокровия, признаки которого якобы были у меня настолько очевидны, что грозили летальным исходом. Иной раз эта проповедь имела успех.

У аптеки у светофора проезжую часть Неглинки пересекала надпись большими металлическими буквами, опять-таки нерусскими – STOP.

Латиница меня смущала, я подозревал, что в этом могут

таиться козни врагов.

В бани мы поднимались со стороны Звонарского переуллка (в те времена он назывался 2-й Неглинный, а Сандуновский – 1-й Неглинный) и на углу, напротив входа в высший разряд, мы расставались с женщинами и останавливались возле могучего деда с окладистой бородой.

Вечный дед (он еще в мои молодые годы стоял, пока не сгинул) торговал вениками.

Баня была парная, а в парной веник – господин.

Веники у деда были березовые и дубовые, березовые по рублю, а дубовые – по два.

Дед говорил: веник выбрать – не жену выбирать – это дело сурьезное...

Отец признавал только березовый веник; веник должен был быть ухватистый, однородный – веник трясли, щупали, нюхали.

Московский пиит XIX века, Пётр Васильевич Шумахер, ныне прочно забытый вместе со всей прочей мировой поэзией, чудесно писал:

*В бане веник больше всех бояр,-
Положи его сухмянного в запар,
Чтоб он был душистый, взбучистый,
Лопашистый и уручистый.*

Мы каждый раз покупали новый веник, хотя мать считала, что это мотовство, но старый забирали домой, им потом

парились женщины.

Как мне хотелось с этим веником войти в высший разряд, где, по слухам, был бассейн, но высший разряд стоил 10 рублей, а это было дорого – ненавистное и унижительное слово детства.

Но отец говорил, что в бассейн он меня не пустил бы: мало ли что там плавает, а пар в первом разряде лучше (значит, он бывал в высшем разряде, замечал я про себя).

Женского высшего разряда не было.

Первый разряд стоил 3 рубля со взрослого и 1 рубль с ребенка, а второй – 2 рубля и полтинник с ребенка.

«Пар там хороший, – говорил отец, – но там грязно».

В первый разряд всегда была очередь – от раздевалки и вверх по лестнице. Больше часа стояли редко, перед праздниками.

Когда Сандуны (о, горе!) закрылись на ремонт, начались наши странствия: Центральные бани, Селезневские, Донские, Краснопресненские – везде было хуже.

Наконец, с лестницы нас запускали в предбанник, где помещалась парикмахерская, и здесь мы стриглись (не каждую неделю).

Очень хотелось освежиться одеколоном: зеленым «Шипром», или «Полетом», или же «Тройным», который был так хорош, что некоторые (это я точно знал – слышал краем уха) его пили; но опять-таки это считалось транжирством.

И наконец – предбанник, хозяйство пространщика.

Почти все пространщики и поголовно все банщики были татарами.

Пространщик указывал место на диване, у него хранились деньги и часы клиента, он мог подать пива, организовать выпивку (в бане не отпускают, а пространщик отпускал), отнести в починку и глажку вещи, у него были казенные полотенца, мочалки, мыло, простыни, личный винный погребок, но мы этим никогда не пользовались.

Пространщики цену себе знали, держались с достоинством английских дворецких, и имели одну забавную манеру: выслушав какую-либо просьбу клиента, они обязательно держали мхатовскую паузу и только после этого многозначительно роняли – «сделаем».

У отца был знакомый пространщик, Николай, и если у него должно было освободиться место, мы ждали.

Послевоенная баня был ужасна – парад увечий, и каких!

Иной раз непонятно было, как жив человек, у одного не было половины живота, и отсутствующее место было затянуто темной полупрозрачной пленкой, у другого голова кое-как была собрана из кусков, неизвестно кому дотоле принадлежавших.

На обожженных-обугленных и сваренных, на их пятнистую кожу с рубцами и шрамами смотреть было страшно; я несколько раз видел человека без ягодиц, начисто отрезанных осколком, огромного мужика с такой ямой в спине, что

туда легко мог уместиться футбольный мяч.

О безруких, безногих, слепых и контуженых и говорить не приходится.

Я изучал наши потери в войне не по книгам под редакцией генерал-майора Кривошеева, а в мыльнях послевоенных московских бань и в тех деревнях, куда никто не вернулся с войны...

Первым делом отец ошпаривал скамейку, на которой мы собирались мыться, и давал мне согреться.

Ошпаренный веник ждал своего часа в двойной овальной шайке, которых в Сандунах было в избытке, не то что в иных второразрядных банях.

По правую сторону мыльни были в два ряда установлены на постаментах мраморные ванны с широкими краями, вода в них лилась из пастей бронзовых львов (все это было снесено при реконструкции).

Чтобы полежать в ванной, надо было занимать очередь, но не тут-то было – гигиенические соображения отца раздавили и эту мою мечту.

Однажды, воспользовавшись тем, что отец надолго засел в парной, вступив в честный поединок с Равилем, носильщиком с Ленинградского вокзала, ярим парильщиком и человеком азартным – кто кого перепарит, я таки залез в ванну. Расслабился в ней и был пойман на месте преступления.

Отец никогда нас с сестрой не наказывал и не ругал, но отмывал он меня в тот день не то карболкой, не то каустиком

и дегтярным мылом, так что после бани мать была обеспокоена тем, что нас пришлось долго ждать и тошнотворным запахом, от меня исходившим.

Когда я доходил до кондиции, отец вел меня в пыточное отделение, в парную.

Впоследствии я парился в других банях и других городах – от Петрикова в Белоруссии до Красноярска-26, но нигде я не встречал такого жестокого самоистязания, как в первом разряде Сандунов.

Русско-татарское соперничество доводило парильщиков до иступления.

Мой отец был король парной, вице-королем был Равиль, у каждого из них были свои преданные болельщики.

Закладывались они далеко не каждый раз, но уж когда схлестывались, верхний ярус полка оставался за ними.

Большая печь с глубокой топкой и подом, уложенным булыжником, – каменка – стояла на полу у окна. Поддать пару, т.е. плескнуться водой на раскаленные камни и ни в коем случае не на огонь, нужно было уметь. Иной раз на поддающего дружно орали: «Одурел! Сварить нас хочешь? Круто берешь!» И начинались шуточки про яйца вкрутую...

Кто-то считал, что лучший сухой пар дает только вода без примесей, кто-то любил пар с хлебным ароматом (в воду доливали пива или кваса), иной гурман выплескивал на каменку настой от веника, я любил, чтобы из-под дубового; бывает пар мятный и разный другой, но он обязательно должен

быть сухим.

На полу стояли скамьи, на них парились люди ослабленные, которым, собственно, в парилке и делать было нечего, но они, если не помашут веником, то, вроде и не помылись.

На деревянном полке было два уровня, и мы с отцом поднимались, разумеется, на самый верх.

– Поддать? – спрашивали у отца, и он чаще всего отвечал:

– Можно.

Кто-нибудь из молодых завсегдатаев шел к двери и придерживал ее, а то входящего в момент смены пара могло сильно ошпарить.

Начинало резать в глазах, щипать под ногтями, не хватало воздуха, но отец был прав – приучить ребенка к парилке можно только с младенчества, не давая ему пощады.

В одной из шаек – холодная вода на всякий случай. Некоторые макали туда полотенце и устраивали компресс на голову или сердце, но таких к состязаниям не допускали.

На верхней площадке полка всегда было несколько мальчишек моего нежного возраста, русских и татарчат; наверное, были и другие, но я их не помню.

Более смуглые мальчишки наливались пепельно-багровым цветом, я же, со своей редкой белизны кожей («Пшеничный ты наш», – говорила, бывало, Тоня, сестра бабы Мани) становился цветом – вареный рак, каковым и являюсь по гороскопу.

– Малец-то весь пылает у тебя, охлони его, – обращался

к отцу какой-нибудь сердобольный инвалид, но отец пропустил эти советы мимо ушей.

Для меня спуститься вниз было равносильно признанию, что я – Гогочка.

Это было невозможно, я должен был ждать, пока отец, встряхнув веник, чтобы набрать в него побольше раскаленного воздуха, сначала слегка касаясь веником моего тельца, отхлещет меня веником от души, окатит прохладной водичкой, вот здесь уже прилично было сказать: я пойду, поиграю (собачка была со мной в парилке).

Помните: третий товарищ не выдержал...

А с настреку вся спина горит...

На каком языке писал Шумахер?

На русском, московском, который жил-был когда-то, точный, меткий, сочный, забористый, озорной, образный – «природный мой русский язык», – как говаривал огненный протопоп, жил-был, да весь повытерся.

Когда отец закладывался с Равилем, сверху всех сдувало: что позволено Юпитеру, то не по силам быку.

Я любил парную баню, но с годами перестал посещать Сандуны, скис и превратился в руину.

Отец возвращался из парной, мы мылись, после чего мне разрешалось постоять под душем (сначала отец шпарил пол

в душевой и только поле этого я допускался под сень струй).

Из мыльни отец выносил меня на руках, и я покрывался коростой позора – меня, взрослого мальчика, почти школьника, папа держал на груди, как малыша, который толком и ходить-то не умеет.

Оказавшись закутанным в домашние простыни, я доставал из сумки два мандарина.

Мандарины надо есть подробно, господа, этому учит нищета, а просто так быстро облупить мандарин и засунуть его в рот – в этом, поверьте, нет никакого вкуса.

Сначала надо было осмотреть мандарин – какая у него кожа и хорошо ли она будет прыскать душистыми тоненькими струйками на чистую, до скрипа и писка отмытую кожу. Потом с долек надо было снять все белые прожилки, оставленные исподом кожуры, и только после этого, отжав всю кожуру, можно было смаковать дольки и осматриваться по сторонам.

Срамотой исподнего и бедностью верхнего платья никого в то время удивить было нельзя – в нижних рубашках посещали лекции в МГУ, но казусы встречались: старик непонятно какого звания имел нижнее и верхнее платье из вываренной мешковины, так что на попе у него проступала надпись «сахар», на боку – «соль», на сюртуке – «ядрица».

Я наблюдал за пространщиком Николаем и поражался многообразной его деятельностью; чрезвычайно меня занимал также «мозолист-оператор» и загадочная надпись – «...

и пяточные шпоры».

Начало надписи было, видимо, утрачено, но, сколько я не осматривал ноги мужского 1-го разряда, я не видел ни одной шпоры на пятке, ни остройгой, ни репейником, ни колесиком со звездочкой.

Со шпорами я был хорошо знаком.

Сосед Александр Иванович в молодости, по его словам, служивший в кавалерии, когда он выпивал «в плепорцию», как он сам выражался, извлекал из своих слесарных ящиков шпоры и прочие интересные причиндалы.

Здесь были огромные связки ключей от неизвестных замков, блестящие и позеленевшие гильзы от разных систем оружия, австрийский штык времен первой мировой войны, обрубки цепей различной конфигурации, включая велосипедные, шарикоподшипники шариковые и роликовые, обрезки меди листовой, обрубки олова, связки металлических колец, карабины от простых до весьма головоломных, у которых верхняя и нижняя часть независимо друг от друга вращались на оси, застежки, медные английские булавки, такие большие, что ими можно было крепить конную упряжь...

Но, заглянув еще пару раз в сарай и нарушив «плепорцию», Александр Иванович утрачивал добродушие и шел точить именные ножи: «на Левку нож точу, на Вальку, на Юрку», – приговаривал он, стоя у ножного точила.

Впрочем, всё это были пустые угрозы.

Как правило, мы поджидали женщин, которые моются быстро, но собираются медленно.

Мы должны были возвращаться домой вместе, потому что в начале Трубной, между Печатниковым и Колокольниковым переулками располагался филиал столовой №3 Держинского района, попросту шалман, «последний кабаk у заставы» нашего несчастного отца.

Во избежание путаницы: «шалман» – это заведение с правом торговать водкой и вином в разлив без наценки.

Теперь уже никто не скажет, была ли то продуманная мера властей или так получилось стихийно, но шалманов в Москве до 1958 года было, скажем так, много.

Сколько путаницы и вздора по этому поводу я обнаружил в интернете, что диву дался, нарушив собственное правило: ничему не удивляться.

Шалманы были разных типов.

Те, что были расположены в первых этажах капитальных зданий, обычно именовались филиалами каких-либо столовых или кафе. Иногда они скромно назывались «Закусочными», в просторечии – забегаловками, там действительно иногда закусывали, но не в еде была там сила.

Часто это были выродившиеся «американки», тип предприятий скорого питания, появившиеся во время войны, в которых цены были заметно ниже коммерческих ресторанов.

Там, где позволяло место – на площадках снесенных разбомбленных домов, в парках, на окраинах – строились до-

щатые «деревяшки», павильоны типа «голубой Дунай».

Много существует версий происхождения этого названия, распространившегося по всей Великой, Малой и Белой Руси.

Безусловно, оно было принесено фронтовиками из освободительного похода: Дунай течет и в Румынии, и в Болгарии, и в Югославии, и в Венгрии, и в Австрии.

Предположения о том, что хибарки и сараюшки «голубых Дунаев» были названы по цвету окраски – вздор, в Москве они были окрашены преимущественно в камуфляжный зеленый цвет, а некоторые еще и нагло маскировались вывеской «Пиво – воды», хотя правильно было бы: «Пиво – водки».

Во главе заведения стояла буфетчица, бой-баба, а уж если фронтовичка из прачек, как Маня-полбанки, или из санитарок, как Дуня-«потерпи, миленький», так от тех не позволяли себе отмахиваться ни фронтовики, ни блатные, ни даже инвалиды, кроме контуженых, «психических и припадочных» в просторечии.

Так ведь те себя не помнили, и это все понимали.

«Потерпи, миленький, сейчас я тебя вытащу», – уговаривала было маленькая жилистая Дуня, выталкивая из заведения какого-нибудь раздухарившегося дебошира, и он, «батальонный разведчик», ее слушал.

В парке «голубой Дунай» мог быть крошечным ларьком, но огороженное (не обязательно) место под навесом или без оно служило торговым залом, где вокруг столиков или стоек и собирались жаждущие.

Над каждым из таких заведений можно было написать: «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

«Если душевно ранен, если с тобой беда, ты ведь придешь не в баню, ты ведь придешь сюда», – поется в песне.

Это был клуб обездоленных, людей без будущего, калек, для которых годы военного ада были лучшим и самым ярким временем их куцей растоптанной жизни.

И наконец, это было место, где пьющий человек мог спокойно (здесь его никто не пилил, не оговаривал и не останавливал) удовлетворить свою насущную потребность в привычной обстановке, в среде себе подобных.

Многим и идти-то было некуда, их ждала либо койка в общежитии, либо спальное место в комнатухе коммунальной квартиры, где у мужика на голове топтались жена, теща, дети и прочие чада и домочадцы.

В забегаловке человек расслаблялся и слушал подчас невероятные истории бывалых людей. Нигде кровоточащий вопрос современности: «За что кровь проливали?» не ставился так прямо и резко. 58 статья пункт 10 (антисоветская агитация и пропаганда) прямо так и витала в прокуренной и проспиртованной атмосфере шалманов, но никого там не хватало; «Голубой Дунай» был своеобразным очагом свободы, Гайд-парком.

Да и существовали негласные, но твердые границы дозволенного: ты ври, ври, говори, да не заговаривайся.

В филиале на Трубной прилавок был слева от входа, где рядом с полками висел диплом: заведение третьей категории с правом разлива.

Заведующей была необхватных размеров нарумяненная и покрашенная Дора, а буфетчицами посменно – Дуня и Даша, и когда ее сменила Гюзель, все равно заведение называли: «У трех дур».

У входа висел незамысловатый прејскурант.

Чехарда с ценами, которая встречается у мемуаристов, объясняется тем, что в 47-48 гг. было три снижения цен, а 1 марта 1949 года закончился первый этап снижения государственных цен, второй был в 1950-54 годах.

До декабря 1947 года (денежная реформа, отмена карточек) водку получали по талонам, которые выдавали по месту работы.

Судя по всему, отец, наборщик (верстальщик) «Красной Звезды», главной газеты Министерства обороны, трудностей с получением талонов не испытывал.

Водка по коммерческим ценам населению была не по карману (как и все остальное: магазины, рестораны).

В декабре 1947 года власти задрали розничные цены таким образом, что моя бабушка, работница регистратуры роддома на Миуссах, могла купить при желании на месячную зарплату (280 рублей) 4 бутылки водки «Московской», а на закуску – только соленые огурцы.

Но у нее почему-то подобного желания не возникало.

Началось регулярное плановое снижение цен, с 10 апреля 1948 и до первого апреля 1954, оно было нешуточным: от 10 до 60% за один заход. В результате такой политики розничные цены сократились от уровня декабря 1947 года в два – два с половиной раза в 1954 году.

Но восьмого по счету снижения цен весной 1955 года советские люди не дождались: до денежной реформы первого января 1961 года цены оставались стабильными.

Для подавляющего большинства граждан все эти пропагандистские маневры властей носили чисто академический интерес: в деревне торговля была мизерной, колхозники, как в Киевской Руси, жили преимущественно натуральным хозяйством.

В провинции выбор товаров в магазинах был поразительно скудным: кое-какая бакалея, постное масло, дешевая карамель «Подушечки», иногда сахар. Ну, и конечно, вино и водка, с пивом было много хуже.

Ни мяса, ни колбас, ни сливочного масла, ни сыра там и в глаза не видели, а хлеб и многое другое продолжали выдавать по карточкам, переименовав их в талоны.

В лучшем положении были ОРСы (отделы рабочего снабжения) железной дороги, военных заводов, металлургических комбинатов.

По первой категории снабжались Москва, Ленинград, Киев, но и в Москве за яйцами нужно было постоять в очереди, разливное (дешевое) молоко можно было купить часов

до 11 утра.

Вообще, чтобы купить что-либо, нужно было встать в очередь, но полчаса до прилавка считалось пустяком, когда особо оговаривали: «пришлось, конечно, постоять в очереди» – это предполагало многочасовое стояние.

С мая 1946 года началось ежегодное размещение Государственного займа на восстановление народного хозяйства, заём был делом сугубо добровольным и жестоко принудительным.

Партийные и подхалимы подписывались на месячную зарплату, беспартийные на половину; в провинции находились смельчаки, отказывались, их не сажали – Боже упаси, но уже на следующий год строптивые оказывались в первой шеренге энтузиастов – их воспитывали разнообразными суровыми и действенными методами.

Так что одной рукой власть давала, а другой отбирала.

В результате ценовой политики в шалмане установился такой баланс: на десятку, полученную работягой от жены на обед, он мог ублажить себя 150-ю граммами водки, кружкой «Жигулевского» пива («150 с прицепом») и двумя бутербродами с килькой или одним с салом.

Умеренные посетители этим и довольствовались, но большинство оставалось «повторить».

Деньги зарабатывались всевозможной «халтурой», подработкой.

Постоянная мишень сатириков – сантехник из домо-

управления (электрик, кровельщик) добывал средства, обирая население, как и милиционер, и орудовец (организатор уличного движения). Рабочий-станочник точил что-нибудь на продажу, оставался сверхурочно, выносил все, что плохо лежало на родном предприятии («Ты здесь хозяин, а не гость, носи отсюда всякий гвоздь»), санитар продавал больничные простыни.

Мой отец, высококвалифицированный наборщик-универсал, имел халтуры, сколько хотел.

Если он просто «повторял», он был в норме, но если он повторял без счета...

«Мой батя видел твоего в пивной на Трубной», – сообщала какая-нибудь Таня Горячева, и я шел «извлекать».

За прилавком стояла пивная бочка, баллон углекислого газа для подачи пива из бочки, за занавеской хранились бочки пустые и полные. У буфетчицы был штат добровольных помощников, так что они сами бочки не катали, ящики не таскали – завсегда тут как тут, а ему – накапают.

Из горячего были сардельки свиные, иногда – раки. Вобла, селедка, килька, хамса, тюлька – соленый ряд и даже бутерброды с красной рыбой по праздникам.

В Пасху шалман закипал пеной многоцветной яичной скорлупы.

Московские умелицы, чье православие было чаще всего сомнительным, не только ухитрялись выжимать все оттенки желтого и коричневого из луковой шелухи, но при полном

отсутствии подходящих красок, получали верноподданный кумачовый, алый, карминный, розовый. Нежнейшая бирюза соседствовала с небесной голубизной, цвели васильками аквамариновые пятна, и зеленка всюду распускала свои ядовитые листья. И поверх всего этого великолепия маками горели рачьи ломаные панцири. Как это было живописно!

Пасха была настоящий Праздник. Не знаю уж почему.

Что я знал о Пасхе, о христианстве?

Ничего. «Христос воскрес! Воистину воскрес!», – и всё.

Но к Пасхе готовились, баба Маня доставала формы для куличей, мама-атеистка красила яйца, возникала предпраздничная кутерьма, а день сталинской конституции отмечали скучно – выпивали и всё.

В шалмане на закуску тратились не все – в двух шагах, на углу Сергиевского и Трубной – овощной магазин, так что соленые огурцы, (по собственному разнообразному опыту знаю – лучшая закуска к водке), всегда были на столиках.

Пили стоя.

В шалманах курили, преимущественно «Север», «Звездочку», те, что почище – «Беломор» и даже «Казбек».

Пивные кружки были массивные, толстого стекла, нынче таких не найдешь – серьезное оружие в драке.

Стычки были часто, но их быстро гасили сами посетители или буфетчицы, генеральные сражения случались редко, иногда даже приезжал «черный ворон» из 18-го отделения, и в него волокли и правых, и виноватых.

Сложнее было с инвалидами – «Ты под стол-то посмотри, у нас три ноги на четверых», – и мильтон отступал.

В вырезвитель забирали только тех, с кого можно было что-то взять, кредитоспособность милиционеры определяли с первого взгляда.

Женщин в шалмане было мало, и напиваться шлюхам не давали во избежание истерик, визга, пьяных слез, так что желающие заработать стерегли клиента на выходе.

«Здесь недалеко...», – так обычно начинался скоротечный роман.

Один приятель моего отца, к которому мы ездили семьей в гости, жил в деревне Щукино (приблизительно там, где теперь Строгинский мост).

Шалман в Щукино, на пристани, был деревенский, водка была в огромных бочках и стоила в 1,5 раза дешевле «Московской особой».

В войну стали гнать спирт из опилок и выпускать водку без названия, народ, впрочем, метко окрестил ее «сучком». Сучок получше – белая головка (водку закупоривали пробкой и заливали сургучом разного цвета – традиция еще царских времен) и похуже, подешевле – красная головка.

На складчинах начинали с белой головки, а потом шла в ход резко вонявшая сивухой красная головка.

Сам хозяин дома в Щукино не пил (выпивал для компании), пила его жена, зарывала про запас бутылки в огороде, забывала – где и вечно перекапывала грядки, а когда денег

на целую бутылку не хватало, перехватывала стакан в шалмане, но не торчала там подолгу, а сразу бежала домой.

Другой сослуживец жил в Сокольниках, в Полевом переулке, в невообразимом курятнике – к рубленому двухэтажному дому прилепились пристройки, галереи (дом имел глухую стену), надстроена мансарда; все это шаталось, скрипело, сквозило, грозило обрушиться.

Отец подобные строения называл непонятным словом «хива».

Там, неподалеку, был классический шалман «деревяшка» – павильон «Закусочная», где собиралась хевра – шпана, грабившая людей в парке «Сокольники»; посетителей «Закусочной» они, впрочем, не трогали.

А уж в самом парке шалманов было несчетно, потом они выродились в кафе-стекляшки, вроде многим известной «Сирени».

В шалмане на Трубной играл на аккордеоне Weltmeister обожженный слепой, Саша-танкист, музыкант от Бога.

Он стоял или сидел на торном ящике у самого входа, перед ним лежала кепка, в которую опускали мелочь; песню можно было заказать, но тогда нужно было бросить не меньше рубля, желтого, почему-то напечатанного по вертикали.

Иной раз среди меди и «серебра» можно было увидеть скомканную зеленую трешку.

Время от времени Саша отправлял содержимое кепки в

большой кошель (может быть – в дамскую сумочку), который держал за пазухой.

Болтали, будто бы Саша играет в каком-то ресторане (называли «Нарву»), за занавеской, чтобы не смущать публику (некоторые брезгливо относились к инвалидам – я бы этим некоторым головы поотрывал).

«Саша зарабатывает на операцию по зрению», – объясняли завсегдатаи.

Пил он редко, только когда подносили.

Вечером за ним приходила жена – высокая, сурового вида сухопарая женщина, всегда с кавказской овчаркой на поводке, и они молча поднимались по Печатникову переулку – жили они где-то у Сретенских ворот; я встречал Сашу и его жену с маленькой дочкой в филипповской булочной и продмаге на углу Рождественского бульвара и улицы Дзержинского (Лубянки).

Играл и пел Саша фронтовые песни; но не те, что передавали по радио, блатные песни; все это играл и пел в той манере, которая принята была в шалманах и вагонах пригородных поездов.

Публика была невнимательна, шалман слушал самого себя, каждый желал успеть выкрикнуть свою правду.

Гоп со смыком это буду я!

Граждане! Послушайте меня!

Граждане же не желали слушать,

Граждане желали выпить и покушать...

...и поговорить!

Но иногда появлялся ценитель, в кепку летела трешка, Саша как-то по-особому склонял обожженную щеку к инструменту и начинал играть «Караван».

Он играл аккордеонную классику, играл так, что иной раз замолкал шалман, своим истерзанным сердцем разделив чужую тоску.

Жизни моей хватило, чтобы понять: в грязи и слякоти пивной, в чаду дешевого табака и матерщины, в луже тротуара или собственной блевоты мне были явлены подлинные великомученики и чудотворцы.

Невидимыми нимбами осияны были их хмурые, а иной раз и звероподобные лики.

Это они своей кровью выиграли в прах проигранную Сталиным и отцами-командирами священную войну.

Это они впроголодь, в невыносимой скученности, в затрапезности, в обносках сносили все немыслимые тяготы и лишения послевоенной поры и спасли империю в тот миг, когда в стране, где тележные оси всё ещё смазывали, как при Владимире Красном Солнышке, дегтем, 29 августа 1949 года восстал, оплывая и пучась, ядерный гриб.

Зловещий зонт, подаривший нам жизнь.

В первое послевоенное десятилетие большая часть искалеченных войной ушла, и многих могил уже нет.

Умер Саша-музыкант, так и не сделавший операции по

зрению, умер летчик, носивший вместо лица восковую маску – щеки, нос, усы. За несколько лет она стала серой, стертой, страшной.

Он всегда спал вечером у церкви Успения Богородицы, однажды его оттуда и забрали в морг.

Умерла и двужильная Дуня-буфетчица: рак, медали и «Красная Звезда» на красных подушечках, духовой оркестр.

*Расплескалась в улочках окрестных
Та мелодия, а поющих нет...*

После 1958 года в «Закусочной» на Трубной разместили контору «Мосгормолоко» (что-то в этом роде), и первое время в тихую женскую обитель врывались загулявшие личности, залившие уже зенки и благим матом орали:

– Дуня, 150 с прицепом и повторить!

Гадом буду – не забуду этот паровоз...

Я очень рано понял, что обязательно всё это опишу – и надпись «Юрка Пая», и наш двор, и мужскую 239 школу, и Сандуны, и голубятников и шалманы.

Я многие годы частенько приезжал на Сретенку, проходил переулками, Трубной.

И, поравнявшись с бывшим шалманом, я слышал: Саша-танкист, склонив обожженную щеку к своему нарядному, горящему перламутром аккордеону, играет мелодии Бер-

лина, Вены, Парижа, Буэнос-Айреса.

«Besamemucho», «LaCumparsita», «Под небом Парижа», «Караван», «Брызги шампанского», «Рио-Рита»...

*Но из прошлого, из бывлой печали,
Как ни сетую, как там ни молю,
Проливается чёрными ручьями
Эта музыка прямо в кровь мою.*

Я не стал писателем.

В моей детской мечте было много суетного, я желал славы, денег, вольной жизни и прочих мимолетных соблазнов.

С тех пор, как я неведомым образом на склоне лет излечился от мучительной болезни, что терзала меня десятилетиями (увы, шалманы не стали спасительной прививкой), я разом отрешился от всего суетного, мне совсем мало теперь надо, и ничего от жизни, кроме новых испытаний, я не жду.

Я не стал писателем, но я исполнил свою детскую клятву. Юрка Пая, Дуня, Саша-музыкант, быть может, теперь вы уйдете из моей памяти, и меня перестанет терзать эта музыка, обжигающая душу?

Хочу ли я этого?

Не знаю.

15 декабря 1958 года культуре «Голубого Дуная» пришел конец – было опубликовано Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении борьбы с пьянством и

наведении порядка в торговле крепкими напитками».

Кафе-мороженым и аналогичным предприятиям общепита оставили «Советское шампанское» и сухие вина; водку и все остальное – ресторанам.

Хотели, как лучше...

Вместо борьбы с пьянством спровоцировали резкий его рост.

Уже в 1959 году народ, естественно, нашел выход из положения.

Началась эпоха «Башашкина» – знаменитого центрального защитника ЦДСА и сборной СССР – с номером «3» на футболке.

– Башашкиным будешь?

Бутылку водки стали покупать вскладчину 2-3 человека, появилась новая питейная культура, после денежной реформы получившая название «на троих».

Первого января 1961 года один ноль с денег 1947 года убрали, сами деньги внешне стали попроще, купюры сильно потеряли в размере.

В новом масштабе установились цены на водку: «Кубанская любительская» (я был её и незабвенного «Горного дубняка» большой любитель) и все горькие настойки стали стоить (со стоимостью посуды) 2 р. 62 коп., «Московская особая» водка – 2 р.87 коп., «Столичная» (появилась в широкой продаже в 1953 году) – 3 р. 07 коп., коньяк три звездочки – 4р. 12 коп., коньячные напитки «Арагац», «Самгори» – 3 р.

62 копейки.

Цены на посуду: чекушка— 9 копеек, пол-литра – 12, винная 0,75 – 17 копеек.

Народ выбрал «Московскую». Коренной в тройке, собрав деньги, оставлял себе 13 копеек и посуду и мог выпить еще кружку разливного «Жигулевского» пива за 22 копейки, которое стали разливать из металлических бочек на колесах, как и квас.

Пить в общественных местах запрещалось, можно было загреметь в милицию, что грозило серьезными неприятностями, поэтому пили в укромных местах: между гаражами, в закоулках, у голубятен, в кустах, подъездах, в общественных туалетах, все наспех, все на нервах.

Взбудораженные нервы требовали успокоения, за год потребление алкоголя удвоилось.

Водку вместе с закуской стали приносить в пивные, столовые, кафе, даже в детские кафе-молочные.

Власть добавила выпивке состязательный характер. И каждый подсознательно думал: «Да что, я этого милиционера не проведу?»

Забегая вперед, расскажу историю. 16 июня 1972 года я шел встретить Татьяну Михайловну из школы.

В этот день вышло «Постановление ЦК КПСС и Совета министров об усилении борьбы с пьянством».

Я по этому поводу купил газету, чекушку «Кубанской»

и зашел в столовую на проспекте Вернадского, где всегда было бутылочное пиво.

Когда я наливал водку в стакан, в зал вошли два милиционера.

Деваться было некуда, и я поставил ополовиненную четвертинку на стол.

– Вот дает! – сказал сержант, – даже не прячется.

– А вы что, «Постановление» не читали? – удивился я, протягивая им газету, – с сегодняшнего дня ответственность за пьянство усиливается, но разрешается приносить и распивать. Так что вот это, – я показал на стеклянную табличку «приносить и распивать спиртные напитки категорически запрещается», – вот это скоро снимут. Ваше здоровье, – и я выпил полстакана.

– Ты закусывай, – посоветовал мне сержант, – возьми себе студень.

– И правильно, а то где еще выпить человеку, – поддержал правительство рядовой, – и нам лишняя морока – ходи, смотри, что у кого под столом стоит.

И стражи порядка удалились в отделение милиции порадовать товарищей благой вестью, которая была выдумана мною от начала до конца.

Вернемся, однако, к родному пепелищу.

У нас была печь-голландка, она щеголяла белоснежными изразцами, по центру гладкими, а по краям с лепниной, с

изразцовой полкой и медными вьюшками и заглушками, выглядело это все неожиданно нарядно в нашем убогом жилище.

В печное дело я втягивался постепенно, набирался ума-разума долго.

Дровяные биржи начинали работу 1 сентября.

Еще до того, как пойти в первый класс, я сопровождал отца на Биржу; там, в Головином переулке был шалман, потом пивная, дожившая до перестройки и сгинувшая в лихие 90-е.

Брать меня в шалман отцу строго-настрого было запрещено мамой, отец называл ее «Главносемействующая» за крутой нрав и склонность командовать.

Отец запрет, конечно же, нарушал, но вынужден был ограничиваться малым.

«Дрова, они разные бывают», – эту немудреную истину я слышал несчетное количество раз.

Прежде всего, у учетчика, того, кто мерил пресловутый «кубик» осведомлялись: откуда дровишки?

И получали неизменный ответ: «Из лесу, вестимо. Из Тверской губернии».

На что покупатель глубокомысленно замечал:

– Там дровяники правильные (дровяник – участки леса, предназначенные на дрова). Баржой, стало быть, доставлены?

– Баржой, в самый что ни на есть Северный порт, – учетчик прекрасно понимал намек. – Если и сплавлиали, так они

год сохли. Дрова сухие, жаркие.

– Особенно осина, – иронично заканчивал беседу покупатель.

Вряд ли кто из нынешних горожан скажет, какие дрова лучшие.

Наверно, удивлю – ольховые, ни сажи, ни золы, один жар.

Ольхой топили барские и царские печи.

Дрова с севера – значит, будет ель, сосна, береза и осина.

Кленовых дров в России не бывает, по древнеславянским поверьям клен – это человек, липу не рубят на дрова, из нее делают утварь и иконостасы, отличные дрова из яблони и груши, вот и сжег немец в войну все сады.

Надо было договориться с учетчиком, чтобы в «кубике» было поменьше осины, а уголь (1 куб дров можно было получить углем, $\frac{1}{4}$ тонны) был донецкий антрацит.

Что-что, а договориться отец мог с кем угодно, дар Божий, которого я начисто лишен.

День покупки и доставки дров был длинным и тяжелым днем, потому что привезенные дрова нужно было распилить хотя бы так, чтобы их можно было убрать в сарай.

Соседи помогали друг другу, но надежнее было управляться силами своей семьи, поэтому к козлам я встал рано.

Опытному пильщику достаточно было, чтобы вторую ручку двуручной пилы кто-нибудь держал и двигал ею в такт, для этого годился ребенок.

Если пила хорошо разведена, пилить с малолетним по-

мощником можно.

Пилы в нашем дворе разводил лучше всех наш коммунальный враг Александр Иванович.

Во время перемирия мы вручали ему пилу, он отчаянным усилием приходил в относительно трезвое состояние и разводил зубья на совесть. Про такую пилу говорят – сама пилит.

Профессиональные пильщики пользуются для определения длины чурака (отпиливаемой части бревна) меркой – палкой, которую привязывают к козлам.

Мы пилили на глазок, а глазомер у меня удивительный, чураки по 50-55 см, так как топка у нашей печки была – огого.

После пилки – колка.

Если Петр I был царственный плотник, то Николай II – царственный древокол; современники свидетельствуют – царь был древокол от Бога, и быть бы ему древоколом, но что-то в небесной канцелярии напутали, и русская история пошла под топор.

Но топором рубят дрова любители для бани на даче, колка дров производится колуном, а топор – инструмент плотника.

Прежде, чем развалить чурак на плахи, надо его осмотреть. Трудности при колке создают сучья, так вот сук надо рубить вдоль, а не поперек, а то с одним чураком выбьешься из сил.

Развалили плаху на два полена – получили четверик, на

три – шестерик, на четыре – восьмерик, которым и топились наша печь; мельче – лучина и щепы, необходимые для растопки.

Поленья нужно уложить в поленницу так, чтобы она не завалилась, чтобы удобно было брать дрова и не получилось так: всю березу и хвойные сожгли, осталась одна осина, а от нее не занимается антрацит.

Печи–голландки в Россию, естественно, завез Петр I, уж очень ему изразцы с парусниками были милы.

Муравленые (изразцовые) печи в России ставили со времен патриарха Никона и печи с пазухами и сложными дымоходами ставили, но Петру все иноземное казалось лучше.

Первобытная голландская печь была (как и русская) теплонакопительной и примитивной, брала массивностью (10 м²), поэтому медленно и остывала.

Топку имела без колосников и поддувала, но в России ее быстро усовершенствовали.

Самые маленькие голландки были по 2,5 м², но обычный размер – 4-5 м², обязательно изразцовая, с полками, иной раз с пилястрами и даже колоннами.

Печь остывала медленно, потому что имела несколько камер, где раскаленный воздух запирался системой вьюшек и заслонок.

Топить голландку одними дровами накладно, дрова служили для создания температуры, при которой загорался каменный уголь.

Уголь – только кардиф или антрацит, тот, кто попытается топить голландку бурым углем или штыбом, тот враг печи и самому себе, можно до того дотопиться, что произойдет самовозгорание сажи в дымоходе.

Вьюшки надо закрывать в строгой очередности, а заслонку дымовой трубы – только когда в топке все перегорело или вытащено кочергой в ведро с водой, иначе недолго и угореть.

Родители поочередно преподавали мне эту науку.

Зимой топить печку, кататься на коньках и санках и читать книги (по одной в день, частенько я читал их у топки), – это мои любимые занятия по сию пору, но санки! – вот уж поистине укатали Сивку крутые горки.

Дом спалить я не мог, но бед натворить – легко, поэтому печку мне доверили не сразу.

Постепенно я понял, как лучше уложить поленья, чтобы вовремя занялся и начал рдеть уголь, знал, что его надо вымочить, а иногда и взбрызнуть водичкой.

Уголь раскалялся и, наконец, по нему начинали бегать языки синеватого пламени, жар становился невыносимым, и я закрывал дверцу топки, время от времени орудуя кочергой.

Кочерга, металлический совок, щипцы, рукавицы, ведерко с сухим чистым песочком, ведро с водой, чтобы сбрасывать запоздавшие угли, иначе весь жар в небо уйдет, вот все инструменты истопника.

Сосновые и еловые дрова стреляют при топке, поэтому пол у печки был обит железом.

Как и все истопники, я был немного Брюс: сильная тяга – к морозу, как и красное пламя поленьев, белое с синими искрами – к оттепели. Береза дает много сажи, а осина – золы.

В конце 1952 года 239 мужскую школу поставили на ремонт, во двор выбросили длинные половые доски из классов, я потихоньку таскал их в сарай, пропитанные олифой, крашенные, сухие, они горели как жаровые дрова (дрова, высушенные на корню, что еще в XIX веке употреблялись для плавки металла).

В обслуживании печки был один деликатный момент: она требовала угля больше, чем мы покупали – 250 килограммов уходило за тридцать топок, а их в году было около сотни. Уголь можно было без всякого риска спереть из угольной ямы любой соседней котельной (у каждого дома – своя), но мама относилась к государственной собственности, как к святыне...

Вот мне и приходилось, щадя её верноподданнические чувства, тырить уголь в мамину рабочую смену.

В году пятьдесят пятом в угольную яму одиннадцатого дома сгрузили крупно нарубленный антрацит – куски не лезли в ведро.

Я колол их, благо дворник держал лом неподалеку, а дома ещё и разбивал куски молотком и разглядывал оттиски неведомых папоротников и хвощей, что росли и цвели миллионы лет назад в излучине Дона.

Моей коллекции мог позавидовать иной палеонтологиче-

ский музей: отпечатки чьих-то лапок, крылышек и хвостов сторали в топке нашей голландки – хранить экспонаты мне было решительно негде.

Может быть, я что-то пропустил, запомнил, но иной раз наплывает: тусклый свет лампочки без абажура в коридоре, я усаживаюсь поудобнее на детском стульчике, разжигаю растопку.

На столе тети Мани за моей спиной уже расположился величественный Котя, большой, очень важный кот, разменявший третий десяток и прекрасно сознающий свою исключительность, рядом с ним том Дюма.

Вот пламя бересты и лучины начинает охватывать поленья, становится светлее, вот пошло тепло и Котя мощно замурлыкал.

Никого кроме нас нет в коридоре – редкий час тишины в нашем доме.

И никакой нищеты, никакого убожества нашей жизни я не замечал, а сказал бы кто – не поверил.

Гудела, потрескивая, печь, граф Монте-Кристо подкупал телеграфиста оптического телеграфа (лакомое место романа, который читается в третий раз), пел старый кот, и Федор Яковлевич еще в своей комнатёнке задумчиво наигрывал на тальянке «Когда б имел золотые горы и реки, полные вина»...

Двор и окрестности

На стене 16-го дома большими полустертыми буквами, писанными варом: «Юрка Пая», «Боря крыса» и «Ли – сука!».

*Где вы теперь, кто вам целует пальцы,
куда ушел ваш китайчонок Ли?..*

Вряд ли Юрка Пая и Боря Крыса или сука Ли догадывались, что пальцы можно целовать, а не только разбивать их молотком.

Они ушли на острова архипелага ГУЛАГа и не вернулись.
Дорога торная.

Легенды Сретенки и Трубной, легенды нашего двора.

*Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете как миф о людях,
что ушли, не долюбив,
не докурив последней папиросы.*

Вы скажете – эти стихи о других людях? Да, об иных, но сейчас это не важно, важно, что ушли и не вернулись.

Сколько их, не попавших по возрасту на фронт, до ледовых широт поднялись, сгинули в тюрьме или стали вечными сидельцами.

Историк Генрих Иоффе, верный ленинец, публично обвинявший меня в клевете на Владимира Ильича (я прозрачно намекал в огоньковской статье, что Ульянов знал: Вацлав Малиновский – провокатор и использовал его в этом качестве), в мемуарах, написанных, конечно же, в Монреале, вспоминает, как в 1944-45 году он учился в 254 школе Дзержинского района в единственном (на весь район) 10-м классе из 17 человек.

Сверстники Иоффе работали или сидели.

Детское население нашего двора было, как и двор, невелико.

Старшими были я и мой ровесник из татарского флигеля Ромка. Его отец, тоже Роман, возглавлял средних размеров спекулянтскую сеть и три человека из нашего двора, в том числе наш отец, работали по этой части с Романом-старшим.

В доме 16 на чердаке жил старинный приятель моего отца – дядя Коля Хлоп, в миру Николай Алексеевич Чернышев с женой Нюрой и сыном Толькой.

Коля Хлоп был занятной личностью: он не пил, состоял на учете в психоневрологическом диспансере и работал электриком на молочном комбинате.

Прозвище объяснялось его привычкой и присказкой:

– Приходит ко мне участковый, хлоп! – и он крепко хлопал себя по колену.

Хлоп был человек зажиточный, и деньги немалые таскал в карманах брюк скомканными, без различия достоинства ку-

пор, в плотные комки.

Давая деньги в долг, он давал комок, не пересчитывая, на доверие.

Жена его, Нюра, работала на зеркальной фабрике, две их крохотные каморки на чердаке были сплошь увешаны зеркалами, и я, про себя, называл их жилище «королевством кри-вых зеркал».

Ромка-татарин купил себе крохотный холодильник «Газ-аппарат», и Коля купил себе такой же. Хлоп купил КВН-49, и Ромка купил телевизор.

В 1948 году на Колхозной площади в магазине «Главэлектросвязьбыт» (одно название – восторг) появилось чудо – советский телевизор Т-1 с экраном 10 x 13 см.

Впрочем, стоил он бешеных денег – полторы тысячи и широкого распространения не получил.

В 1949 году появился знаменитый КВН-49 (10 x 14 см), названный так по первым буквам фамилий конструкторов – Кенигсен, Варшавский и Никольский.

Аппарат выпускался военной промышленностью, работал надежно, изображение было очень четким, к нему тут же приспособили большие линзы, которые заливались дистиллированной водой (продавалась в аптеках) и картинка увеличивалась до 13 x 18 см.

У Ромки были ковры, у Хлопа – зеркала; Чернышевы разрешали сыну приглашать на телевизор ребят со двора, Ромка берег бухарские ковры.

В холодильнике у Чернышевых всегда хранился промышленный брикет сливочного масла, вынесенный с молочного комбината в пергаментной обертке.

Два раза в месяц Хлопа навещал участковый и собирал дань – два килограмма масла.

Остальное продавала Нюра по льготной цене и только проверенной клиентуре (мы покупали масло в магазине: мама говорила, что не может есть ворованное), что-то Чернышевы съедали – Толик считался ослабленным ребенком, и на его бутербродах слой масла достигал сантиметра.

Чердак дома № 16 был немалый. И был, как водится, забит всякой хурдой-мурдой, и среди старых тюфяков и панцирных сеток от кроватей, дырявых ведер и корыт, велосипедных дореволюционных рам «Дукс» и «Вандерер», продавленных диванов, разломанных буфетов, пряталась тайная коморка, в которой проживала безвыходно (только в туалет и только ночью) тетка Хлопа, жена брата его матери, тетя Лиза.

Тетя Лиза, тихая женщина-невидимка, сама избрала столь необычный затворнический образ жизни, а Коля рисковал получить десятку строго режима.

Дело в том, что полное имя тетки было Елизавета Карловна, урожденная Вейскопф, она была немкой и в начале войны должна была отправиться в ссылку.

Но Коля спрятал ее! Нынешний обыватель просто не в состоянии оценить жертвенного героизма Хлопа, а Хлоп прятал тетку 15 лет, она вышла на свет Божий летом 1956 года.

Толик Чернышев мог стать роковым человеком моего детства.

Он был лишен не только чувства страха, но и инстинкта самосохранения.

– Бздишь? – он выжидательно смотрел на меня, и я прыгал из окна третьего этажа дома 13 в кучу просеянного песка (дом был поставлен на ремонт), в сетке-грохоте была дырка, в куче песка – галька величиной с куриное яйцо – я месяц хромал; Толик тоже прыгнул – и ничего.

Он стал крюком цепляться к грузовикам, когда мы зимой на снегурках катались по снегу, утрамбованному колесами машин в нашем переулке – и я был вынужден цепляться крюком, хотя понимал, что на спуске этого делать никак нельзя – малейшее торможение автомашины – и ты под колесами.

Но признаться в том, что ты чего-то боишься, было против понятий уличной чести, после этого оставалось надеть кальсоны из гринсбона и ходить, держась за ручку мамы, стать маменькиным сынком, гогочкой.

Нет, лучше смерть, чем позор, мертвые сраму не имут...

Некоторые кульбиты, которые подбивал меня выполнять Толик, были под силу только опытным каскадерам, но каким-то чудом мы остались живы...

В 1957 мы переехали на Ломоносовский проспект, а в 1959-м году Чернышевы перебрались на 1-ю улицу Строителей.

Оказавшись соседями, изредка виделись.

Однажды мы с ним проходили строящийся метромост по его пешеходной дорожке, Толик вспрыгнул на перила и пошел над Москвой-рекой.

– Бздишь? – спросил он меня, и я пошел за ним.

Он шел легко, играючи, он вообще ловок был, как кошка, я ковылял на чугунных ногах, стараясь не глядеть вниз.

Прогулка по перилам была последним безрассудством, к которому я был вынужден присоединиться.

Однажды, после армии, я встретил постаревшего Хлопа, он стал еще чудаковатее, говорил невнятно, спрашивал одно и то же про отца, совал мне комки денег, а когда я отказался, он зарыдал, это было похоже на судорожный лай, и я взял деньги.

Он несколько успокоился и сказал, что Толик погиб совсем молодым, сорвался со стрелы подъемного крана.

Приходили к нам ребята из дома 11, с Васей Усиненко из дома 13 мы были вместе в старшей группе детского сада.

Его отец, хохол, с запорожскими усами, в вышитой украинской рубаше, был шофером и, когда заезжал за сыном в своей кофейной «Победе», катал и нас с Лидой по переулкам, вокруг Рождественского бульвара.

Из девочек нашего двора вспоминаю Розу, сестру Рифата и Таню Горячеву, дочь сталевара с «Серпа и Молота».

Он к своей комнатухе на первом этаже дома № 16 пристроил к стене здания маленькую нахаловку, еще 12 м² жилья; власти пытались ее сломать, но он отстоял свое кров-

ное, и пристройку снесли только в 1956 году, когда Горячевы съехали.

Роза, старше меня на три года, была первым ребенком проститутки Гальки, жившей на втором этаже татарского флигеля.

Рифат, ее брат, родился после войны, была еще младшая девочка, имени которой я не помню.

Галька была проституткой последнего разбора, клиентов водила из шалмана на Трубной, зарабатывала мало и то, что добывала, там же, на Трубной и пропивала.

Один клиент – один стакан.

Детей кормили всем двором. Они играли с нами вместе, но даже при тогдашней нищете они были голодранцами в буквальном смысле слова.

Рифат ужасал нашего участкового педиатра, добрейшую и усатую Лию Соломоновну Мешалкину своей сизой, голой задницей, на которой он катался с ледяной горки.

Когда я впервые попал в комнату этого святого семейства – (они все были безгрешны – и мать, и дети, Рифат даже не воровал), то был смущен скудостью обстановки: в комнате не было ничего.

Спали все вповалку на газетах, в углу у окна была дырка, куда писали дети назло нижним соседям Кругловым – известному гадскому семейству, чей старший сын Юрка служил лейтенантом на Лубянке, но ничего с выводком Гальки поделать не мог.

Кончилось все тем, что когда Рифат не пошел в школу, мать лишили родительских прав.

Однажды, в году 1967, я почувствовал в метро, как меня в упор рассматривает молодая, хорошо одетая женщина.

– Юра, я Роза, дочь Гали, сестра Рифата...

И я узнал, что она закончила пединститут, работает преподавательницей биологии, вышла замуж за майора, воспитывает сына и младшую сестру, Рифат – лейтенант пограничных войск.

– Теперь у нас офицерская семья, – с гордостью закончила она свой рассказ.

Возможно ли такое в наши дни?

Сомневаюсь.

Сестра моя в детстве была еще тот фрукт.

Ее снимали с пожарных лестниц, она подбила меня «сварить суп», покрюшив в кастрюлю с водой родительские паспорта.

В пять лет она попала на страницы «Вечерней Москвы»: отец повел нас в зоопарк и, когда он пристроился в очередь к ларьку с правом розлива, по радио объявили:

– Чья девочка в красном платье ушла к слону?

В большом пруду зоопарка устроили искусственный остров, и там находился слоненок, недавно родившийся в Московском зоопарке.

Девочка, конечно же, была наша. Она весело играла со

слоненком, запугав бедное животное так, что он начал от нее пятиться.

Обезумевший отец рвался спасти Лиду, но его держали за руки два милиционера. Директор зоопарка Иван Петрович Сосновский, кроме него – специалисты по слонам, пожарные, зеваки – собралась изрядная толпа.

Непонятно было, как поведет себя слониха-мама. Но она-то и оказалась разумнее всех: радостно протрубив, она окатила из хобота и своего детеныша, и человечьего. Мокрая с головы до ног Лида побежала по мостику на берег.

Мы дали отцу честное слово, что ничего не расскажем матери, но директор зоопарка был давним корреспондентом «Вечерней Москвы», он-то и рассказал читателям о забавном происшествии.

Изя Дерптский был старше меня на год, жил в 16 доме, но во дворе держался чужаком.

В школе он был неоднократно бит за воровство в раздевалке, потом терся на Центральном рынке среди продавцов орденов и облигаций, на что мильтоны смотрели сквозь пальцы, потом начал приторговывать краденым и кончил тюрьмой.

У Салтыковых из 16-го дома была дочка, наша сверстница, но мы были уличные дети, а она домашняя, всюду ходила с бабушкой, во двор никогда не выходила.

Первой дворовой забавой совсем еще молочного детства

была странная игра (или не игра): мы копали во дворе ямки, закрывали их сверху стеклом, а внутрь запускали пойманных мух, жучков-паучков и подолгу наблюдали за ними.

Что это было? Дух всеобщей несвободы, о которой мы не имели ни малейшего разума, не разрядившееся электричество мировой ненависти, полыхавшей долгих шесть лет?

Или какое-то искривление времени перед окончательным разрушением человека, наступившем в последней четверти XX века, перерождением его во что-то качественно совсем иное, одномерное существо эры необузданного потребления.

Среднеевропейский человек как идеал и орудие всеобщего уничтожения...

В 13-м доме по Печатникову переулку, где жили в основном сотрудники Лубянки, их дети, наши сверстники, из кирпича собрали печь и жгли в ней кошек, пока кто-то ломом не разворотил этот детский крематорий.

Насладившись зрелищем чужой неволи, мы своих пленников освобождали, а стекла до поры складывали в укромное место.

Весенней забавой молочного детства было пускать кораблики по ручьям.

Снег с улиц убирали машинами и сбрасывали в Неглинку на Трубной площади, где открывали на зимне-весенний период два больших люка, так чтобы к каждой стороне колод-

да могли подъезжать по три самосвала. Именно эти люки, по оплошности оставшиеся открытыми в день похорон Сталина, сыграли роковую роль.

Долго еще Неглинка выносила трупы к Большому Каменному мосту...

В переулках снег не убирали, и к концу зимы сугробы вырастали выше человеческого роста.

Если весна случалась дружной, начинался потоп, а мы, к возмущению взрослых, строили запруды на ручьях. В паводок переулок превращался в реку за несколько минут, начинало заливать подвалы и полуподвалы.

Из щепы вырезались утлые челны – вот ножичек и пригодился.

Спортивный азарт состоял в том, чтобы как можно быстрее провести при помощи прутика из дворницкой метлы свою лодку по фарватеру: из переулка на Трубную, дальше – на Трубную площадь по направлению к Цветному бульвару.

Там плавание заканчивалось – вдоль Неглинки стояли такие мощные сливные решетки, что наши утлые челны проваливались в тартарары.

Я предпочитал стругать свои лодочки из коры, сосновой или дубовой – всё не как у людей – как любила говорить баба Маня.

В конце нашей игрушечной навигации мы отправляли ладьи в далекий путь: подземное плавание по Неглинке, потом по Москве-реке. Чтобы дать волю воображению, пришлось

познакомиться с географией: я любил представлять, как моя пирога плывет по Оке и Волге в Хвалынское море.

Лапта, чижик, штандарт, салочки, прятки, казаки-разбойники (все углы проходных дворов были исчерканы разнообразными стрелами, означавшими пути отхода разбойников); классики и прыгалки у девочек, «ножички» и игры на деньги у мальчиков.

По сути дела, наши «ножички» были творческим развитием древней русской забавы – «тычки».

Именно во время тычки царевич Дмитрий, страдавший падучей, перерезал себе горло. Если, конечно, верить Шуйскому, клятвопреступнику и лукавому царедворцу.

Непременным условием победы было правильно воткнуть нож в землю, которая была изрядно засорена.

Тычка тычкой, но нашим предшественникам вряд ли пришло в голову назвать одну из фигур игры в ножички так витиевато: «пошли в дом 25 слону яйца качать».

Ступенями восхождения к высокому искусству «ножичков» были «корабли» и «круг». Круг делился на доли по числу участников, потом при помощи жребия (считалки оставим для прятков) определялось, кто будет первым метать нож, который разрешалось держать за ручку произвольным образом. Вдоль направления лезвия проводилась черта, и от доли противника отрезался жирный клин чужой земли.

История довлела над нами!

Продолжать игру можно было до тех пор, пока игрок помещался на своем участке. Но возможны были союзы, альянсы, пакты: «дам постоять» – один из участников мог дать другому постоять на своей территории, пока друг-соперник будет возвращать свои пяди и крохи.

Наши договоры о дружбе и границе не уступали по коварству аншлюссу, Мюнхенскому стовору и пакту Риббентропа-Молотова.

В игре «кораблики» посредством метания ножа в землю от судна до судна протягивалась цепь овалов-шлюпок, для захвата вражеского корабля довольно было поразить одним ударом носовую часть, двумя – корпус и тремя – корму.

Собственно «ножики» были игрой виртуозов и состояли из множества фигур. Нож метали с пальцев («пальчики»), запястья («часики»), локтя, плеча, груди, лба («зачес»), от глаз, носа; «зубки» исполнялись ножом, лезвие которого зажималось между челюстями. Нож нужно было подбросить так, чтобы он вонзился в землю.

В конце игры три «росписи» – простая, сложная и «очко», в случае невыполнения последней все пройденные фигуры сторали и начинать приходилось с нуля.

Проигравший должен был вытащить колышек (не более 7 см), который забивался рукояткой ножа (плашмя!), так что вытянуть колышек, не поевши землицы, было невозможно.

Заслуженным, уважаемым игрокам разрешалось для удобства извлечения колышка ножом выкопать две ямки для

носа и подбородка...

Я упражнялся в фигурах каждый день и тащил кол всего раза два-три за долгую игровую карьеру.

Азартных игр было три: догонялка, казенка и расшибалка, или расшеше (рашеше) – безусловный лидер по популярности.

Самый невинный вид имела догонялка: первый игрок бросает биты – монету, маленький металлический кружок, пластинку.

У меня биты были свинцовые, вернее, из гарта, типографского сплава – отец нарубил реглет в типографии, они ложились намертво, не скользили и не подпрыгивали.

Первый игрок (по жребию) бросал свою биты куда хотел, второй мог сразу начать «догонять», т.е. постараться свою биты броском положить в такой близости к бите противника, чтобы можно было дотянуться расставленными пальцами.

Биты у меня были отменные, глазомер от Бога, пальцы длинные, а бросок поставлен игрой в расшеше, так что из своих никто со мной играть не хотел, и приходилось искать простаков на стороне.

Замечательной особенностью этой игры было то, что деньги нигде на виду не лежали и «догонять» можно было на глазах хоть моей бдительной родительницы – внешне все выглядело так же безгрешно, как «дочки-матери».

Казенка или пристенок: кон или казна, очерченный мелом

или кирпичом квадрат 15 на 15 см располагался примерно в полутора шагах от каменной стены, и на нём лежали деньги.

Ребром монеты ударяли в стену, если она попадала в кон, то ва-банк. Если от монеты можно было пальцами дотянуться до казны, игрок забирал одну ставку, если монета отлетала в сторону – нужно было ставку доставить на кон.

В расшибалку играли только на асфальте.

Поперечная черта, кон посреди черты и деньги на кону: с условленного расстояния бросали биты, стараясь попасть в кон (редкая удача) или поближе к черте (это определяло того, кто будет расшибать первым).

Если бита падала, не долетев до черты, надо было платить ставку или ты выбывал из игры.

Деньги лежали в столбик, повернутые вверх решкой.

Под крик всей гоп-компании: «Расшибай!», – первач броском ударял битой плашмя по монетам. Если ставка была гривенник, то все перевернутые вверх орлом гривенники и более мелкие монеты становились выигрышем, двугривенный нужно было вернуть в исходное положение. Если монета не переворачивалась или следовал промах, в игру вступал следующий игрок и так до окончания кона, и заводилась новая игра.

Взять кон и покинуть игру было нельзя, надо было дать соперникам отыгаться.

Однажды я попал в кон три раза подряд. Дело было на чужой территории, в Малом Сергиевском переулке, и я был

бит, не очень больно, но обидно (см. «Уроки французского» В. Распутина и фильм с тем же названием).

Азартные игры детства не сделали меня игроком: кому быть повешенному – тот не утонет.

Среди наших игр были вполне аристократические забавы. Серсо – две деревянные шпаги с деревянными же обручами. Брошенный с одной шпаги обруч другой игрок должен был поймать на свою. Серсо имело то несомненное преимущество, что деревянным обручем можно было и не разбить чужое окно.

Крокет: проволочные воротца, деревянные шары и молотки.

Видимо, мама надеялась такими невинными уловками отвести меня от опасных уличных развлечений.

Дома в ходу было лото, советские настольные игры с фишками и игральными костями.

Лото с деревянными бочонками и картонными картами стоило 25 рублей; папа не терпел изделий из пластмассы, и я унаследовал эту нелюбовь. Мне нравились деревянные бочонки лото и их прозвища: 10 – «бычий глаз», 18 – «в первый раз», 22 – «утята», 44 – «стульчики», 77 – «топорики».

Детские настольные игры с игральными костями были на удивление мало политизированы. Я придумывал замечательные по воспитательному воздействию весьма изощренные игры по разоблачению врагов, поимке шпиона, про вторжение в наше воздушное пространство самолетов-нарушите-

лей, которые согласно не умолкавшей тарелке радиотрансляции обычно «уходили в сторону моря».

Но я не знал, куда обратиться с предложениями, клонящимися к агитационному и воспитательному перевороту в скромной области тихих игр, а родители от меня отмахивались.

Еще до того, как пошел в школу, я усвоил, что всякий уважающий себя уличный мальчик (не Гога в кальсонах, судорожно цепляющийся за мамину юбку, а мальчик с нашего двора) должен носить кепку, иметь нож, фонарь, лупу для выжигания разных букв и слов на скамейках, стенах и заборах, биты разные, мел, рогатку с широкой резинкой, выкроенной из маски противогаса, коньки, самокат на подшипниках, достигавший при спуске с горы бешеной скорости и оглашавший округу душераздирающим визгом и скрежетом, и конечно – велосипед.

Из всего этого джентльменского набора я располагал коньками-снегурками, самокатом, черной кепкой, лупой, фонарем с двумя цветными стеклами – красным и зеленым, двумя ножами – щегольским, с рукоятью благородного перламутра с двумя лезвиями, открывалками для бутылок и консервных банок, штопором и шилом; второй нож был рабочий, тяжелый, хорошо уравновешенный с простой стальной ручкой, облагороженный накладками из алюминия с тисненой пятиконечной звездой, что позволяло мне сочи-

нять небылицы про то, что это нож боевой, армейский, и на нем много вражеской крови.

Некоторые верили.

Я был рачительный хозяин: всегда помнил, что где лежит, куда я что припрятал; ножи и коньки были поточены, подшипники на самокате смазаны автолом, рогатка была испытана на вражеских окнах; я частенько проверял, свеж ли «элемент 3336л» – плоская батарейка за 1 р. 70 коп., лампочка к фонарю 3,5 вольт стоила 70 копеек, но служила долго.

Из «элемента» торчали две жестяные полоски разной длины – «+» и «-», если их поднести к кончику языка, то по степени жжения можно было определить, не выдохся ли элемент.

Батарейки были двух разновидностей: плохого качества и очень плохого. Последние текли, первые быстро выдыхались, хотя и были заявлены производителем двенадцать часов непрерывной работы, а фонарь нужно было держать в постоянной боевой готовности, хотя, по сути дела, пользовался я им редко.

Ойкумена

Из книги про Золотое руно, которую читала мне мама (когда она работала в утреннюю смену), я запомнил это мудреное древнегреческое слово.

Греческая праойкумена был Пелопоннес, моя – переулки, Сретенка, Трубная, Рождественский бульвар.

До школы моими Геркулесовыми столпами были Петровский и Цветной бульвары – кинотеатр «Форум» – Чистые пруды – улица Кирова (Мясницкая) – площадь Дзержинского (Лубянская площадь) – Кузнецкий мост – Неглинка – Трубная площадь – Самотека – и мир замкнулся.

Сокольники я воспринимал как загород, улица Мишина (район Петровского парка), где жили бабушкины сестры Люба и Тоня и дети Любы – Игорь и Света, я почитал за глухую московскую окраину; на метро без старших не ездил, а на 2-х этажном троллейбусе – от Колхозной площади до Кузнецкого моста, в пределах Ойкумены.

Двухэтажный троллейбус появился в Москве в 1938 году.

По распоряжению Н. С. Хрущева, первого секретаря Московского городского комитета ВКП(б), в Лондоне в 1937 году (и как это большевики все успевали – и расстреливать несчастных по темницам и городским транспортом заниматься?) был закуплен двухэтажный экипаж, морем достав-

лен в Ленинград, оттуда – буксиром в Тверь (Калинин), в Твери погружен на баржу и по каналу крови и слез имени Москвы рогатый пришел в столицу.

В Ярославле были срочно построены 10 близнецов лондонца и пущены в Москве на двух линиях: по улице Горького (Тверской) и по 1-й Мещанской (проспект Мира с 1957 года) – Алексеевской – Ярославскому шоссе до Сельхозвыставки.

Задним умом поняли: в Лондоне все троллейбусы двухэтажные и под них выстроена единая контактная сеть.

В Москве контактную сеть пришлось поднять на двух маршрутах, где продолжали ходить обычные одноэтажные троллейбусы и их эксплуатация превратилась в муку мученическую.

Сначала им попытались удлинить рога, но они стали соскакивать на каждом перекрестке с другими троллейбусными линиями и на развилках пути.

Пришлось вернуться к обычным рогам, но это лишало одноэтажные троллейбусы какой-либо маневренности – объехать препятствие стало невозможно.

После войны двухэтажное диво с улицы Горького – Ленинградского проспекта убрали, но оставили на маршруте Кузнецкий мост – ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, с 1958 года – Выставка достижений народного хозяйства, ныне ВВЦ – Всероссийский выставочный центр, который скоро в который раз придется переименовать в связи с восстановлением национальных павильонов – Армении, Ка-

захстана, Киргизии...

Неизбежно вернутся и отраслевые выставки: РЖД, Росатома, Космонавтики...)

Двухэтажный троллейбус (есть послевоенные фото – лондонский близнец, пересекающий Колхозную, ныне Сухаревскую площадь) пропал сразу после смерти отца родного и вождя всего прогрессивного человечества – Сталина (Джугашвили) Иосифа Виссарионовича.

Обратите внимание на топонимическую чехарду – просто чудеса в решетке – как принялись переименовывать после октября 1917-го года, так с тех пор остановиться не можем. Нынешняя московская топонимика – чудовищный винегрет, в котором нет ни смысла, ни вкуса. Ленинский проспект! Почему не Большая Калужская – кто это может объяснить? Впрочем, это – скок в бок.

В 1959 году, в правление все того же Никиты-кукурузника (Н. С. Хрущева) появился в Москве двухэтажный автобус.

Три таких автобуса двух модификаций (два автобуса Do 56 и один Do S6) были закуплены в ГДР, и стали курсировать по 111 маршруту от метро Октябрьская до МГУ, позже – от метро «Площадь Свердлова» (ныне – «Театральная») до МГУ.

Двухэтажный автобус унаследовал недостатки двухэтажных троллейбусов: узкую и неудобную лестницу на второй этаж, которая зимой забивалась снегом, становилась скользкой и опасной, а, главное, двухэтажный транспорт не был

создан для московских перегрузок: со второго этажа можно было и не вылезти на своей остановке.

Видимо, поэтому двухэтажный автобус поставили на 111 маршрут-экспресс, где было всего две-три промежуточных остановки.

Забавно, но двухэтажный автобус сгинул в Лету сразу после малой октябрьской революции – свержения Хрущева в октябре 1964 года.

Москва влекла меня диковинами: сгоревший цирк на Цветном бульваре, уголок Дурова на Самотеке, депо театральных принадлежностей за Каретным рядом; монастырями: Рождественский, Сретенский, Высокопетровский (в двух шагах от него находилась наша детская поликлиника, в которой позже открыли медвытрезвитель).

Рынок (старый Центральный, с каменными павильонами и деревянными грязными рядами), казавшийся мне царством изобилия; магазины: «Охота и рыболовство» на Неглинной (какие чучела были выставлены в витрине, какие ружья!), марок, диафильмов, табака, зоо, писчебумажные, игрушек – было на что поглазеть, и так – дом за домом врался я в город, и город врался в меня.

Многое во мне, в нашей жизни и Москве разрушено, но крепки в душе стены Рождественского монастыря, священны камни Колокольникова переулка, бессмертны очертания

Сретенки, моей Сретенки 40-х – 50-х годов XX века.

Москва вела меня незнакомыми переулками, проходными дворами, прудами, рекой, но у меня не было надежного напарника, а путешествовать одному было боязно.

Отец ездил иной раз со мной на Воробьевы горы, мы ехали на метро от «Кировской» («Чистых прудов») до Парка культуры, оттуда на речном трамвайчике до Ленинских (Воробьевых) гор, где был пляж, но не было магазина, поэтому был лодочник. Лодочник перевозил нас в деревню Лужники, где жил знакомый верстальщик из «Красной звезды».

Происхождение названия «Лужники» было видно из состояния улиц. Нельзя сказать, чтобы это была Венеция, но пьяные тонули в лужах регулярно, и их горестные истории я слушал, сидя за столом, на котором для вида кипел самовар и стояло блюдо с сушками.

До середины XVIII века Сретенка была главной московской улицей.

Но в связи со строительством Петербурга и превращения его в столицу де факто – царский Двор переехал (так как никакого документа об официальном признании Санкт-Петербурга столицей не существует) – самым важным радиальным направлением в Москве стало Тверское.

Постепенно торговля переместилась со Сретенки на Тверскую – там открывали новые лавки, а затем и магазины рус-

ские купцы, а иностранцы придерживались Кузнецкого моста.

Дворяне стали строиться на Тверской, здесь открылся Английский клуб, а Сретенка менялась медленно.

Но земля здесь была так дорога, что на всей улице не было ни одних ворот и первые ворота в конце улицы на нечетной стороне – это конец XIX века.

Сретенка – улица торговых фасадов, а въезды во дворы, ворота, размещались со стороны переулков.

Сретенка перестала быть главной московской улицей и стала главной улицей моей жизни.

Сретенка – улица соблазнов.

Если идти от Сретенских ворот к Сухаревке, то прямо на углу Сретенского бульвара и четной стороны Сретенки была большая галантерея (ныне в этом помещении чешская пивная – что Бог не делает, всё к лучшему), в которой продавалась масса замечательных вещей, по большей части мне совершенно ненужных.

Вроде замочков для почтовых ящиков – у нас и ящика-то не было. Всё равно купил, и пригодился!

Я им и куском цепи, стыренной у Александра Иваныча, стреноживал свой «Орленок».

Но здесь же и перочинные ножи, и буквы для галош.

Буквы для галош – это то, что сейчас мало кто помнит: металлический неполный алфавит (без «ь», «ъ», «ы»), штампо-

ванные дюймовые литеры, латунные и никелированные имели маленькие шипы для крепления к внутренней части галоши (под пятки).

Пометив таким образом свои галоши, вы были застрахованы от того, что гардеробщик подсунет вам чужие, дырявые.

Впрочем, современному читателю заодно нужно объяснить и что такое галоши.

Я мечтал купить дюжину металлических букв и на двери нашего сарая прибить их: «Юрий Гаврилов».

Поистине, дьявольское честолюбие сжигало меня.

Останавливали два обстоятельства – постоянная нехватка средств и здравое соображение, что злоумышленники выковыряют мою гордую надпись, и она пойдет на чужие галоши.

Комиссионка («Берегись автомобиля») и «Цветы» в трёхэтажном квадратного плана доме, коими по повелению Павла I замыкали московские бульвары и которые служили в конце XVIII – начале XIX века постоянными дворами, тоже иногда мною посещались – там было шикарно и непонятно.

На углу Рыбникова переулка когда-то работал крошечный кинотеатр «Хроника» (до того – «Гранд-Электро», «Фантомас», «Искра»); но одной хроникой сыт не будешь: «Мост Ватерлоо», «Леди Гамильтон», «Большой вальс» и «Серенада Солнечной долины» (детям до 16 лет вход воспрещен).

Подвыпившая билетерша мирволила именно нам – малышне военных лет года рождения, и мы даже сидели – на

приставных стульях.

Потом здесь был магазин авторучек; через переулок непонятное учреждение: межбиблиотечный коллектор.

Зато на нечетной – табакерка, расписанная под Хохлому.

Незабываемое благоухание желтого абхазского табака, который не смогли извести ни меньшевики, ни большевики (точно такая же – на углу Последнего переулка и Сретенки).

Великолепные, 5 руб. 50 копеек папиросы (про такие говорили: «метр курим, два – бросаем») в коробках твердого, как жесть, картона: «Московские», «Палехский баян» «Посольские», «Гвардейские» «Герцеговина Флор» (сам Сталин курил, ломал и набивал трубку табаком балканской мешки).

Я пристрастился к ним после армии, затягиваться надо было носом, чтобы прочувствовать благородное благовоние.

Потом они стали исчезать, марка за маркой, дольше других продержались «Герцеговина Флор» и «Фестивальные», самой скучной мешки. Самыми сложными по вкусу и аромату были «Дюбек» и «Московские». От них фабрика «Дукат» отказалась в первую очередь – так в первую очередь всегда погибает всё самое изысканное.

Самые популярные папиросы: «Казбек» по два с полтиной, «Беломорканал» (2 руб. 20 коп.), «Север» (1 руб. 40 коп., с 1945 года – «Норд», с 1948, в результате борьбы с низкопоклонством перед Западом – «Север»); брали также «Любительские» и «Волну».

Такая же судьба, как папиросы «Норд», постигла знаменитое кафе «Норд» на Невском проспекте; французские булочки стали городскими, сыр «Камамбер» превратился в «Русский камамбер».

Более всего пострадала кулинария: пропали из обихода круассаны, профитроли, консоме, прованское масло, яйца пашот и многое другое, как несоответствующие эпохе, исчезли как названия, так и сущности.

Но английские замки и английские булавки таковыми и остались.

Курильщиком сигарет было значительно меньше, чем приверженцев папирос. Сигареты, в отличие от круглых папирос, были еще и овальными.

Дорогие сигареты – «Тройка», «Москва», «Друг» (с собачкой на этикетке) мало кто покупал, как и «Ментоловые». Ходовыми были «Дукат» (короткие, под мундштук, обычной длины и в маленьких пачках по десять штук по 70 копеек), «Прима», «Астра» (1 руб. 40 коп.), «Памир» – очень крепкие и вонючие, прозванные в народе «горный воздух» – по рублю.

Сигареты с фильтром – «Краснопресненские» и «Автозаводские» появятся во второй половине пятидесятых и станут модными среди молодёжи.

Табак, в отличие от других товаров, делился не просто на сорта: высший, первый, второй, а внутри высшего сорта на три класса (потом – номера), а первый и второй сорт – на

группы «А» и «Б»

«Герцеговина Флор», «Московские», «Анилин» (в честь знаменитого жеребца, на котором жокей Николай Насибов единственный в мире выиграл три Приза Европы) – папиросы высшего сорта первого класса (№ 1), «Дюбек», «Северная Пальмира» со стрелкой Васильевского острова и ростральными колоннами на этикетке – высшего сорта второго класса (№ 2). «Любительские» (их курил мой отец) и «Казбек» (художник Роберт Грабе еще до войны нарисовал этикетку, которая понравилась Сталину: черный силуэт всадника в бурке на фоне Эльбруса. Но Сталин приказал назвать папиросы «Казбек», и Эльбрус по воле вождя притворился Казбеком) – высшего сорта третьего класса (№ 3).

«Беломор», «Лайнер», «Шахтёрские» – первого сорта группы «А».

«Север» – очень ходовая марка первого сорта группы «Б» для мужиков попроще.

В папиросах второго сорта группы «А» «Прибой» по рубль двадцать табак был грубый и крепкий, а группы «Б» – был смешан с черешками, щепками и прочей дрянью – «Звездочка» и «Ракета» – «для шкета».

Впрочем, такая система сортности касалась только папирос, у сигарет, трубочных и курительных табаков была своя для каждого вида продукции.

Курить я начал позже, в начальной школе, но табак занимал меня чрезвычайно.

Карты игральные и карты игральные атласные; карты па-
сыанские, по размеру вдвое меньше игральных по две пол-
ных колоды в одной коробочке, русская колода – 36 карт,
футляры для карт.

Мраморные пепельницы, при виде которых почему-то
вспоминалось об умышленных убийствах и проломленных
черепках и пепельницы-ракушки, пепельницы из яшмы, пе-
пельницы хрустальные, металлические спичечницы, папи-
росницы из карельской березы, табакерки Палех и Холуй,
брелоки для ключей. Ключей у меня не было, а вот брелок
был.

Курительные трубки – благородные изящные прямые,
кривые, с головой Мефистофеля, льва, обезьяны, из корня
вереска, груши и вишни, совсем короткие носогрейки, как у
соседа дяди Феди.

«Гусарики» – шкатулки под трубки, латунные фильтры
для трубок, ершики для трубок; мундштуки костяные, де-
ревянные, из рога, из янтаря, длинные дамские с золотыми
(фальшак) колечками.

Табаки медовые «Золотое руно» и «Капитанский» (абхаз-
ский и крымский табак пропитывали соусом из меда, пато-
ки, сахара и отвара сухих груш), а то и просто «Куритель-
ный №7» и кошмарный «Дорожный», который курил сосед
Федор Яковлевич, табаки папиросные и сигаретные: «Лю-
бительский», «Ароматный», «Дюбек» (от которого сам черт
убег).

Махорка-крупка курительная моршанская – «Крепкая», «Средняя» и «Легкая» (не верьте!) – 45 копеек за пачку из невообразимой грязно-желто-серой плотной бумаги, «Вергун» высшего качества за 55 копеек для утонченных натур, и нежинский корешок – тот, кто курил, никогда не забудет.

Машинка для набивки гильз, коробки гильз под номерами, книжечки папиросной бумаги, спички сувенирные.

И – воплощение вещной мечты: зажигалки, сиявшие никелем, зажигалки настольные, кремни для зажигалок, бензин для зажигалок в 70 граммовых мерзавчиках, на этикетках крупными красными буквами – «Огнеопасно», с сургучной пробкой.

Табак нюхательный – «Мятный», махорка нюхательная – «Крепкая», «Любительская» и под номерами; сигары, изготовленные почему-то в городе Погар Брянской губернии – две штуки в целлофане внутри темно-синей коробочки аж 27 рублей 20 копеек (с ума сойти!).

Не могу удержаться от отступления исторического: в 1910 году в заштатный город Брянской губернии Погар немец Шепфер переводит производство сигар из соседнего Почепа.

До присоединения Левобережной Украины Погар (Радошь, Радогощь, Радогост) входил в состав Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, украинского Гетманства; в 1623 году король Сигизмунд даровал городу магдебургские вольности. Будущий поселок городского типа стал Европой, но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...

Вернула Россия своё исконное.

Про магдебургские вольности пришлось забыть.

В 1913 году немец Тобиас Рутенберг начинает переводить в Погар (мёдом, что ли, там немцам намазано?) весьма серьёзное табачное производство – «Рижскую сигарную фабрику». Россия производила в год из привозного сырья 150 миллионов сигар в год, 90% шли на экспорт под общим названием «русский табак».

Мировая война заставила Рутенберга в 1915 полностью перевести производство в Погар, ставший столицей большой русской сигары.

Во время Ялтинской конференции с фронта был отозван лучший торседор (крутильщик сигар) Погарской фабрики Иван Алексеев, дабы крутить сигары для известного любителя ручной скрутки, Уинстона Черчилля.

Согласно апокрифу, Черчилль отозвался о Погаре одобрительно: «Недурно...»

Погарские сигары курили ныне разжалованные классики советской литературы – Илья Эренбург и Александр Чаковский, махровые графоманы и приспособленцы.

Но 27 рублей 20 копеек! Хотя бы и за «Погар».

Куривали и мы погарские сигары.

«Порт», пять штук – 5 рублей 50 копеек. Забористая, скажу я вам, вещь. Позволить себе курить «Порт» мог только человек состоятельный и богатырского здоровья. А то это могло кончиться, как поведал мне один старый куряка, вывихом

челюсти в припадке необоримого кашля.

Недаром работникам Погарской фабрики, единственным в Советском Союзе делали бесплатный маникюр. Шутка ли – в Европе вручную крутят сигары только в Испании и в Погаре.

Портсигары серебряные дорогие и дешёвые – нержавеющей стали с рельефными тремя богатырями, русалками, московскими и питерскими видами, с крейсером «Аврора», с красноармейской символикой, пропеллерами и якорями; портсигары из березового капа немыслимой красоты и изящества.

Кисеты, расшитые бисером, элегантные подставки под трубки – слабеет, расточается моя память, что-то еще помню, но, наверное, больше забыл.

Разумеется, я не буду так подробно описывать ассортимент всех сретенских магазинов, но придется потерпеть.

В писчебумажном, что на той же стороне улицы, наискосок от филипповской булочной по соседству с крохотной одноэтажной пристройкой «Фотостудия» с его единственным хромым фотохудожником, меня почему-то волновала всякая дребедень: палочки сургуча (купил-таки и к ужасу всего двора опечатал все сараи при помощи шпагата и пятака; жив остался только потому, что обыватели настолько испугались, что не решились дознаться, кто шутник).

Я понял силу сургуча с изображением государственного

герба, но почти никогда больше этим не злоупотреблял.

Или тушь, настоящая китайская (помните, с кем мы в то время были братья навек, Сталин и Мао слушали нас). На флаконе было написано, что она не мерзнет при минус каких-то градусах.

Чрезвычайно меня занимало, отчего же она не мерзнет. Впрочем, с тушью вышла совсем скверная история.

Стоила она дорого (в моих масштабах) и добрался я до нее, только будучи учеником 3 класса, но проверил: таки не мерзнет.

Перекидные календари, настольные никелированные календари, в которые надо было вставлять нарезанные листочки, готовальни (смерть моя). Перья – десятки номеров, в первом классе на уроках чистописания рекомендовалось пользоваться пером №86.

Умолкаю.

Хотя не могу обойти молчанием дыроколы – видимо, побочное детище танкостроителей, «шило делосшивательное» – один из весьма распространенных характерных инструментов эпохи, пресс переплетный.

А имперский письменный мраморный прибор с пограничником на лошади! С пресс-папье, с четырёхгранным мраморным стаканом для ручек и карандашей. Стоит у меня сейчас на компьютерном столе, мой внук Миша одобрительно сказал про эту выразительную композицию: «Настоящая сталинская чернильница...»

Вызывали неподдельный интерес наборы карандашей цветных «Искусство», карандаши «Живопись», карандаши и наборы «Конструктор», карандаши «Школьные» (хуже некуда) и сверхдефицитный чешский «Koh-i-noor».

Карандаши – одна из моих многочисленных платонических слабостей.

Мал золотник – да дорог, незамысловатая казалось бы вещь, а замечательная.

Московские фабрики «Сакко и Ванцетти» и «Имени Красина» делали очень плохие карандаши – и цветные и «простые». Всё в них было плохо: древесина, грифель, надпечатка. Из кедра – тарная дощечка, а карандаши – из осины и сосны, твердый грифель рвал бумагу, цвета были блёклые, невыразительные.

Единственным высококачественным изделием фабрики имени двух американских анархистов был, бесспорно, чернильный карандаш. Номер, написанный в очереди на ладони, с трудом поддавался даже пемзе. А этот номер мог вызвать множество щекотливых вопросов моей бдительной мамы.

Но тлетворное влияние Запада уже коснулось наших суровых душ: среди трофейного барахла попадались и «Faber-Castell»; жестяные коробочки «Alligator» – набор по 36 и 48 цветных карандашей.

Кто хоть раз взял их в руки, тот пропал навсегда.

До сих пор не способен удержаться – и могу украсть по-

правившийся мне карандаш.

В доме №9 по Сретенке уживалось три (!) книжных магазина, а на углу Сретенки и Колокольниковова помещался детский сад, в который мама отвела нас с сестрой осенью 50-го года.

Когда детский сад перевели в другое помещение, на углу Сретенки и Колокольниковова открылось ателье по пошиву верхнего платья; нынче в тех же залах расположилось гораздо более полезное и нужное населению учреждение – коммерческий банк «Ренессанс», известный своим хамским отношением к клиентам.

Букинистический магазин вызывал у меня уважение возрастом выложенных в витринах книг (встречалось начало XVIII века).

Там я позже купил своего первого Маркса.

Не Мардохея (Карла), а замечательного русского издателя Адольфа Федоровича Маркса, ухитрившегося в малограмотной России издавать иллюстрированный журнал «Нива» тиражом в двести пятьдесят тысяч экземпляров. А к нему, в качестве бесплатного приложения, полные собрания русских писателей – я приобрел полное собрание И. А. Гончарова в любительском переплете с корешками тисненой кожи, в очень хорошем состоянии и за смешные деньги. За Гончаровым последовали М. Ю. Лермонтов, А. Н. Майков, Ф. М. Достоевский.

Там я много позже облизывался на «Сентенции и замечания мадам Курдюковой за границей, дан ле'этранже» того самого «Ишки Мятлева», стихи которого упоминал Лермонтов – ныне малограмотные люди на телевидении дружно приписывают их И. С. Тургеневу: «Как хороши, как свежи были розы!», а те, что пограмотнее – Северянину.

Но! Пятьдесят рублей!

Здесь были скрипучие разохшиеся полы, пахло книжной пылью, затхлостью, немного плесенью, чердаком, кожей переплетов; магазин никогда не пустовал, но по утрам посетители были редки, и меня никто не отгонял от витрин хамским вопросом: «Мальчик, тебе что надо?»

Однажды старый еврей-букинист с очками, поднятыми на лоб, строго сказал уборщице: «Оставьте его. Вы что, не видите, это же наш будущий покупатель. Вы только поглядите – он просто влюбился в нашу лоцию...»

Меня почему-то влекли книги, заведомо мне не нужные – та самая лоция Каспийского моря XVIII века, огромный том в бархатном переплете с медными уголками и застежками.

Магазин жив до сих пор в доме-новоделе, но вообще от книжной торговли в Москве мало что осталось, *biblio-libelli* культура умирает, и я – вместе с ней, пришло мое время.

Тот магазин, что находился поближе к Колокольникову, был достаточно безликим, но потом стал «Спортивной книгой». В 60-е годы я приезжал сюда с записочками от Михаила Евсевича Фрумкина получать вожделенный дефицит.

Именно в этих стенах мне вручали завернутые тома, и по молчаливому согласию сторон я разворачивал их в соседнем магазине «Изопродукции», дабы не привлекать внимания желающих стать обладателями сборников Бабеля, Зощенко, Платонова, Вознесенского.

Сейчас это покажется странным, но изрядное число книг становилось жесточайшим дефицитом, и эти книги нужно было добывать окольными путями или переплачивать в 10-15 раз.

А вот «Изопродукция» – излюбленное мною торжище, здесь покупателей было всегда мало.

Торговый зал был небольшой: открытки слева, плакаты справа и против двери – касса и книги по искусству.

Справа царил сатиры смелый властелин и по совместительству – друг свободы, Борис Ефимов, родной брат между делом расстрелянного Сталиным Михаила Кольцова.

Беспощадный критик пороков буржуазного общества, как он умел припечатать поджигателей войны, изобличить предателей, ренегатов, оппортунистов, показать гнилую сущность шпионов и наемных убийц.

Не могу забыть (это сильнее меня) его шедевры: плаха, густо заляпанная кровью людей доброй воли, и около нее два отвратительных ката с засученными рукавами, в галифе – «и стружкой липкой и опасной стекали в сапоги лампасы».

Для политически неразвитых и вообще недалеких людей

имелась надпись: «Палачи Европы. Каудильо Франко и ренегат Тито».

Плакаты и портреты Сталина и других вождей стоили дешево, и меня так и подмывало притащить домой Тито или стилияг кисти Ефимова, но я не был уверен, что мама одобрит мой порыв.

Не менее чем разоблачение подлеца Тито, меня привлекала серия замечательных плакатов о необходимости неусыпной бдительности: «Не болтай!», «Бди в оба!», «Будь начеку!», «Враг подслушивает» и, наконец – «Враг не дремлет!»

Последнее утверждение рождало законный вопрос: а мы? Неужто, дремлем?

Я пытался совсем не спать, но у меня не получалось, и я ни одного врага не разоблачил.

Любимый поэт моего детства вместе с художником Абрамовым бил в десятку и все в рифму.

А вот такое лирическое стихотворение с рисунками Спасской башни и ели:

*Новый год. Над мирным краем
Бьют часы двенадцать раз.
Новый год в Кремле встречая,
Сталин думает о нас.*

.....

*За Уралом, на Байкале
Ты больной лежишь в избе.*

*Ты не бойся – знает Сталин,
Сталин помнит о тебе.*

Получалось, что если Сталин помнит о мальчишке, который лежит где-то на Байкале, то уж обо мне-то, пребывающем в двух шагах от Лубянки, он знает наверняка. (С другой стороны был ясен и намек: ты хоть в лисью нору, хоть и за Байкалом забейся, от него все равно не спрячешься).

А рядом – призыв «держать в смиренной рубашке всех поджигателей войны!» – и вот они, голубчики, повязаны все как один художником Абрамовым.

Популярнейший сюжет на слова А. Жарова (песня – музыка Ваню Мурадели) про врага, который посмел «сунуть рыло в наш советский огород».

Существовало, по меньшей мере, три модификации плаката: сначала рыло было косоглазым и в японской фуражке (собственно Жаров писал именно о самураях), потом это был Гитлер – отвратительная помесь свиньи и гиены, потом – поджигатель войны с козлиной бородкой дяди Сэма.

Но как за это время похорошел наш советский огород!

Рисунок создавался под явным влиянием изобилия «Кубанских казаков»: гигантские мичуринские кочаны капусты, метровые пупырчатые огурцы, тыквы, дыни, ананасы – лишь при советской власти такое может быть.

Признаюсь: перед одним шедевром я не устоял.

Судите сами: над седой равниной моря летит, явно снижа-

ясь в сторону зловещего кровавого заката, черный двухмоторный самолет без опознавательных знаков. За ним тянется густой дымный след. Лаконичная надпись «Ушел в сторону моря» говорила моему сердцу о многом. Я не выдержал и купил плакат, но хранил его в сложенном виде.

Открытка стоила 20, 25, 30 и 35 копеек; была почтовая открытка за гривенник с надписью «Открытое письмо», но на ней ничего, кроме напечатанной марки с гербом СССР не было: линейки адреса, обратного адреса, а на обороте надпись курсивом «Открытое письмо» или все та же подозрительная латиница «POSTKARTE».

Открытки располагались на нескольких витринах и стендах, занимая мое воображение чрезвычайно. Больше других мне нравились репродукции картин или «открытка художественная». Две первые купленные мной открытки – самые дорогие, по 35 копеек (здесь и до 01 января 1961 г. цены даются в сталинских деньгах 1947 года) – Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» и В. Д. Поленов «Московский дворик». Я полагаю, что это было лучшее в смысле живописи из всей коллекции магазина.

Кто и как формирует наш вкус? Бог весть...

Почему я не выбрал «Трех богатырей», brutальных мужчин, с головы до ног увешанных оружием, к которому я и тогда был, и сейчас остаюсь весьма равнодушным.

В Третьяковскую галерею я попал впервые, когда учился

в начальной школе.

Среди размытых воспоминаний: ощущение музея как храма (так, наверное, верующие, пришедшие в церковь из своих убогих лачуг, остро чувствовали великолепии службы, праздничность иконостаса, сияние свечей), и Н. Н. Ге, и М. В. Нестеров – тревожное и манящее неясное осознание другого мира.

«Явление отроку Варфоломею» до сих пор одна из моих любимейших картин – умиротворенный и пронзительный пейзаж, ставший частью моей души, и мальчик, мой сверстник, который избран и которому доверена великая тайна.

Такие большие парадные светлые залы, я был пленен ими, в них хотелось вернуться, хотелось в них жить.

И смутивший меня взъерошенный жалкий и нищий Христос в рубище на картине Ге.

Я знал, что религия – обман и опиум, а религия начиналась с Христа, и я был против Христа.

Но получалось, что тогда я с тем мужиком с бычьей шеей, залитой жирным солнечным светом (наша учительница, Мария Александровна, сказала, что это – Понтий Пилат, римский прокуратор, осудивший Христа).

Картина называлась «Что есть истина?» и была так странно написана, будто Христос знал ответ на вопрос, а Понтию Пилату это было не только неведомо, но и недоступно.

Картина заставляла, прямо-таки принуждала думать: и вот этот – Бог? И какую же истину он принес в мир?

Но решительно не к кому мне было обратиться с моими вопросами и сомнениями, и они замерли на годы, чтобы проснуться уже на переломе отрочества в юность.

В доме 19 на Сретенке располагался кинотеатр «Уран» и скупка золота, таинственная крохотная контора, входя в которую люди воровато оглядывались, а выйдя из нее – подозрительно озирались.

Однажды я спросил у отца, что это за заведение и по тому, какими многозначительными взглядами папа обменялся с бабушкой, я понял, что вопрос мой неуместен.

Вообще, я очень рано начал понимать, про что лучше не спрашивать.

Когда ночью по Колокольникову изредка проезжала машина, подпрыгивая на булыжниках, и свет фар то попадал на потолок, то уходил в сторону, родители просыпались и ждали, когда машина минует наш дом.

И я понимал, что спрашивать, чего они ждут, чего они боятся (я чувствовал это) – нельзя.

Однажды машина остановилась рядом с нами, а наутро выяснилось, что исчезли Иван Иванович Кулагин, портной, живший в татарском флигеле нашего дома, и его жена.

Иван Иванович был глубокий старик, жилистый, высокий, прямой (будто палку проглотил), с окладистой бородой и в

железных очках. Много позже я понял: скорее всего, это была военная выправка, да и речь старика выдавала человека образованного.

Он был отменно вежлив со всеми, всегда трезв, держался с достоинством.

У него была слепая жена, Софья Илларионовна, она редко выходила во двор, но иногда они куда-то надолго уходили вдвоем.

Из разговоров, не предназначенных для детских ушей я знал: на собрания баптистов.

Я догадывался, что не надо спрашивать: кто такие баптисты, но при помощи сложнейших умозаключений, перемножая и складывая обрывки фраз, я пришел к выводу: баптисты – христиане, но другие, не православные.

Однажды, в конце августа 1951 года, перед самой моей школой и своим исчезновением, Иван Иванович выставил оконные рамы, дабы подготовить их к зиме. Я был привлечен в качестве помощника, Кулагин учил меня класть замазку.

Когда Иван Иванович уносил рамы, он сказал:

– Подожди, я сейчас с тобой рассчитаюсь, – и вручил мне новенький хрустящий зеленый трешник!

Так что свой первый рубль я заработал в семь лет.

Я начал отказываться, но он строго сделал мне наставление:

– Всякий труд должен быть оплачен.

Я слышал, как баба Маня сказала маме:

– Что такого они могли сделать. Ему – 86, она – слепая...

Но спрашивать, за что забрали Кулагиных, было нельзя, я знал это твердо, хотя никто меня этому не учил.

К Кулагиным часто приходили пожилые, скромно, но опрятно одетые люди, чтобы помочь Софье Ильиничне по хозяйству. Их называли «братья» и «сестры», хотя они явно не были родственниками.

Жили Кулагины в узкой комнатке-пенале в одно окно, спали в двухъярусном шкафу на полках и запирались дверцами, в которых были просверлены дырки, чтобы не упасть со своих одров и не задохнуться. У них был отдельный вход с проулка между двух флигелей нашего четырнадцатого дома, но кухонный стол стоял на общей кухне, и там «сестры» по очереди что-то стряпали.

За какие, осмелюсь узнать, грехи, Господи, ты вверг их в узилище на верную смерть?

Годы спустя я узнал много интересного и поучительного о сложных и драматических отношениях бабы Мани и скупки золота под названием «Торгсин», а о судьбе несчастных Кулагиных поведать было некому.

«Уран», по соседству со скупкой, был одним из первых синематографов в Москве (открыт в 1914 году).

Он был небольшой, уютный: на первом этаже помещалась эстрада, буфет, в углу фойе сидел человек времен русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и исключительно ловко вырезал

из плотной черной бумаги силуэты всех желающих заплатит за это чудо один рубль.

Силуэты он наклеивал на изящные картонки с виньетками (где только он их брал, в магазине таких не было).

Клиенты садились перед ним на стул, он, не отрываясь, смотрел на натуру, а рука его сама вырезала нечто весьма схожее с оригиналом.

Он мог изобразить даже косу с бантом и завитками волос – такой виртуоз.

«Уран» начался для меня с утренников – билет стоил полтинник, а потом – рубль.

Перед утренниками выступали фокусники, жонглеры, или же человек со следами явного пристрастия к горячительным напиткам на лице, который с непостижимой скоростью разбирал и собирал большие китайские головоломки из толстого никелированного прута.

Детский хор пел «Марш нахимовцев»:

*Солнышко светит ясное!
Здравствуй страна прекрасная
.....
Вперед мы идем,
И с пути не свернем,
Потому что мы Сталина имя
В сердцах своих несем!*

Это было бесспорно и жизнеутверждающе, чего мне все-

гда не хватало.

И песню про чибиса здорово исполняли, и «трусы и рубашка лежат на песке, упрямец плывет по опасной реке», – чувствуете руку мастера?

«Багдадский вор» и весь трофейный Дисней, «Тимур и его команда», довоенные фильмы-сказки, но что могло сравниться с «Чапаевым» и «Подвигом разведчика».

Атака каппелевцев – до сих пор стынет кровь:

– *Красиво идут!*

– *Интеллигенция...*

Великий фильм великой эпохи.

– Вы болван, Штюбинг! – интонация Кадочникова давалась без труда после сорока просмотров.

«Смелые люди» с бесподобным Сергеем Гурзо и его верным Буяном, серым красавцем в яблоках, откликавшимся на крик выкормившей коня ослицы.

«И-а», «И-а» раздавалось в морозной темноте опустевших переулков, пугая редких прохожих, привыкших к тишине.

Странная, особенная, ни на что не похожая тишина стояла в наших переулках осенними и зимними вечерами 1952 года, сливаясь с жидким рассеянным светом.

Гремучая смесь, беременная неслыханными переменами.

И кажется, не время года,

А гибель и конец времен.

Не было актера популярнее Гурзо. Все, от старика до ребенка желали с ним выпить – он был обречен...

Одну Сталинскую премию он отдал своей матери, другую, до копейки – детскому дому.

Гурзо и Деточкин – и всё.

Запоздалая эпитафия моей детской любви.

Позже пришли незабвенный Сигизмунд Колосовский и невероятный албанский герой Сканденберг и, конечно, дитя джунглей Тарзан и его верная Чита.

«Падение Берлина» – богоподобный Сталин, жалкий Гитлер, овчарка Блонди, которую было жалко до слез, в отличие от берлинцев, по приказу Гитлера затопленных в метро – поделом; артист Андреев от народа, яд в торте – интересно, какой? Цианистый калий в соединении с сахаром изменяет свой химический состав и становится безвредным.

Взрослые сеансы стоили дорого – три рубля, а то и за пределами пять.

Это уже на протырку – пристроиться между взрослыми и миновать контроль.

У меня обнаружили опасные склонности к мошенничеству на доверии: я подходил к какой-нибудь почтенной супружеской паре и объяснял им свою драматическую ситуацию – моя старшая, ужасно рассеянная сестра уже в фойе, и она забыла оставить мне ключи от дома.

Это была схема – я очень быстро понял, что нужно не на-

громождать жалостливую ложь одну на другую, а брать правдивыми деталями, до которых я уже тогда был охотник.

Перед взрослыми сеансами эстрадная программа была другой – музыка, вокал, оригинальные танцы, мастера разговорного жанра, подражатели Мироновой и Менакера, Рины Зеленой и, конечно, политическая сатира.

Обязательная песня про несостоявшееся свидание:

*Тебя просил я быть на свиданье,
Мечтал о встрече, как всегда.
Ты улыбнулась, слегка смутившись,
Сказала: "Да, да, да, да, да!"
С утра побрился и галстук новый,
С горошком синим я надел.
Купил три астры, в четыре ровно,
Я на свиданье прилетел.
– Я ходил! – И я ходила!
– Я вас ждал! – И я ждала!
– Я был зол! – И я сердилась!
– Я ушел! – И я ушла!
Мы были оба. – Я у аптеки!
– А я в кино искала вас!
– Так, значит, завтра на том же месте,
На том же месте, в тот же час!*

Я боялся, что «Уран» рухнет под напором зрителей: Радж Капур, «Бродяга».

Не верьте никому, что какой-нибудь другой фильм имел

такой ураганный успех в Москве, даже «Разные судьбы».

Вся шпана, все прибалтненские, все, кто мечтал стать шпаной, приняли этот фильм, как повесть о своей судьбе.

«Бродяга» – ожившая на экране русская воровская легенда.

Юноша, ставший вором по стечению крайне неблагоприятных обстоятельств, любовь, дочь прокурора, любящая и любимая мать – слезливая блажь русского урки, всегда готового отнять у родительницы последние копейки на пропой.

Мы смотрели кино и в «Форуме» на Садовой-Сухаревской улице, в «Экспрессе», в доме № 25 в конце Цветного бульвара, рядом с угловым магазином «Овощи-фрукты»; но «Уран» был любимым, родным и домашним.

«Уран» закрыли в конце 60-х годов, в нем разместилось бюро ритуальных услуг ЦК КПСС и мастерская похоронных плит.

В последний день 1997 года осатаневшие от жадности варвары убили кинотеатр моего детства ради великого театрального проекта, который закончился очередным пшиком.

Как сносят всю старую Москву под предлогом ветхости и малоценности строений, помехам транспорту и реконструкции – земля-то золотая, а тут двухэтажное старье.

Но, снявши голову, по волосам не плачут – современная молодежь не знает и не любит Москву.

Следующий за «Ураном» – Большой Сухаревский переулок.

Здесь при Петре I стоял стрелецкий полк полковника Сухарева, единственный стрелецкий полк, который ушел вслед за царём в Троице-Сергеевскую лавру, когда Петр в одной ночной рубашке ускакал в монастырь от сестрицы Софьи в августе 1689 года.

Сухаревская башня колдуна Брюса, сподвижника Петра, знаменитый на всю страну блошиный рынок. И просто торговый район на Сухаревке, описанный у В. А. Гиляровского, М. И. Пыляева, Н. М. Ежова, П. В. Сытина и других историков и знатоков Москвы; образное выражение «духовная Сухаревка» – символ духовной нищеты, принципа «всё на продажу!» – это отсюда.

На одном углу Большого Сухаревского и Сретенки – магазин «Тюль», известный всей Москве, на другом магазин «Ткани» (бывший Мишина).

Вы спросите, что общего может быть у мальчика с двумя ножиками, фонарем и рогаткой с тканями и, в частности, с тюлем?

Всю жизнь относившийся к одежде исключительно как к тому, чем прикрывают срам, носивший ковбойку, кепку и шаровары из «чертовой» кожи, мальчик в магазине «Тюль»?

В первый класс, впрочем, я пошел в черной суконной гимнастерке, Бог весть из чего перешитой мне бабой Маней. Мне она казалось щегольской, некоторые считали ее

несколько кургузой – это были завистники; мальчик, одетый по понятиям московских уличных пацанов, ловил краем уха неизвестные ему слова и любил узнавать их смысл, за которым стояла какая-то новая грань мира.

Под поверхность каждого слова шевелится бездонная мгла...

Шевиот, бостон, коверкот, креп-жоржет, креп-сатин, фай, крепдешин.

Слова, которые невозможно разъединить: веселенький ситчик, хорошенький тюль, натуральный шелк (китайский шелк), нарядный креп-жоржет.

Из взрослых разговоров я усвоил, что человек в драповом пальто и человек в бобрике – два разных человека, а человек в ратиновом пальто – это существо высшего порядка.

Ах, шотландский ратин, темно-серый, рытый, в косой рубчик – была у меня с ним забавная история в зрелые годы.

Этикет относительно обмены (событие!): «Как вам идет! Вы просто помолодели! А как с этой юбкой хорошо! И с фильдеперсовыми чулочками!»

Капроновые чулки со швом появятся в середине 50-х годов.

Ткань в отрезе щупали (с начесом?), смотрели на свет и даже нюхали. Приговор, как правило, был положительным: «доброе сукнецо, чудесная байка».

Ах, байковые портянки в цветочек в Красноярске-26!

– Но какой коверкот в сталинской Москве? – скажите вы – и ошибетесь.

Ленд-лиз – это не только самолеты, паровозы и алюминий, это – суконные ткани высшего качества из самой Англии.

Именно про такую мануфактуру в гоголевской «Женитьбе» Балтазар Балтазарович Жевакин говаривал: «Суконце-то ведь аглицкое». Двадцать лет носил Жевакин мундир, перелицевал, еще десять лет носил – «до сих пор почти что новый». Это не реклама, это – сушая правда.

Отец был любимцем начальства и сослуживцев. Где бы ни работал – счастливое свойство характера. Упаси Бог, он не был подхалимом, он просто вызывал всеобщую симпатию – харизма такая.

Так вот, он был любимцем главного редактора газеты «Красная Звезда» генерала Московского.

Я помню, как ошарашена была наша квартира, когда папу, не стоявшего на ногах, дотащил до дивана какой-то сержант, а за сержантом выстукивали особым начальственным образом сапоги натурального генерал-лейтенанта, который командирским голосом приговаривал: «Ну, вот ты и дома, Левушка. Вот и хорошо».

Дядя Федя и Александр Иванович, оба пьяные, застыли навтыжку и стояли, как два истукана, когда генерала и след простыл.

Вот отсюда и коверкот (символ достатка – коверкотовый

макинтош, «Жора, поддержи мой макинтош» – предисловие к драке), отсюда и шевиот.

У этих тканей был один недостаток – цена, от 400 до 600 рублей за метр!

Поэтому, прежде чем начать шить солидный двубортный костюм, отец несколько месяцев работал, как вол. Долго обсуждался приклад – тесьма, лилового оттенка шелк на подкладку, упасы Бог – саржа, пуговицы роговые – не пластмасса же. Портной, настоящий варшавский еврей (на самом деле – из Бобруйска, где только он их находил), первая примерка, вторая примерка. И торжественный выход нового костюма, шикарного, темно-серого в едва заметную темную и красную полосу, в свет, в «Театр оперетты».

Откуда в обязательном порядке приносились две программки – спектакля и толстая «Театральная Москва», которую я, как Чичиков, прочитывал от доски до доски, включая выходные данные: подписано в печать 14.12.1951 г., тираж 15000 экземпляров; початая коробочка конфет «Грильяж».

Я долго и терпеливо подбивал родителей купить театральный бинокль – тщетно!

Интерес к тюлю возник позже – лет в десять.

Магазин «Тюль» по большей части пустовал.

Не то чтобы в нем были пустые полки, нет – немногочисленные покупатели бродили между прилавками и стендами и покупали вяло.

Но вот легкое землетрясение пробежало по окрестностям: тюль дают!

Выстраивались жестокие очереди, которые можно было сравнить с тем, что творилось вокруг касс «Урана» во время триумфа «Бродяги».

В культовом фильме 1955 года «Дело Румянцева» сугубо положительный полковник милиции сетует, что его жена четыре дня стояла за тюлем, но купить так и не смогла.

Но мне-то что с того?

Все просто, мой читатель, в очередь можно было встать, не имея ни малейшего намерения и финансовой возможности покупать тюль.

Честно отстояв 3-4 часа, у двери магазина очередь можно было продать, т.е. твой номер, написанный на ладошке, переписывали на ладонь какой-нибудь тетки, а она платила обладателю номера за эту коммерцию червонец.

Теперь самым сложным было избавиться от навязчивого внимания более взрослых парней от «Урана» – стоять в очереди им было запаadlo, а вот отнять деньги у маленького – делом чести.

Для того чтобы уйти, надо было, прижимаясь к стене, двигаться к хвосту очереди и, когда преследователь терял тебя из виду, пролезть между юбками и дать деру.

В конце Сретенки с четной стороны стоял Щербаковский¹

¹ А.С. Щербаков – первый секретарь МК ВКП(б), сменивший Хрущева перед войной и умерший в 1945 году, проходил как жертва (липовая) по «делу врачей».

универмаг (бывший магазин готового платья Миляева и Карташова), крыша которого, якобы, рухнула под тяжестью облепившей её толпы во время Всемирного фестиваля молодежи – лишь по счастливой случайности жертв не было.

Так эту историю рассказывали тогда, а сравнительно недавно эта версия была озвучена по телевидению.

Это не так – обрушилась крыша соседнего двухэтажного дома. На фестивальной фотографии виден и сам дом и его явно перегруженная зеваками кровля.

Очередь в Щербаковском универмаге за женскими наручными часами «Заря» или мужскими – «Победа» была самой дорогой – четверг! Так ведь и часы «Победа» стоили 342 рубля!

Самой дешевой была очередь за яйцами – целковый, но это были два эскимо на палочке без шоколада – были и такие по 45 копеек (эскимо, глазированное шоколадом, стоило рубль десять).

Щербаковский универмаг был снесен по указанию Хрущева единственно из-за его личной неприязни к Александру Сергеевичу, шурина и собутыльнику самого А. А. Жданова и своему преемнику на посту главы московской партийной организации. Мстительный Хрущев отменил решение ЦК об установке памятника А. С. Щербакову на Сретенском бульваре. На месте закладного камня был воздвигнут монумент Н. К. Крупской, жене В. И. Ленина, неизвестно почему ставшей главным советским педагогом и запрещавшей в этом ка-

честве изучения Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского в школе, и распорядившейся изъять их книги из библиотек.

На нечетной стороне перед церковью Троицы в Листах, было построено небольшое одноэтажное деревянное здание, крашенное неприглядной коричневой заборной краской – «Кафе-мороженое» – мое первое кафе.

Сюда нас с Лидой водил, как правило, отец.

Я объедался разноцветными шариками мороженого: белое – пломбир, бежевое – крем-брюле, было и шоколадное, и лимонное, под ситро или, если повезет – под «Крем-соду», мороженое шло особенно хорошо.

Это было то золотое время, когда я думал: стану взрослым – буду питаться мороженым, сметаной и ванильными сухарями, а под носом носить связку сушеных белых грибов.

Примечательными на Сретенке были магазин «Меха. Головных уборы» (моя шапка из меха обезьяны – плод недолгой любви СССР с Патрисом Лумумбой, сноса этой ушанке не было); «Обувной» напротив «Урана», в который приезжали издалека (зимние чешские ботинки фирмы «ЦЕБО» на крючках – писк моды).

И конечно, «Рабочая одежда» на углу Даева переулка (родины великого футболиста, незабвенного Игоря Александровича Нетто, «Гуся», капитана московского «Спартака» и сборной страны, чемпиона Европы и Олимпийских игр,

в несчастье своем – болезнь Альцгеймера, всеми забытого и брошенного, кроме брата Льва, вернувшегося с островов ГУЛАГа).

Именно в этом магазине после Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве прозвучал наш гордый ответ Чемберлену – рабочие штаны под джинсы с металлическими заклепками и кожаным лоскутом на заднице за 65 рублей.

Это были джинсы для бедных под псевдонимом «брюки рабочие»; ткань была жидковата против фирменной джинсы, как и нитки двойного шва, красные на темно-сером фоне – с претензией на щегольство, но никелированные заклепки держались, х/б неизвестной миру фабрики было прочным, а цена – бросовая!

«Вечерняя Москва» сообщала, что наши брюки для разнорабочих ничем не хуже штанов канадских лесорубов (так «Вечерка» изящно именовала джинсы), но, признаюсь, это было слишком сильное утверждение.

Вообще же магазинами одежды, обуви, мебели и посуды я по малолетству интересовался мало и любителем этих заведений так никогда и не стал.

Покупка одежды или обуви всегда была докукой: того, что хотелось (недолгий период в юности) – не было, все эти примерки, переговоры с продавцами, их прозрачные намеки на то, что есть нечто стоящее, но это «надо изыскать», деньги «сверху» – все это вызывало скуку, а иной раз и отвращение.

Новых вещей я не любил. К ним надо было привыкать, а в детстве – напряженно следить, чтобы не посадить пятно, упаси Бог, не порвать – вещи эпохи всеобщего дефицита давались нелегко, их берегли, ботинки чинили многократно, прежде чем отправить на помойку, то же относилось и к одежде. Всё должно было выслужить свой срок, а то и два.

В магазине «Рабочая одежда» я отоваривался много лет уже тогда, когда пришлось переехать на Ломоносовский проспект.

На Сретенке продовольственной выделялся «Гастроном» на нечетной стороне в конце улицы. Свежая ветчина, популярный (очень среднего качества) сыр «Советский», любительская колбаса, шоколадные конфеты – все это покупалось с полочки и по праздникам (красная икра!).

В обычные дни – колбаса «Чайная» или «Отдельная», сыр колбасный, карамель «Клубника со сливками», леденцы «Барбарис», ирис «Ледокол» (лукавое название – молочные зубы эта конфета могла легко выдрать) и, конечно, тянучка «Коровка».

На Сретенке располагалась и одна из филипповских булочных.

Иван Иванович Филиппов, знаменитый московский булочник и хлебопек оставил по себе много легенд и баек.

В одной из саяк Филиппова, посылавшихся курьерским

поездом к царскому столу, обнаружился таракан; вызванный для распекания Филиппов таракана съел, нагло назвав его изюминой. Так появился филипповский хлеб с изюмом.

В. А. Гиляровский:

Вчера угас один из типов

Москве известных и знакомых:

Иван Иванович Филиппов.

И в безутешности оставил насекомых.

На самом деле, Филиппов оставил Москве несколько великолепных булочных, каждая из которых имела собственную пекарню.

Большевики, поелику сумели, ухудшили качество филипповского хлеба – не та мука, не то масло, но уничтожить его торговлю не смогли.

Французские (городские) булки по семьдесят копеек, ситники по рублю. Знаменитые «жаворонки», булочки в виде птичек с глазком-изюминкой – дань обычаю в Благовещенье выпускать на волю птиц («на волю птичку отпускаю при светлом празднике весны» – А. С. Пушкин).

Крендели, калачи, баранки, баранки-челночки, сушки простые, с маком, с солью; сухари простые, ванильные, с маком, с сахаром – намазал маслом – вот и пирожное; ватрушки, марципаны, калорийные булочки с темной лаковой верхней корочкой с изюмом и ореховой крошкой, хала с маком – еврейский мотив.

Сайка простая и сайка с изюмом, слойки, слойки с вареньем и кремом и отдельно – слойка «тещин язык», хлеб горчичный, бородинский заварной, рижский, батон нарезной, каравай, буханка – килограммовый кирпич по рубль двадцать, хлеб серый, ржаной, из сухарей которого баба Маня делала отличный квас...

Кексы и особо кекс «Весенний» – псевдоним кулича.

Но в нашем безбожном доме куличи пекла баба Маня: дореволюционные формы, дореволюционные рецепты, волшебная бумага – и дореволюционное качество: благоухающая плоть кулича, желтая, плотная, сладкая, с пряностями – весточка из иной жизни.

Но и на кекс «Весенний» охотников находилось немало.

Эклеры с заварным и шоколадным кремом, наполеон, картошка, корзиночки с грибочками и ягодами, буше, безе, миндальное. Ореховые, полоски песочные с разноцветным кремом и ромовые бабы, пропитанные, впрочем, коньяком (до внезапной дружбы с Кубой – откуда у нас ром).

Хотя советский «Ром» изредка появлялся в фирменных магазинах «Российские вина», как и «Советское виски», но это была экзотика, которую мало кто видел, но я сподобился попробовать и то, и другое.

В филипповской булочной – всегда битком. В уголке между кассой и витриной женщины средних лет жадно и торопливо пожирали пирожные.

Я вспомнил об этих гражданочках, когда впервые увидел

«Абсент» Дега – так же тоскливо и безнадежно...

Рядом магазин «Дары леса», впоследствии переименованный, как и ему подобные, в «Дары природы».

Витрины, тесно набитые красной боровой дичью: рябчики, перепелки, тетерева-косачи, тетерки, куропатки, глухари, зайцы. Мясо оленя, лося, изюбря, кабана, медвежатина, козлятина, конина, конская колбаса, копчености, перепелиные яйца, мёд сотовый.

Родители покупали в «Дарах» только орехи кедровые россыпью и в шишках, которые вываривали в ведре, они прирастились к кедровым орехам на Урале.

Наша домашняя еда была уныла, скучна и убога. Это была классика городского зажиточного мещанства, когда мясом называли только говядину, свинина считалась признаком широты натуры, а о баранине и не слыхивали, даже шашлык некоторые предпочитают свиной, что, на мой взгляд, сродни половому извращению.

Курицу обязательно варили – и первое и второе, куриной бульон – только больному, а так его пичкали вермишелью, морковью да еще норовили пару картошек добавить – так сытнее.

Утка или гусь – только на новый год, майские и октябрьские – ну, что за скупердяйство.

Баба Маня пекла пироги, не скупясь – если положено в

начинку класть сливочное масло, так уж никакого маргарина. И мука пшеничная – высшего сорта. Пироги с капустой, с мясом, рисом и яйцом, пироги с грибами и яйцом, кулебяки, открытые пироги с вареньем и повидлом, сдобы летом в деревне в качестве свежего хлеба.

Мы жили небогато, но могли себе позволить и пироги, и мандарины – не каждый день, конечно.

Отец был (увы!), в общем-то, безразличен к еде и охотно ел и говяжий картофельный суп «на косточке», и любимую свою картошку тушеную со свиным «рагу». Из чего уж готовили это рагу по-советски? И откуда эти повара брали столько костей, хрящей и жира?

Черный перец и лавровый лист – вот и все пряности пролетариата и обывателей московских переулков.

Из детского меню на меня смертную тоску нагоняли толокно, молочные супы, рыбий жир.

В книге «О вкусной и здоровой пище» я видел столько увлекательных и вовсе недорогих блюд – зеленый горошек или консервированная кукуруза.

Но горошек – только в салат, а консервы – вредно и дорого.

Рыба: треска, судак и навага жареная – и все!

А рыбы было навалом – и дешёвой, и красной, да и мороженая осетрина стоила недорого; раки, крабы (реклама на трамваях и знаменитый слоган: «Вам давно узнать пора бы, как вкусны и нежны крабы») – всё мимо...

Селедка и рижские шпроты по праздникам, бычки в томатном соусе летом в деревне к макаронам; с трудом втиснули салат из печени трески в меню складчины.

Держались своих замшелых гастрономических пристрастий, как старожилы старопечатных книг.

Как только появились свои (неправедные) деньги (где-то в десять лет), я начал тайком расширять свой гастрономический опыт.

Зеленый горошек, конская колбаса, фисташки, утиные полотки копченые («Дары леса»), беляши и перемечи (у соседей-татар), вяленая хурма, чурчхела (Центральный рынок), чебуреки (их продавали рядом с рестораном «Узбекистан» на Неглинной) – всё, на что невозможно было склонить родителей – всё было вкуснее, чем дома.

Открытый бунт случился только в старшей школе, когда мама стала потихоньку пренебрегать обязательными обедами из трех блюд, предпочитая им пламенную профсоюзную работу и консервированный борщ из банки, и произошел в форме неумеренного потребления пикантных сыров.

Знающие люди говорят, что во Франции больше тысячи сортов сыра.

Но вот «Дорогобужского» сыра во Франции наверняка нет.

Теперь, когда мы отчасти допущены на праздник жизни, и одного «Рокфора» попробовали десятки сортов, я окончательно убедился: нет – ничего подобного «Дорогобужско-

му», а тем паче «Смоленскому» сыру французам произвести так и не удалось (а ведь были и в Дорогобуже, и в Смоленске)!

Судя по рассказу Джерома о ливерпульских сырах, нечто подобное водилось лишь в Англии в конце девятнадцатого века.

Невосполнимую утрату любители острых сырных ощущений понесли, когда сыродельню, изготавливавшую пахучие русские деликатесы, закрыли за злостное нарушение всех мыслимых санитарных правил.

Много было прекрасного в СССР, но лучше всего было смешать «Дорогобужский» сыр со «Смоленским», особенно с его почти жидкой серединкой с сильнейшим ароматом давно не стиранной портянки, разрезать ситник и создать два гранд-бутерброда.

А потом высокомерно наблюдать, как пустеет рядом с тобой пространство.

Изыдите, непосвященные!

А трепанги и кальмары целиком...

Баба Маня просила: «Юра, дай нам спокойно поесть, а потом ешь своё».

Но это я сильно забежал вперед.

Напротив фирменной булочной, между Сергиевским и Пушкарным (улица Хмелева) переулками располагался магазин «Грибы-ягоды» – жемчужина не только сретенской, но

и всей московской, а возможно, и мировой торговли, облицованный уникальной, белой во времена оны плиткой.

Среди знатоков и коренных москвичей (которых ныне в городе осталось меньше 0,3 процента) – магазин, не менее знаменитый, чем «Елисеевский», «Российские вина», «Армения» и «Грузия» на улице Горького.

У В. А. Гиляровского упомянута дореволюционная грибная лавка на Сретенке, вполне возможно, что «Грибы-ягоды» – родовое гнездо грибной торговли.

Впрочем, до войны магазин назывался стандартно: «Овощи-фрукты».

Неправда, что в советское время не умели торговать.

Директора обычных магазинов: «Грибы-ягоды» на Сретенке, «Сыры» на Ломоносовском проспекте (сразу после открытия), «Рыба» у Петровских ворот, «Молочный» на Нижней Масловке – были выдающимися мастерами своего дела, ибо торговля в советское время напоминала хождение по минному полю.

Эти маги и волшебники неведомыми способами превращали безликие «торговые точки» в оазисы свежих продуктов и великолепного выбора.

Какими непостижимыми путями добывал директор «Грибов-ягод» все то великолепие, которое он выкладывал на наклонных стеллажах своего магазинчика и выставлял в бочках, кадлушках, туесах и корзинах – неведомо, но он, без-

условно, имел своих особых поставщиков.

Василий Васильевич Розанов (некоторые им брезгают за антисемитизм, но ведь он же покаялся и, словно в насмешку, впал перед смертью в юдофильство) писал: «Много есть прекрасного в России. Но лучше всего в Чистый понедельник забирать соленья у Зайцева (угол Садовой и Невского).

Рыжики, грузди, брусника моченая...»

Так вот, в Москве пятидесятых, если вам приспичило закусывать водку исключительно солеными рыжиками – милости просим в «Грибы-ягоды» – и только сюда!

«Белые грузди гордости русской», – Марина Цветаева.

Белые (паче снега убелюсь) грузди с дубовым листом, так, чтобы не просто хруст на зубах, а чтобы грохот оглушительный.

Тут вот некоторые решительно встают против грибов маринованных в пользу соленых. Дескать, маринованный гриб убит уксусом...

Величайшее в истории заблуждение!

Эта злейшая ересь родилась от тех, кто не пробовал бочковых маслят от поставщика магазина «Грибы-ягоды» на Сретенке!

Уж на что соленый огурец – король водочной закуски, но маринованный масленок может составить ему конкуренцию – он так освежает рот нежнейшим маринадом и самой мас-

лянистой упругостью шляпки среднего размера, что после первой стопки сразу хочется выпить вторую, единственно, чтобы вновь отведать волшебное действие масленка.

Я однажды выпил таким манером две дюжины стопок «Любительской» за полчаса – и ни в одном глазу.

Мне был близко знаком один виртуоз, у которого маслята возбужденно попискивали, втискиваясь в глотку. Для этого нужно: средних размеров плотная шляпка маринованного масленка из «Грибов и ягод» и совершенное владение глоткой, что достигается единственно путем многократных повторений.

А отменная капуста провансаль! Якобы французское изобретение... Бред!

Поверь, читатель, сейчас, когда я это пишу, при слове «провансаль» я издал непроизвольный протяжный стон, что-то наподобие подвывания.

Много есть провансале́й разных, знаем, плавали...

Но тот, от «Грибов и ягод»! Единственный и неповторимый. Всех времен и народов...

Я, тайком от мамы, выпивал весь рассол.

Отборный кочан, порубленный ни мелко, ни крупно – а тютелька в тютельку, с клюквой, виноградом, черносливом...

А капуста замаринованная целым кочаном.

А россыпи ранней клюквы, мерцающей белыми бочками; черника, голубика, костяника, ежевика в туесах; бочки с мо-

ченными яблоками, морошкой, брусникой.

Вяленая малина, вишня и шиповник.

Снизки сушеных белых отборных и черных, совсем дешевых грибов; хорош грибной суп с домашней лапшой и со сметаной!

Чернослив, урюк, курага, финики, финики шоколадные, финики золотые, кизил, инжир; компот с одуряюще пахнущими сушеными грушами, вялеными яблоками и сушеной вишней, когда его варили, компотом пахло аж в соседнем дворе.

Изюмы белые – кишмиш (сабза), красные, изюмы черные, темно-синяя коринка, «хвостатый».

Добавить к сумеркам коринки,

Облить вином – вот и кутья.

«Грибки с чабрецом, с гвоздикой, с волошскими орехами, со смородиным листом и мушкатным орехом», – впрочем, это уже Гоголь.

Любой каприз, любой изыск за смехотворную цену!

Как можно было все это изобилие (а я ведь ни слова не сказал о нескольких сортах квашеной капусты разной шинковки, о соленых огурцах всех размеров и маринованных корнишонах, и о многом, многом другом – о перцах, дынях, арбузах, о дымчатом винограде «Дамские пальчики!») поместить в маленьком магазине с одним торговым залом?

Скорее всего, директор владел тайной пятого измерения, а поставщиком несравненных солений у него был Аполлон Аркадьевич Семплияров, тот самый, которого кознями липового регента Коровьева изгнали из Акустической комиссии и перебросили, читатель это должен помнить, именно на заготовку грибов.

Уже школьниками мы подъедались в «Грибах-ягодах», подражаясь на разгрузку болгарского винограда, помидоров, перцев.

Полный ящик винограда или помидор мы загоняли в штабеля пустой тары, а потом не знали, что делать с нашей добычей. Съесть ящик помидоров мы были решительно не в состоянии, а принести домой и объяснить, что с нами помидорами расплатились за разгрузку, было непосильной задачей даже для такого талантливого враля, каким был я.

Вечная память тебе, магазин «Грибы-ягоды».

Баба Маня не захотела выходить на пенсию в 1949 году, когда подошел её срок, но в 1951, как только я пошел в школу, родители уговорили её присматривать за мной и забирать Лиду из детского сада, из которого баба Маня её скоро вообще перевела на домашнее содержание.

Два раза в месяц, в аванс и получку, а потом – в день выдачи пенсии, баба Маня брала нас с Лидой в чайный магазин.

Тот, знаменитый на всю Москву, что напротив упраздненного ныне ворами из почтового ведомства Главпочтам-

та (говорят, отбили и будут восстанавливать) с его чудесным операционным залом, где производилось таинство «гашения первого дня» – филателисты меня поймут, но и их почти не осталось.

Бабушка называла этот магазин «Чаеуправление», так как в двадцатые годы здесь помещалось Управление чайной торговли треста «Главчай».

На самом деле дом и роскошный магазин построил в 1893 году архитектор Р. И. Клейн для главы четвертого поколения славного купеческого рода – Сергея Васильевича Перлова, прадед которого, Алексей Михайлович, приняв таинственную фамилию Перлов, приучил сначала московское просто-народье, известных водохлёбов, а потом и всю Россию пить чай.

Он первым рискнул торговать чаем в розницу, цибиками по 1/4 и 1/8 фунта – большой куль чая, обшитый рогожей, был по цене неподъемен для городских низов и деревни.

И уже через два поколения и крестьяне, и мещане свято верили в то, что русские пили чай с сахаром испокон века («Чай и сахара» – московская присказка к началу чаепития»).

Из Москвы пошла по всей Руси знаменитая купеческая «пара чая» за семишник – кто же с одной чашки напьется.

В 1896 году архитектор К. К. Гиппиус к приезду гостей из Поднебесной, придал дому китайскую физиономию.

Баба Маня была записная чаевница и была счастлива, ко-

гда после 1949 года (победа коммунистов во главе с Мао) в продаже появились лучшие сорта черных китайских чаев.

Самих китайцев, к слову, баба Маня не жаловала, впрочем, как и все остальные народы, а, паче всего, русских.

В этом отношении я – в неё, разве что русским сострадаю по причине их судьбы, хромой на обе ноги.

Чай баба Маня признавала только китайский высшего сорта по 5 рублей 80 копеек за цибик, тогда как мы пили второй сорт за 3 рубля 80 копеек – цена имела значение.

Баба Маня и меня приучила к отменному китайскому чаю.

Черно-синий китайский орнамент, таинственные знаки иероглифов, толстая фольга – марка «Великая стена», с едва ощутимым привкусом чернослива...

Я стал заядлым чаёвником и так страдал из-за того, что пришлось привыкать к более грубым индийским и цейлонским сортам, когда великая дружба кончилась, и лысый черт (Н. С. Хрущев) расплевался с великим кормчим.

В чайном доме Перлова меня, естественно, интересовал в первую очередь плиточный и зеленый чай, которых среди нашего окружения никто никогда не покупал.

Надо ли говорить, что плиточный чай был куплен, сварен в консервной банке на костре из тарной дощечки в укромном уголке школьного двора, и я попробовал первый в жизни чифир – не понравилось.

Надышавшись ароматом «арабики» и «хараре» (помолоть

кофе при покупке можно было только в избранных магазинах), из чайного мы шли по Мясницкой и Фуркасовскому переулку в другой знаменитый магазин – «сороковой» гастрономом.

Вообще, москвичи избегали гулять по этому кварталу, принадлежавшему госбезопасности, но нам деваться было некуда – мы были местные.

Первые елки в моей жизни (с отличными подарками!) – в клубе МГБ, бесплатные утренники с кино – опять же от радужного Виктора Семеновича Абакумова, «книжкин день» с живыми Маршаком и Кассилем – всё в том же уютном зале чекистского клуба.

По сложившейся доброй традиции палачи и душегубы лелеяли наше детство.

Дом для общества «Динамо» – работников НКВД – в конструктивистском стиле был построен А. И. Фоминым и А. Я. Лангманом в 1932 году.

Только этот дом может тягаться в Москве с Домом на набережной по числу расстрелянных жильцов.

Но гастроном был популярен сверх меры.

Московские продмаги работали до 21-го часа, дежурные – до 22-х и только Елисеевский, Смоленский и 40-й гастрономы до 23 часов.

А водки, удивительное дело, сколько её не припаси – всегда не хватало...

Но мы шли в «40-й» не за водкой.

Очередь в кондитерский отдел была длиннющая и двигалась с черепашьей скоростью.

А всё потому, что почти все брали по 50 грамм «Ну-ка, отними», «Трюфелей», «Кара-Кума», «Красной шапочки», «Грильяжа», «Белочки», «Мишки», «Столичных», «Стратосферы», «Радия», «Южной ночи» и протчая, протчая, протчая...

Из дешёвых конфет себе баба Маня брала себе пат «Цветной горошек», пластовый абрикосовый или яблочный мармелад, а нам – карамель «Морские камешки» – изюм в глазури.

Бабушка охотно и вкусно рассказывала, как *«до того, как случилось несчастье»*, она, проживая в меблированных комнатах в Козицком переулке, брала у Елисеева шоколадный лом и лом печенья – дёшево, да сердито.

«Елисеев» при царе – был элитный магазин, но ведь была и элита!

Поэтому отпускать плитку шоколада «Эйнем» с надколотым уголком или треснувшее печенье «Птифур» было ниже елисеевского достоинства – это и был лом. Товар тот же, а цена в три раза ниже.

А уж лом душистой пастилы от Абрикосова стоил сущие копейки.

Брала она и колбасные, и сырные, и рыбные обрезки.

Каждый товар отпускался с походом, то есть с небольшим перевесом, но всё равно отрезать от куска приходилось, и

обрезки сбрасывались в общий ларь.

Так что среди колбасных обрезков попадалась куски и чайной, и кровяной и ливерной яичной, и карбоната, и ветчины, и окорока, и зельца, и сырокопченой, и колбасного хлеба, и баварской с тмином.

Рыбные обрезки были еще интересней, но боюсь изойти слюной насмерть.

Обрезки продавали перед самым закрытием магазина, когда чистой публики оставалось мало, да и забирала она всё больше вино и пирожные.

Бабушка покупала по полфунта каких-нибудь обрезков и лома и уже дома разглядывала – что ей досталось...

Себе баба Маня приобретала в 40-м ещё и пятилитровую жестянку самого дешёвого болгарского янтарного яблочного конфитюра.

Однажды, за «Таинственным островом» Жюль Верна, я съел целиком едва початую банку, как-то незаметно, ложка за ложкой.

Ложка, правда, была столовая, старинная, серебряная, раза в полтора больше нынешних.

Я даже не запивал. Ничего, не слиплось.

Надеюсь, всякий приверженец великого французского фантаста меня поймет – сюжет захватывает намертво – решительно некогда смотреть, сколько там конфитюра осталось.

Родителям пришлось возместить бабушке нанесенный

мною урон.

Покупка конфитюра была завершающей нотой нашего шоп-турне.

Лида говорила: «Пошли посмотреть белку».

А баба Маня вздрагивала и всегда произносила одну и ту же фразу: «Там змея!».

И я так же привычно пояснял: «Змею забрали внутрь магазина».

В витрине зоомагазина, выходящей на Кузнецкий мост, стояла большая щегольская синяя клетка с беличьим колесом.

И серая, с рыжей мордой, ушами и хвостом, хорошо откормленная векша крутила колесо без устали.

Зоомагазин был маленький, в два зала: птицы, рыбы, черепахи, кролики, зайцы, лисы, белки, морские свинки, ежи.

Клетки, аквариумы, бесчисленные принадлежности, корма, мотыль, опарыш.

Особая статья – породистые дорогие голуби.

Толпа жучков и покупателей перед входом, здесь и новички, и ценители, и признанные тертые калачи.

Я любил толкаться среди них – чего только не услышишь, чего не узнаешь про какое-нибудь конопляное семя, про щеглов и канареек...

Когда в 1954 году обучение сделали смешанным, и классе появились девочки, я начал копить деньги на змею, но не купил, потому что сам побаивался пресмыкающихся.

У нас с Лидой была одна общая мечта, но белка с клеткой стоила 250 рублей, это было на 30 рублей меньше бабушкиной месячной зарплаты и на 40 рублей больше ее будущей пенсии.

Да и поместить клетку в нашей комнате можно было одним-единственным способом – если бы кто-нибудь из членов семьи согласился постоянно держать ее на голове.

Дом и его обитатели

Наш дом был одноэтажный, деревянный, добротнo оштукатуренный и не производил впечатления обшарпанной лачуги.

Вообще, в переулках между Сретенкой и Трубной одноэтажных домов было раз – два и обчелся (пристройки не в счет).

На Трубной между Колокольниковым и Сергиевским переулком стоял одноэтажный прядильный цех какой-то артели, в Пушкарском переулке напротив клуба глухонемых помню одноэтажные склады под огромными висячими замками – а вот жилые дома...

Второй, татарский, флигель нашего четырнадцатого дома был двухэтажным, деревянным, с оштукатуренным первым этажом.

История нашего жилища достоверно мне неизвестна, я в молодые годы собрал несколько версий, но документально не известно ничего.

Дом наш в четыре окна в Колокольниковом (два – наши, когда по деликатным причинам отец спал в тёплое время года на обеденном столе, его ноги высовывались в окно, и знакомые здоровались с ним, пожав ему ступню), напротив снеженного ныне одиннадцатого дома, был явно выстроен для небольшой семьи.

И по одной из версий – был куплен моим дедом для бабы Мани, ожидавшей моего отца.

После революции бабушку уплотнили, кухню перенесли из комнаты Елены Михайловны в коридор, и когда меня из Верхней Салды перевезли в Колокольников, в доме жили четыре семьи: кроме нас – дядя Миша с тетей Аришей, дядя Федя с тетей Маней, и Елена Михайловна с Александром Ивановичем, все без детей.

Елена Михайловна, «старый медицинский работник» (она была медсестрой), приблизительная ровесница бабы Мани (1894 года рождения) была неизменным инициатором всех склок, дразг и стычек в нашем коммунальном обиталище.

Она была неутомима в поисках поводов для столкновения со всеми соседями, но особенно – с нашими родителями.

Ей, «как медичке», не нравилось, что мама и баба Маня носят наши с Лидой горшки из комнаты в уборную через кухню, но ведь другого пути не было.

Ее раздражало, что нас с Лидой моют в кухне-коридоре, в непосредственной близости от ее кухонного стола, но где воду грели – там и мыли.

Она утверждала, что баба Лида, когда она иной раз ночевала у нас, отливает у нее керосин из керогаза, что было, по существу, гнусной клеветой.

Когда в 1949 году в наш дом провели газ и установили в кухне-коридоре четырехконфорочную плиту, Елена Михайловна заявила, что их с Александром Ивановичем конфор-

кой никто не имеет права пользоваться, даже когда их нет дома.

Жильцы, а чаще других – мама, конечно же, пользовались, следствием были грандиозные скандалы.

Александр Иванович ставил на свою конфорку десятилитровую кастрюлю, а когда вода закипала, он выливал ее на улицу, отчего зимой рядом с входной дверью нарастали надолбы льда, что вызывало всеобщее неудовольствие.

А Александр Иванович пропускал пени мимо ушей и ставил кастрюлю заново.

Количество пакостей, которые соседи по коммунальной квартире могут причинить друг другу, начиная от хрестоматийного плевка в суп и заканчивая смертельным отравлением, ограничено только их фантазией, житейскими и техническими навыками.

Елена Михайловна и Александр Михайлович свои кастрюли запирали на маленькие висячие замочки, а для одной, особенно ценной посуды, Александр Иванович, весьма мастеровитый слесарь, соорудил центральный замок со скважиной для ключа в ручке крышки.

Вечными грушами раздора были две тусклые лампочки – в коридоре и уборной.

Высчитать, кто сколько должен за них платить по сложной системе коэффициентов, придуманной Еленой Михайловной, было практически невозможно.

Елена Михайловна ввела обложение «за забывчивость»,

требовала, чтобы родители платили за нас с Лидой, хотя мы, до определенного возраста уборной не пользовались.

При ничтожной цене на электроэнергию вся сумма за месяц гроша ломаного не стоила, но и отец, и мама, и Федор Яковлевич, и дядя Миша, не говоря уже о зачинщиках этой бузы, самозабвенно орали друг на друга часами.

Я теперь думаю, что это происходило по причине всеобщей изношенности нервов, скученности, подспудного ощущения ненормального устройства жизни и быта.

Через несколько дней, когда всеобщее возбуждение спадало, плата за лампочки, рассчитанная до тысячной доли копейки, «округлялась» и сдавалась сборщику, ужасные угрозы забывались в силу их неисполнимости, наступало хрупкое перемирие, и все жильцы сходились в комнате дяди Миши, где было просторнее, чем у остальных, за «петухом» и лото.

Надо заметить, что и дядя Миша, и Елена Михайловна всерьез рассматривали игру, как подспорье для семейного бюджета, хотя ставки были копеечными и выигрыш за весь вечер не превышал 10 рублей.

Елена Михайловна играла расчетливо и точно, но Александр Иванович, умственное и душевное равновесие которого было разрушено ежедневными упражнениями с замком (о чём немного позже) и неумеренным возлиянием горячительных напитков, проигрывал с избытком весь выигрыш жены.

Дядя Миша страдал из-за проигрыша ужасно, бледнел, задыхался, но держал марку и говорил что-нибудь залихват-

ское, вроде «снег пошел».

Дядя Федя путал карты, бросал их сразу по три и во время сдачи успевал выскочить в свою комнатенку и «добрать» – как он выражался.

Тётя Арина всё время посматривала на мужа – у них была система тайных знаков для передачи ценных сведений о том, что у каждого на руках; тётя Маня иной раз неохотно заменяла мужа, ушедшего «добрать» и не имевшего уже сил вернуться.

Но как оживлялась игра, когда в ней принимала участие баба Лида, какими красками она расцветала!

Баба Лида, не стесняясь в выражениях, обличала преступный сговор Миши и Ариши, козни Елены Михайловны, требовала, чтобы ей дали еще раз снять колоду, настаивала на предъявлении «мальчиков» в натуре, проверяла счёт, который всегда вел дядя Миша.

Поймав однажды Елену Михайловну на мухляже, она подозревала её всегда, Елена Михайловна отвечала ей тем же, игра становилась нервной, никогда, впрочем, не переходя в потасовку.

Мама играла сосредоточенно, а отец – легко и непринуждённо, и чаще других выигрывал, вызывая тем не только зависть, но и намеки на нечистую игру, ничем, впрочем, не обоснованные.

И так до нового скандала – воплей, угроз и хватания за грудки.

Баба Маня, узнав об очередной склоке, затеянной Еленой Михайловной, философски замечала:

– Ничего не поделаешь, она же – полька, – посеяв в моей душе семена стойкого недоверия ко всем полякам, как народу вздорному, сварливому и коварному.

Немного повзрослев, я понял, что этот подход: «все» – все женщины, все мужчины, поляки, евреи, чеченцы, интеллигенты, рабочие – не имеет никакого смысла и совершенно непродуктивен.

Только евреи, разумеется, все, как один – Богоизбранный народ, но я и в этом сомневаюсь.

Тем не менее баба Маня утверждала, что все женщины – плутовки, и вот здесь стоит задуматься...

Александр Иванович был великорусский липовый инвалид.

Он утверждал, что на учениях упал с лошади и «получил контузию всего тела».

Когда он в шлёпанцах на босу ногу и в галифе с милицейским кантом мыл в коридоре над раковиной бритую голову и могучую шею под ледяной струей воды, отфыркиваясь, как морж и пританцовывая, а потом выпивал натошак граненый стакан водки, он вряд ли выглядел как образцовый инвалид.

Не то, чтобы инвалиды не пили водку стаканами, в шалманах они только и делали, что заливали в себя беленькую,

но вот чтобы такая шея бычья или бритая башка – по полчасу под ледяной водой – сомневаюсь.

Александр Иванович слесарил: кому ключ, кому кастрюлю залудить, кому примус или велосипед починить, коньки приклепать, пилу развести, ножи поточить. Это был заработок, который почти весь пропивался.

Но истинной страстью бывшего кавалериста были замки.

Единственно то, что запирать большинству граждан было решительно нечего, не позволило Александру Ивановичу разбогатеть на оригинальных замках собственной конструкции.

Один такой он поставил на дверь своей комнаты.

Замок был врезной, черный, лоснился от смазки и напоминал маузер. Работал он, щелкая и лязгая, безотказно, имел могучие цилиндрические ригели, и вскрыть его было сложно даже изобретателю.

Соседи, заметив, что Александр Иванович, сильно подмухой, примостившись на низкой табуретке, в очередной раз выковыривает замок из гнезда, и дело идет к завершению, участливо спрашивали:

– Дверь захлопнулась?

– Да я, мудака, сам ее ..., – контуженый кавалерист не выбирал выражений.

Он извлекал замок, брал ключ, ставил замок на место – все было готово для жестокого развлечения, и кто-нибудь из жильцов между делом интересовался:

– Да как же это случилось?

– А вот так, – Александр Иванович шел в комнату, клал ключ на скатерть и объяснял:

– Ключ на столе, а я, мудака, вышел и ...! – и он для наглядности наотмашь захлопывал дверь....

Соседи веселились и злорадствовали, а огорченный эскавалерист шел в сарай лечить душевные раны хлебным вином.

Но апофеоз этого развлечения наступал тогда, когда Александр Иванович напивался до положения риз и уже не мог извлечь замок и впустить свою Медузу Горгону в комнату.

Это был последний день Помпеи.

«Содом и Гоморра», – как говорила баба Маня и прибавляла: «А ларчик просто открывался».

Дядя Миша и тетя Ариша держались везде и всюду статистами без слов.

Оба – неприметной внешности, и оба старались стать еще неприметнее и слиться с неживым фоном.

Дядя Миша – был премудрый пескарь и трепетал по большей части молча.

Его единственной темой для разговоров была погода:

– Дождь-то какой! (снег, мороз, ветер, жара).

Но, видимо, и это он считал политически опасными, сомнительными рассуждениями и предпочитал помалкивать.

На бурных коммунальных собраниях по вопросу жировок

он отделялся междометиями: «но-но!», или «ну, да», или саркастическим «ха-ха!».

Он не пил, не курил, не выражался, не выключал радио, ничего никогда не читал, кроме «Вечорки», в кино не ходил. Он любил смотреть в окно и греться на солнышке. Даже замечания он делала мне весьма неопределенные:

– Ты, Юра, тово. Смотри в оба.

Но именно он стал несостоявшейся жертвой смертоубийства в нашей квартире.

Следуя наставлению дяди Миши, я смотрел в оба и заметил, что наша печь стала потреблять заметно больше дров и угля.

Объяснение этому могло быть только одно.

В свое время дядя Миша отказался от услуг нашей голландки и перестал выдавать свою долю дров и антрацита.

То есть, он, конечно, частично пользовался нашим теплом, так как тылы нашей голландки грели стену его комнаты, и он решил, что будет отапливаться бесплатно, за наш счет.

Но дымоход, ведущий в свои каморы раскаленного воздуха, он собственноручно заложил кирпичом.

Отец сразу догадался, что премудрый пескарь как замуровал, так и размуровал пазухи, и вызвал дядю Мишу для объяснений. Тот позвал соседей в качестве третейских судей. На что он рассчитывал, не понимаю.

Дядя Миша, забравшись на стремянку, вскрыл короб,

внешняя сторона кладки была цела, но когда отец потребовал снять короб целиком, стало ясно – внутренняя часть кладки разобрана.

Отец молча ударил ногой по стремянке, дядя Миша полетел на пол и картинно раскинул руки, подобно оперному Ленскому, не подавая признаков жизни.

Тетя Ариша завыла, дядя Федя и Александр Иванович схватили отца за руки, а Елена Михайловна метнулась в свою комнату.

Пескарь, казалось, склеил жабры.

Однако нашатырный спирт Елены Михайловны вернул дядю Мишу к жизни – он просто упал, бедолага, в обморок с перепугу.

Злоумышленник покаялся, предложил отцу распить мировую: отец пил, а дядя Миша символически пригублял.

Тетя Ариша разделала селедочку, каспийский залом, обложила ее колечками лука, были на столе и маслята из «Грибов – ягод», и сало из деревни, от родни тети Ариши; и даже бутылка портвейна «Айгешат» (дамское вино) украсила стол золотой каймой затейливой этикетки.

Так что мировая прошла чин-чинарем, третейские судьи упились, аки зюзи – вылакали всё и дамским вином не погнушались; дядя Миша побожился дымоход заложить, а у себя в комнате поставить буржуйку – и всё выполнил.

Баба Маня изрекла по этому поводу: «Отойди от зла – и сотворишь благо».

Я, правда, не понял – это про стремянку или про мировую.

Самой примечательной соседской семьей были Федор Яковлевич и Мария Ивановна Киреевы.

Это были наши верные союзники во всех коммунальных стычках; мы с Лидой запросто заходили к ним в комнату и сидели в гостях, сколько хотели.

Тетя Маня была простая русская баба, сердечная, добрая; своих детей у нее не было, она несколько раз рожала, но младенцы помирали, не прожив и года (резус-фактор?).

Она любила нас с Лидой, и была для нас своим человеком.

Их комната в одно окно во двор была самой маленькой в квартире, но вмещала целый мир.

У двери – круглая стальная печка-буржуйка, изнутри выложенная огнеупорным кирпичом в один ряд и выведенная через окно во двор.

Над дверью под стеклом помещалась большая литография картины Иллариона Прянишникова – вооруженные рогатинами и вилами крестьяне ведут по зимнему полю в плен оборванных продрогших французов, 1812 год.

Я очень любил ее рассматривать во всех подробностях, мне было жаль окоченевших французов, но мы их не звали.

Справа от двери – зеркальный шкаф, в котором не много было платья, но висели на задней стенке ружья Федора Яковлевича – тульская двустволка и трофейный «Зауэр, три кольца», не стоявший на учете. Углом к шкафу – буфет, на

котором располагались две узкие стеклянные вазы с крашеным ковылем, лежали морские ракушки, фарфоровые собачки, кошки и прочая хурда-мурда. У окна – обеденный стол, к нему два стула, впрочем, сидеть можно было и на кровати, которая ногами упиралась в печку. В красном углу над столом – фотографии родственников и среднего размера цветная картинка «Парижская коммуна».

Тесно, бедно, но уютно.

Тогда были совсем иные представления об уюте, попросте нынешних: гора подушек, подзоры на кровати, круглые домотканые половики под ноги, лоскутные одеяла, «ковер» с оленями над кроватью, мраморные слоники.

Под кроватью у Киреевых жили куры: четыре несушки и петух (до морозов их держали в сарае); на шкафу – белка, по всей девятиметровой комнате – шесть кошек, заяц и собака – чистопородная лайка Тузик, истинный великомученик, даже куры норовили клонуть его в нос.

Заяц Захар был самым невыносимым существом в этой компании – истеричным, завистливым, прожорливым, склочным и драчливым. Он объедал всех – кошек, Тузика, кур. Да, да, он жрал куриное пшено и был толст как бочка.

Чуть что, он заваливался на спину, дико верещал и норовил выпустить противникам кишки своими мощными задними лапами. Белка со шкафа швыряла в него тяжелыми предметами, в том числе и бюстами немецких философов, отчего у Шопенгауэра было отколото ухо, а у Ницше – нос.

Под столом на табуретке помещался патефон с пластинками.

Неоднократно бывший фронтовой связист передерживал в своем сарае свору борзых приятеля-охотника, жившего за городом, на время его командировок. И мы все глохли от лая шести здоровенных псов, привыкших к вольному содержанию.

Федор Яковлевич, надутый от важности, эдаким Троекуровым выводил свору в переулок, это был миг его славы – все смотрели на него с опасливым любопытством. Не знаю уж, как этот шплинт (слово тёти Мани, скорее всего, от её брата-техника) управлялся со сворой, но иногда борзые волокли его по мостовой, при этом он ухитрялся сохранять выражение важности на физиономии.

– Этого не может быть! – воскликнет молодой читатель (а есть и таковые) и будет прав.

И, верно, не может быть, совершеннейшая ерунда. Но было.

Кошки жили по большей части во дворе, домой приходили только поспать и поесть, кроме любимца тети Мани, черно-белого щеголя Маняненко, он любил руки; престарелый гладкошерстный, очень крупный Котя из дома не выходил. Партизан – он утащил у голодных немцев кусок конины, в него стреляли, но он не бросил добычу, и, сколько мог, ослабил вражескую армию.

На следующий день немцы были выбиты из Горлиц.

Он понимал свою исключительность, был не просто важный, но величественный.

Когда топилась голландка, он приходил на кухонный стол Киреевых греть старые кости и очень не любил, когда мимо стола ходили и загораживали от него тепло.

Однажды Лиде купили кофту, и она пошла к тете Мане – у нас не было большого зеркала – посмотреть на себя в зеркало.

Видимо, она себе понравилась, да и все дружно хвалили обнову, и сестра повторила смотрины несколько раз.

Коте это надоело, и он цапнул ее мощной лапой, зацепил и вытащил нитки из кофты.

Лида захлебнулась от слез и гнева:

– Ты порвал кофту! Ты порвал мою новую кофту! – кричала она. Потревоженный криком кот сел и начал злобно тарашиться на сестру.

– Иди и покупай новую! Сейчас же иди, покупай новую!

Котя умер у меня на глазах, когда я принес ему свежей рыбки – выюнков из Муравки, на 24-м году жизни, в Горицах, и был похоронен с воинскими почестями (я с берданкой стоял на часах).

Летом 1954 и 55-го года мы жили у тети Мани в Горицах, недалеко от Дмитрова и в четырех километрах от села Рогачева в большом добротном доме, доставшимся Киреевым от «тяти» (отца) тети Мани, Ивана Ивановича Домнина.

Летом 1954 года Мария Ивановна подарила мне Новый завет, на титульном листе которого была надпись: «Выдано Евангелие в награду Домнину Ивану Ивановичу (сыну – Ю. Г.), окончившему курс Ведерницкой Земской школы. 1907 мая 30. Учитель С. Петров».

Я начал незамедлительно читать и застрял на родословной Христа, на первой странице Матфея.

Текст показался мне невыносимо скучным и занудным.

Я был разочарован, я ожидал чего-то необычайного и значительного.

Я вернулся к Новому завету через четыре года, усилием воли преодолел три первых главы, и вдруг от пожелтевших листков меня стало бить электрическим током.

В какой-то горячке я одолел все четыре Благовествования и тут же стал читать их снова.

И вдруг стало видно далеко во все стороны света. (Н. В. Гоголь)

Меня лихорадило, бил озноб, хотелось плакать. Я вспомнил картину Н. Н. Ге, и сразу всё сошлось и встало на свои места: что есть истина?

Умрёшь и оживёшь...

Я сидел на пне, на краю сосновой посадки, у самого болота, цветущего кувшинками.

На том самом месте, где я за месяц до того провалился в бездну Блока:

*Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак.*

Прямо передо мной была просека, ведущая к будущему международному аэропорту, земляники там была уйма; слева – смиренное кладбище. Солнце клонилось к вечеру, западный ветер приносил легкий запах смолы с просеки, любопытная пестрая сойка поглядывала на меня искоса с молодой сосны. Белые кучевые облака громоздили свои текучие замки Фата-Морганы в огромном целокупном окоеме.

Вечное небо Аустерлица опрокинулось надо мной.

Я понимал, что я, прежний, умер.

Со мной это случилось впервые, и было мучительно: грудь болезненно распирало, сердцу было тесно в клетке ребер, голова кружилась, я был на грани обморока – это были муки рождения нового меня. С тех пор

*Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!*

Но я возродился не верой, а своим природным русским языком – поэзией и прозой.

Заумные люди говорят, что родной язык предопределяет мыслительную структуру мира, и это – верно.

Русский язык – альфа и омега моего бытия, он – мое всё, я привязан к нему, как мочало к колу.

*Когда Божественный глагол
До слуха вещего коснется...*

И это во многом определило мою судьбу.

У меня, видимо, отсутствует орган веры – нечем верить. Не верится, как не спится, не сидится. И изменить это нельзя.

Но тот самый Новый завет до сих пор со мной, и если я уезжаю на несколько дней из дома, я всегда беру его с собой.

Есть книги, которые почему-то становятся живыми.

Когда их берешь в руки – от них исходит тепло, их гладишь – они отзываются, страница иной раз не хочет переверачиваться – она говорит: не спеши, прочти еще раз – ведь чудо, как хорошо.

В моей домашней библиотеке ныне пять собраний сочинений Пушкина, а живое только одно – восьмитомник издательства «Просвещение» 1896 года, подаренный мне сестрой.

Однако занесло меня.

Не прост был великорусский крестьянин Иван Иванович Домнин, самый богатый мужик в округе, первым вступивший в колхоз. А до того имевший четырех лошадей, трех коров, сепаратор, конную сеялку, конную жнейку, большой вишнёвый сад (ну, не смешно ли?), пасеку, свою (потом кооперативную) лавку в Москве.

Он был одним из тех Микул Селяниновичей, на ком держалась дореволюционная Россия, да и вся тяга земная.

Его колхозный порыв в общем потоке разорения пустил по миру семью Домниных, но спас их от Соловков или смерти подобного переселения на Северный Урал.

У Марии Ивановны был брат, Иван Иванович – младший, окончивший машиностроительный техникум и работавший инженером на секретном заводе в Дмитрове; впрочем, в семье его звали Жан Жаныч, он разошелся с сестрой из-за презрения к Федору Яковлевичу, единственному, до 1952 года, члену партии в нашей квартире.

Дядя Федя был горький пьяница, совершенно трезвым я его не помню. Похож он был чрезвычайно на известного рок-певца Гарика Сукачева, низкорослый, кривоногий, морщинистый, но совершенно без усов. Он курил невыносимо вонючий табак, играл на тальянке, часто слушал военные песни, любимой его пластинкой была: «Ах ты, ласточка-касаточка моя...», при словах «он горел на танковой броне, горел, горел, да не сгорел, да не сгорел» – он плакал.

Его рассказы о своем довоенном прошлом были путанные, сбивчивые – видимо, было, что скрывать.

На фронте он служил связистом в звании старшины, имел орден «Славы» третьей степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», нашивки за ранения – вполне достойный иконостас для унтер-офицера.

В партию он вступил в период коллективизации, выбился

в маленькие начальники, но говорил об этом неопределенно: «Да, уж... Накомиссарили мы тоды, японский бог...».

С тех пор он больше всего боялся выпасть из обоймы, зубами держался за свой маленький портфельчик маленького начальника, так как руками работать не хотел, а головой – не мог.

Как и у многих фронтовиков, самым ярким событием его жизни была война.

Те, кто действительно были на передовой, по преимуществу не любили об этом вспоминать:

Ну что с того, что я там был?

Я это все уже забыл...

И Федор Яковлевич, пока он пребывал в привычном состоянии «выпимши» или «сильно выпимши», держал язык за зубами.

Он курил трубочку-носогрейку и часами гулял по Рождественскому бульвару с любимым Тузиком.

Верным признаком того, что он основательно перебрал, была тальянка.

Федор Яковлевич усаживался наискосок от нашей двери на низенькую табуретку, если она была свободна, или приносил из комнаты один из пары венских стульев и довольно-таки мерзким голосом начинал распевать:

«Когда б имел золотые горы и реки, полные вина – всё отдал

бы за ясны взоры...» – во что я лично не верил: ну как же, отдал бы он реки, полные вина. Да ни за что!

Федор Яковлевич был очень давно и совершенно безответно влюблен в нашу бабу Маню, над чем жена его, Мария Ивановна, давно и беззлобно посмеивалась.

Услышав знакомые звуки, баба Маня безо всякого осуждения произносила: «Мужик. Ну, разве он может понимать...».

Федор Яковлевич мог музицировать и призывно звать: «Мария!» (вспомните историю Эммы – Гектора, собаки Шульца) очень долго, и единственным средством обезвредить его – было вступить с ним в беседу. Вопрос, о том, собирается ли он на лису, отвлекал его совершенно от страданий неразделенной любви.

Его рассказы о войне были настолько не похожи на все, что я о ней слышал, что не только удивляли, они пугали меня.

За ними угадывалось нечто, способное разорвать сердце. Старшина-связист был неплохой рассказчик – не терял нити повествования, повторялся нечасто, понимал значение детали.

Он очень мало говорил о себе, не приписывал себе никаких подвигов.

У него была своя тема.

Пепел Клааса стучал в его сердце.

Боль мозжила и ненависть – тяжелая, как расплавленный металл, клокотала в нем:

– В лоб, на пулеметы. Всегда одно и то же. В сорок первом, в сорок втором, в сорок пятом. В лоб на пулеметы...

К празднику, спьяну, со страха перед особым отделом, во исполнение безграмотного приказа.

Напуганные насмерть в 37-38 годах, до спинного мозга парализованные страхом, неспособные брать на себя ответственность (в сорок первом – почти все, в сорок третьем – по преимуществу) наши отцы-командиры без толку щедро проливали солдатскую кровь.

Черт бы его побрал, Федора Яковлевича, он одно свое воспоминание навсегда сделал моим: брали деревню, стоявшую на пригорке; на околице – барская еще конюшня из вековых бревен.

«Солдат у нас во взводе был, справный солдат, смекалистый, финскую воевал. А главное – местный. Дайте, говорит, мне людей, я их проведу скрытно, в тыл немцам выйдем!

Так нет! Как же! Будут оне маневрировать! В лоб на пулеметы, положили весь батальон.

Лежали, как валки на покосе.

А немцы ночью сами ушли».

Он жадно, одним махом, заливал в себя стакан водки, за-

молкал, глаза его стекленели, и маленькие злые слезки кри-во текли по морщинистым щекам.

Я просто заболел от его рассказов.

Я сам лежал там, на виду, на самом пекле, у проклятого пригорка, не смея поднять головы под кинжальным огнем беспощадных, не знающих устали МГ.

«Как же так? – страдал я. – А «Смелые люди»? А «Падение Берлина»? А диафильм «Сталинградская битва»? Зачем только я слушаю этого пьяницу?»

Смущал меня только фильм «Александр Матросов». Там как раз и было показано это «в лоб, на пулеметы».

Но через несколько месяцев все повторялось: тальянка, «Когда б имел золотые горы...», разговоры про охоту на лису. И все заканчивалось тем же: серо-зелеными валками страшного покоса, плотным огнем МГ и ощущением, что я смотрю в бездну.

Если ты долго смотришь в бездну, помни: и бездна смотрит в тебя.

В лоб. На пулеметы. В сорок первом, в сорок втором и в сорок пятом.

И нутром, и умом я понимал, что это, несомненно, она – отвратительная, неприглядная правда.

Как я её не хотел, ненавидел, отпихивал, отбрыкивался руками и ногами, старался забыть, вытеснить из сознания,

но она всегда возвращалась, она взяла странную власть надо мной.

Она была невыносима.

Смешно сказать, она и сейчас невыносима.

Относительно трезвым Федор Яковлевич бывал только перед серьезной охотой и тогда, когда начальство тягало его на ковер за очередные прегрешения.

В конце сороковых – начале пятидесятых он был освобожденным секретарем парторганизации того подразделения Москомхоза, который ведал уборщицами общественных туалетов, бригадами мойщиков памятников Ленину, Сталину, другим партийным вождям, Пушкину (существовало расписание, утвержденное Моссоветом, кого сколько раз мыть в год), теми, кто должен был возлагать живые цветы перед монументами (Ленину-Сталину и Пушкину – ежедневно), и прочей экзотикой.

Вместо того чтобы духовно окормлять свою паству животворящим и огнедышащим партийным словом, он обирал своих товарищей, пропивал деньги, собранные на подписку, торговал цветами, предназначенными для возложений и покушался даже на совсем уж святое – партийные взносы.

Иногда в нашем дворе проходили стихийные митинги туалетных работниц, и в воздухе долго плавал специфический запах.

В конце концов, его секретарский срок кончился, его по-

низили в коменданты какого-то учреждения, и во дворе теперь митинговали вахтеры и сантехники.

Он повадился рыскать по пунктам вторсырья и по домоуправлениям, приобретал за гроши все битое (стекло, унитазы, раковины) и пропивал под эти останки все целое из вверенного ему учреждения.

Попался, был разжалован в заведующего клубом работников московской кооперации, где незамедлительно пропил шикарный бархатный занавес. «Бес попутал», – объяснял он мне, набивая патроны, а я в это время вырезал пыжи из картона.

Он был заядлым охотником.

С середины августа, когда открывался охотничий сезон, он таскался по болотам за вальдшнепами и утками, когда мы жили в Горицах – брал меня с собой и давал пострелять из тулки.

Зимой он ходил на зайца и лису. Отсюда белка и заяц в его домашнем зверинце – ранил, а добить не поднялась рука.

Я заставлял себя смотреть, как он свежует зайцев или тетя Маня потрошит уток – закалял характер.

Приспособления для набивки патронов, весы, порох, жевело, дробь под номерами, гильзы металлические и картонные – все это восхищало меня. Федор Яковлевич объяснял, какой номер дроби – на какую дичь, показывал жаканы. Жаканы с насечками, серебряную пулю «на оборотня», формочки для отливки дроби и жаканов – два его больших охот-

ничьих ящика для меня были сундуками Флинта.

С войны Федор Яковлевич вернулся, как положено, с трофеями.

Полный аккордеон «Weltmeister» горел перламутром и был украшением коморки Киреевых. Но играть на нем бывший связист не смог – сложен.

Второй трофей, «Зауер – три кольца», производства 1931 года, красавец, немецкий безотказный, необыкновенно красивый в своем совершенстве механизм, напротив, был надежно спрятан.

Иметь нарезное оружие позволялось только охотникам-профессионалам, а у Федора Яковлевича был любительский охотничий билет.

Загадочного назначения ножницы, бронзовые, парадные лежали на комодe.

Хозяева ими не пользовались, и только годы спустя, в другой жизни, я узнал, что они были предназначены для того, чтобы обрезать верхушку вареного яйца, заключенного в фарфоровую, серебряную или мельхиоровую подставку. Но дядя Федя вареных яиц никогда не ел, предпочитая всем блюдам в мире яичницу на сале, по-деревенски.

Самым загадочным трофеем были два бюста белого мрамора каких-то, видимо, знатных немцев.

Только в пятом классе я смог прочитать на бюстах, что один из них изображал Ницше, а второй – Шопенгауэра.

Сам Федор Яковлевич этого не знал, как ничего не ведал и

о реакционности и безнадежном пессимизме двух немецких мракобесов, а также о запутанных кровнородственных отношениях Ницше с национал-социализмом Адольфа Гитлера.

Золингеновская опасная бритва и мейсенская фарфоровая кукла на чайник завершают этот славный список.

Дети во взрослые дразги не допускались и в расчет не брались.

Вызывающее поведение Елены Михайловны и Александра Ивановича я молча и сурово осуждал.

Но когда нечистая пара оттяпала себе часть нашего двора, поставила штакетник, стол, две скамейки, стеклянный шар для освещения и даже цветы развела, мое возмущение стало искать выход.

К этому времени пошел в школу Толя Чернышев, и я, вместе с возмужавшим другом, решил убить чету шпионов.

Мы давно следили за бывшим кавалеристом.

В его поведении было много подозрительного: он подолгу запирался в сарае – зачем? Секрет раскрылся позже – он стряпал и употреблял в сарае тюрю на водке: выливал в миску пол-литра, крошил туда черный хлеб, резал репчатый лук, добавлял столовую ложку подсолнечного масла «для запаха» и хлебал нехитрое, но бодрящее блюдо большой самодельной деревянной ложкой. В его ящиках было множество гильз от разных систем оружия – откуда? Инвалид он был липовый, значит, жил, по нашему разумению, по поддельным до-

кументам.

На Цветном бульваре Александр Иванович время от времени встречался с неприметной наружности мужичком, забирал у него небольшой сверток и расплачивался.

Что можно завернуть в такой маленький сверток?

Фотопленки с секретными документами, яд, обойму или дамский браунинг...

Решиться на убийство легко, а вот как это осуществить...

Цветник в палисаднике мы разорили, шар был расстрелян из рогатки – вот и все наши успехи.

Ко мне, по случаю, попали учебники истории для старших классов.

Из одного из них я узнал о том, как члены «Промпартии» травили передовиков производства, подсыпая толченое стекло в премиальный компот и премиальную кашу.

Они выворачивали электролампочки, отчего рабочие ломали в темноте руки-ноги, а вредители толкли лампочки в ступе и – в насыпанную поверх каши чайную ложку сахара.

Нам и ступы было не нужно, у нас был надежный пресс – трамвай «Аннушка».

В том месте, где он преодолевает крутой подъем с Трубной площади (там у маршрута «А» был круг), как раз напротив Малого Кисельного переулка, мы клали на рельсы разные предметы к неопишуемой радости вагоновожатых, пассажиров и прохожих.

Расставленные в ряд, с известным интервалом, капсули

жевелю отлично воспроизводили пулеметную очередь – бабульки вздрагивали, и – врассыпную; гвоздь становился плоским и ни к чему не пригодным, но интересно было снять с рельса теплую еще полоску металла.

Бутылочные осколки – зеленые и коричневые из-под пива и водки, кусочки бесцветного оконного стекла и прочий стеклянный бой трамвайное колесо превращало в стеклянную пудру разных, едва отличимых оттенков.

Лезвием ножа мы собирали смертоносный порошок в спичечные коробки.

Единственный человек, который иногда гонял нас, был обходчик пути со стороны Рождественского бульвара.

Когда-то на участке, идущем под гору, у «Аннушки» отказали тормоза, вернее, тормоза-то схватились, но трамвай продолжал, ускоряясь, скользить по рельсам, забитым листвою.

Раздавленные листья стали смазкой на путях, и трехвагонный состав врезался в другой, стоявший на остановке; погибли десятки людей.

С тех пор обходчик чистил рельсы осенью – от листьев, зимой – от снега и льда, весной – от всего, что приносили талые воды.

Мы с Чернышевым накопили такие запасы стеклянной пудры, что ею можно было обречь на мучительную смерть все население переулков, а заодно – и Сретенки, и Трубной, но толченое стекло было припрятано в тайниках и ждало

своего часа.

Кастрюли Елены Михайловны были заперты на замок; когда она жарила вонючую мойву, то не отлучалась из кухни, также под неусыпным контролем кипятился чайник.

Согласно плану убийства, я должен был, как бы в запале игры, выскочить из нашей комнаты, сбить с ног Елену Михайловну, а бросившийся в погоню за мной с воплем: «Стой, не уйдешь, вражина!» – Толик должен был успеть послать треску стеклом из бумажного кулька.

Роли были распределены именно таким образом, потому что я был потяжелее и мог, если не сбить с ног, то хотя бы развернуть Елену Михайловну, а Толик, ловкий, как обезьяна, должен был завершить коварный замысел.

Но, случай, Бог-изобретатель, сильно поколебал нашу уверенность, что симулянт-инвалид – еще и резидент американской разведки.

После одной из подозрительных встреч контуженный кавалерист не расстался со своим агентом, а направился вместе с ним в шалман на Трубной.

Ждать пришлось долго.

Когда Александр Иванович вышел, он уже плохо держался на ногах и крутой подъем Колокольникова переулка преодолеть не смог.

Цепляясь за водосточную трубу, он присел на тротуар, привалился к стене и совсем уже было собрался засыпать, как вдруг полез в карман и достал таинственный сверток.

Видимо, это было не то, что он искал, и он стал запихивать подмокший сверток в карман, но тот расползся у нас на глазах.

Мы подошли, чтобы взять резидента с поличным, но убедились, что в свертке были болванки английских ключей.

Да и к палисаднику мы уже привыкли и как-то обходились без восьми квадратных метров, изъятых из общего пользования.

Но новый плафон, повешенный вместо молочного шара, я все равно расстрелял из рогатки – соблазн был неодолим.

Моя бабушка по отцу, Мария Федосеевна, родилась в 1894 году.

В паспорте, по ошибке, отчество исказили: Федоровна. Ох уж эти мне ошибки в документах, из-за одной из них я мог вовсе не родиться.

Баба Маня была старшей из трех дочерей моего прадеда Федосия, столяра-краснодеревщика Второй компании Бельгийского электрического трамвая, который был пущен в Москве 26 марта 1899 года на загородной линии: Петровский парк – Бутырская (Миусская) застава.

Я писал эти строки в своей тогдашней (до декабря 2011 года) квартире в доме бывшего немецкого семейного пансионата «Альпийская роза».

Он был построен одновременно с «Электрическим трамвайным парком», подстанцией мощностью 320 киловатт,

первой в России, на углу Нижней Масловки и Новой Башиловки, в двух шагах от сохранившегося донныне депо Бельгийского трамвая, которое мэр Ю. М. Лужков обещал перестроить в Музей городского транспорта.

Я знаю, что мои предки по линии прадеда Федосия в четвертом от меня колене пришли в Москву из Калужской губернии, но кто они были, крестьяне или мещане, мне неизвестно.

Мой прадед был в своем деле – дока, об этом говорит оклад жалования – 75 рублей в месяц плюс 20 рублей на образование дочерей, если учесть праздничные к Рождеству, Пасхе и царским дням (именинам царя, царицы и цесаревича) и годовщине основания компании, набегало немногим больше сотни.

Это было вчетверо от ставки землекопа и канцелярской мелюзги, и более чем вдвое больше жалования поручика царской армии.

После его скоропостижной и безвременной смерти Бельгийский трамвай положил бабушке вполне достойную пенсию и выплачивал её до 1918 года.

Но зачем трамвайной компании столяр-краснодеревщик? А затем, что в тогдашних вагонах были зеркальные стекла в четырех с каждой стороны окнах, резные колонны из красного дерева, эбеновые вставки и такие же держатели для матовых плафонов внутреннего электрического освещения, мерная дощечка из железного дерева на задней площадке –

дети ниже её ездили бесплатно. И все это требовало ухода и ремонта.

Электрический трамвай мог развивать скорость до 25 верст (27 км) в час – неслыханное дело!

Первая остановка электрического трамвая была как раз напротив пансионата «Альпийская роза», поэтому расчетливые немцы и построили здесь, на сравнительно дешевой земле, своё семейное заведение.

От Петровского парка трамвай шел по Нижней Масловке, сворачивал на Новослободскую. А дальше – по прямой через Долгоруковскую (улицу Каляева и опять Долгоруковская) и Малую Дмитровку (улица Чехова и опять Малая Дмитровка) на Большую Дмитровку (с 1922 улица Эжена Потье, французского анархиста, автора гимна «Интернационал», с 1937 – Пушкинская, с 1993 – Большая Дмитровская), позже маршрут продлили до Сокольников.

От Бутырской заставы (нынешний Савеловский вокзал) до богатых дач Соломенной Сторожки и Петровского-Разумовского, от Калужской заставы (площадь Гагарина) до Воробьевых (Ленинских гор) – места народных гуляний на Троицу, ходил паровой трамвай. В Москве его применение было невозможно – в городе было множество деревянных домов, а из трубы локомотива летели мощные искры, что грозило пожаром.

В Петровско-Разумовском проезде у прадеда был свой

дом с мезонином в шесть комнат (две – темные) рядом с пожарной частью.

В сорок первом году немцы усиленно бомбили пожарную часть и швейную фабрику, но они уцелели, а в дом прабабушки, давно уплотненной, попала тяжелая фугаска, и от него ничего не осталось.

Нынешний наш дом объявлен аварийным, и нас выселили на Большую Академическую улицу к метро «Петровское-Разумовское», не отпускает меня судьба от родового гнезда, от родного пепелища.

Теперь из моего окна на шестнадцатом этаже – как на ладони – Большой Садовый пруд, в котором Сергей Геннадьевич Нечаев и Иван Гаврилович Прыжов с подельниками из первой и единственной «пятерки» «Народной расправы» первого ноября 1869 году утопили убитого ими в гроте неподалеку студента Лесохозяйственной академии Ивана Иванова. Убили единственно для того, чтобы «склеить кровью» зашатавшуюся революционную организацию.

Именно это жертвоприношение побудило Ф. М. Достоевского написать роман «Бесы» – беспощадный и окончательный приговор русской революции.

Но кто это помнит сегодня, кто читает роман «Бесы»?

А революционное братство нынче склеивают деньгами, оно надежнее.

Прадед мой, Федосий, был человеком богатырской силы;

он не пил, не курил, но в царские дни (он был истовый монархист), на Рождество и Пасху мог усидеть четверть («гусю»)² монопольного хлебного вина.

Он, конечно же, пошел на Ходынское поле за царскими подарками. Оказавшись в смертельной давке, он, опираясь о плечи соседей, отжался, сумел выдернуть себя из толпы и ушел по головам. Но подарки – черный платок с желтым гербом³ империи и гербами всех губерний, в который, собственно, и были завернуты царские гостинцы: фунтовая сайка, полфунта варено-копченой колбасы, вяземский печатный пряник, леденцы «Ландрин» в жестяных сундучках (в них я потом держал крючки, поплавки, грузила, колокольчики донок), кульки с орехами, прадед домой принес.

Не густо для царского-то презента!

Баба Маня помогала матери, присматривала за младшими сестрами, поэтому учиться пошла только в 12 лет.

Её определили в прогимназию, которую она благополучно закончила.

Немного вынесла баба Маня из подготовительного курса, но то, что усвоила – усвоила твердо. У нее был поставленный почерк, четкий, красивый без завитушек, писала она грамотно, придерживаясь простых конструкций и лаконичных пе-

² Четверть – 3 литра, т.е. четверть «основной» водочной меры, ведра. Казенная четвертная бутылка была с длинным горлышком и посему носила прозвище «гуся».

³ Черный, белый, золотой – цвета императорские.

риодов, так как в синтаксисе была слабее, чем в морфологии.

Она помнила наизусть короткие отрывки из Крылова, Пушкина, Некрасова и Нового завета.

Познаний исторических и естественнонаучных она не обнаруживала.

К тому времени, когда нужно было решать вопрос о дальнейшем образовании бабы Мани, умер прадед.

Прабабушка, женщина практического склада, пустила старшую дочь по швейному делу.

Как многие русские мещанки, она считала, что у человека в руках должно быть ремесло, которым всегда можно прокормиться. Ни во что умственное, кроме денежного счета, она не верила. Прабабка была бережлива и говорила мне: «Каждая вещь должна иметь свое назначение, место и счет».

Мне она подарила прадедов молоток и, навещая нас в Колокольниковом, спрашивала: «Ты, Юра, куда вбил гвоздики, что я тебе дала? В порог? Ну, бери клещи, мы их вытащим, и ты их еще куда-нибудь вобьешь...»

Её похоронили на Ваганьковском кладбище; под руководством бабы Мани я посадил в ногах могилы сиреневый куст (дерева я так за всю жизнь не посадил), который разросся необычайно.

Неподалеку протекал ручей Студенец, откуда я в галлонной жестяной банке из-под американской тушенки таскал воду для полива незабудок и сирени.

Когда пришло время хоронить бабу Маню в 1973 году,

свидетельство на ваганьковскую могилу родители не нашли, так родовое место погребения было утрачено (там лежал прадед и его родители), и бабушка упокоилась на недавно открытом Хованском погосте.

Последний раз я был на могиле прабабушки Пелагеи весной 1957 года.

Так обрубаются и забываются корни, слабеют, ветшают и расточаются кровные связи; так мы, русские, превращаемся в Иванов, родства не помнящих.

К семнадцати годам баба Маня выросла в замечательную красавицу.

Я не поклонник подобной скульптурной красоты, но, полагаю, многие со мной были бы не согласны.

Баба Маня поступила белошвейкой в пошивочный цех театра Корша; тогда для каждого спектакля шили платья и костюмы; в своих джинсах и исподнем, как сейчас, не играли.

В театре Федора Адамовича Корша, адвоката и антрепренёра, самом популярном театре Москвы (ныне «Театр Наций» Евгения Миронова), чего только не ставили – и Шекспира, Толстого и Чехова, и всяческую музыкальную пошлятину, на которую публика шла охотнее, нежели на Шекспира – театр-то был коммерческий.

Красота бабы Мани обращала на себя всеобщее внимание, но она была девушка строгих правил, и тогда ее двинули на сцену (известный метод обольщения).

Но ровным счетом никаких авансов от неё никто не получил, а артистических талантов у нее не обнаружилось, как с ней не бились, и ее стали использовать, как символ живой красоты, вроде Венеры Милосской (но с руками).

По ходу действия желательно было, чтобы она фланировала где-нибудь на втором плане, в углу гостиной под пальмой.

Она была бессловесной Еленой Прекрасной, для нее вносили изменения в спектакль, дабы она в пьесе Оскара Уайльда могла пересечь сцену в роскошном модного цвета «электрик» платье со шлейфом и под опахалом из птичьих перьев.

Но жалование статистке заметно прибавили.

Она ушла из семьи, поселилась в Козицком переулке в двух шагах от театра, который располагался в Богословском (Петровском, улица Москвина и ныне опять Петровском) переулке, и срывала цветы удовольствия, питаясь исключительно деликатесами: кондитерским ломом и изысканными обрезками; светскую жизнь ей заменял кинематограф.

Тем временем началась мировая война, но она этого не заметила.

«С этого момента, пожалуйста – подробнее», – так фигуристо выражаются следователи в сериалах.

Но как раз на этом месте в рассказах бабы Мани о своем житье-бытье наступал преднамеренный провал.

«Случилось несчастье, – смутно выражалась она, – до несчастья, после несчастья...».

Так как отец мой родился осенью 1916 года «до несча-

стья», а коммунизм ввели «после несчастья», я в какой-то ужасный миг догадался, что «несчастьем» баба Маня называет Великую Октябрьскую социалистическую революцию!

Это был удар под дых – моя родная бабушка оказалась «контрой».

Но, порассудив, я пришел к выводу: она не враг, а политически дремучая старуха, блуждающая в потемках классового невежества.

Если кто-нибудь подумает, что я успокаивал себя, чтобы с чистой совестью уплетать конфеты «Ну-ка, отними», купленные бабой Маней в сороковом гастрономе, он подумает обо мне незаслуженно плохо.

Я не предал идеалы Октября за чечевичную похлёбку.

Я искренне пожалел бабу Маню, ведь она не была ни пионеркой, ни комсомолкой, и о коммунизме у неё были самые дикие и нелепые представления: какие-то пайки, селедка, пшенная каша, отмена денег, запрет торговли. К тому же – трудовая повинность, холод, голод, какие-то заградотряды и вообще черти что: актёры, копающие канавы, без чего им почему-то не выдавали карточки на керосин.

Я терпеливо объяснял ей, что коммунизм – это не карточки, боны, литеры и пайки, а светлое будущее всего человечества. И победа коммунизма неизбежна как восход солнца.

Но она только вздыхала: «Не дай Бог».

Между делом она родила моего отца, пережила револю-

цию и начало Гражданской войны.

Но про это она никак не распространялась.

А вот про голод в Москве и про стужу из копыт дохлых лошадей она повествовала охотно.

По ее словам, она с Левочкой спасалась только тем, что меняла кольца и браслеты на хлеб и сало у московских вокзалов, а в незабываемом 1919 году она сама, в качестве мешочницы, ездила в Белоруссию.

Хроника этой поездки была смутной, с явными умолчаниями.

Судите сами: она привезла три мешка муки-крупчатки, картошку, сахар, два пуда сала, солонины и крестьянской колбасы, и всё это – одна?

За это время у нее вынесли «всю обстановку, но до главного не добрались...».

Даже у меня, еще не умудренного жизнью, но любопытного и внимательного мальчика, возникали вопросы: сколько же их было, колец и браслетов, если на них она продержалась весь безумный коммунизм Ленина, растянувшийся на два с лишним года?

Какая обстановка? Откуда? Что было «главным», до чего не смогли добраться воры?

Отец до конца дней своих был уверен, что их обнесли завистливые сестры Тоня и Люба, и еще одна двоюродная – Наталья, но не пойман – не вор.

Несмотря на все мои наивные ловушки, баба Маня в сво-

их воспоминаниях твердо держалась ею самой поставленных пределов и никогда из них не выходила.

Когда начался НЭП, бабушка встала на учет на бирже труда, и через некоторое время получила работу лоточницы Моссельпрома. Она должна была торговать на Сретенке, от Сретенских ворот до Сухаревой башни.

Папиросы «Ира» и «Нота» россыпью, папиросы «Дюшес» в коробках, расчески, мыло, одеколон, носовые платки, спички, зубной порошок, шоколадные батончики и ириски – таков был нехитрый ассортимент ее лотка. Мальчишки-беспризорники брали «на шарап» ее лоток; она обсчитывалась, то есть она платила Моссельпрому больше, чем он ей.

Здесь наступал очередной преднамеренный, просто-таки мертвый провал памяти, и баба Маня перескакивала в тридцатые годы, когда она начала работать в регистратуре родильного дома на Миусах. Где была на таком хорошем счету, что ее, беспартийную и политически безграмотную, награждали то галошами, то отрезом на юбку, то даже путевкой в Крым.

На фотографиях тридцатых годов она уже совершеннейшая римская патрицианка среди плебеев и варваров.

Вопросы крови, как известно – самые запутанные в мире. Подозревать, что среди предков бабы Мани были французские королевы или римские патриции, вроде бы нет достаточных оснований. Хотя как знать, ведь забредал Наполеон в Калужскую губернию...

На фотографиях моя прабабка Пелагея – самая обычная русская мещанка с простонародным лицом и посадкой, какие я еще встречал в детстве среди оставшихся русских крестьян и мещан, сильно прореженных большевиками.

Но уже её дочери – баба Маня и ее сестры, Тоня и Люба – женщины совсем иной породы. Люба, как и баба Маня, в молодости была очень хороша, но уже в среднем возрасте Тоня и Люба – обычные женщины московской окраины.

Если посмотреть множество фотографий начала века и даже двадцатых-тридцатых годов, то легко убедиться: преобладали лица грубые, лица людей малограмотных, не знакомых не только с высокой культурой, а и с начатками городской цивилизации.

Можно только поражаться тому, как быстро этот тип сменился бывальыми горожанами (мои родители); мы с сестрой – уже иной демографический этап бытования русского народа.

На фотографиях шестидесятых – начала семидесятых годов моя сестра Лида – красавица утонченного, изысканного типа, а я – вполне породистый интеллигент-разночинец с умным значительным лицом и длинными музыкальными пальцами, и некоторые даже подозревали, что я скрываю титулованное аристократическое происхождение.

Но баба Маня резко выделялась из своей семьи.

Ее осанка могла быть производной от ее театральных студий, но ее привычки и манеры были не мещанские, индивидуальные, без сословного отпечатка.

Она иначе вела себя: говорила, пила чай, иначе ела, ходила; держала себя с людьми очень сдержанно и с некоторым отчуждением.

От той обстановки, которую «всю вынесли», остался обеденный стол из эбенового дерева, большой, раскладной; в полностью разложенном виде он занимал всю комнату, оставляя узкие проходы по бокам, так что жизнь становилась двухэтажной – над столом и под столом.

Черное дерево при постукивании по нему молоточком прадеда позванивало, как металл.

Оно не поддавалось ни одному моему ножу и даже клинкам Александра Ивановича, позаимствованным мной для эксперимента – но и они не смогли оставить на могучих ногах стола, увитых резными виноградными лозами, ни одной зарубки.

«Чем же они все-таки этот стол смастерили?» – этот вопрос мучил меня, и я брал в руки долото, стамеску и даже зубило – но тщетно.

Может быть, у меня просто сил было мало?

Как я уже упоминал, если отец спал на столе, в тёплое время года его ноги частенько высывались в окно (стол раздвигали не полностью), и многочисленные знакомые охотно пожимали ему ступню вместо рукопожатия.

Кроме стола присутствовала козетка, настоящий павловский амбир: красное полированное дерево и зеленый, места-

ми изрядно потертый плюш.

Вся остальная мебель: платяной трёхстворчатый шкаф (мещанская классика), ещё один небольшой шкаф с полками, его мама приспособила под книжный; небольшая изящная ореховая этажерка (её со временем отдали мне для учебников, тетрадей и прочего имущества) – всё это носило случайный, сборный характер.

Всё жизненное пространство комнаты было съедено мебелью, но, безусловно – ничего лишнего у нас не было.

Однажды я упросил родителей первый раз в жизни оставить меня ночевать у бабушкиных сестер на улице Мишина (бывшая, до 1922 года, Михайловская). Но когда Тоня стала меня укладывать, страшная мысль отравленной иглой пронзила мое существо.

Дело в том, что я – единственный из семейства, был обладателем кровати.

Баба Маня спала на продавленном диване времен НЭПа, родители – на полу под столом, а Лида – на козетке, сначала вдоль, а потом – поперек, а к козетке спереди и сзади привязывали венские стулья.

Я живо представил, что сестру уложат на мою кровать, добротную, самодельную, сделанную на вырост и привезенную из Салды, ей моя кровать понравится, и родители скажут: «Ты должен уступить. Она же девочка, к тому же она младше тебя».

А меня отправят спать на стол, больше некуда.

Тоня сочла мои опасения основательными и повезла меня домой, несмотря на поздний час.

Я оказался прав, Лида уже сопела в моей кровати. Мое горе было так велико и неподдельно, что ее переложили на козетку.

К остаткам обстановки можно отнести серебряные ложки и сервиз тонкого настоящего (остерегайтесь подделок, а их было пруд пруди) китайского фарфора, покрытого замечательными сценами из китайского быта – на чайнике, сахарнице, молочнике и чайнице в виде пагоды. На чашках, блюдах и розетках для варенья были изображены пейзажи: реки с обрывистыми берегами, водопады, горы, рисовые чеки – классический стиль «горы и воды». К сервизу прилагалась бронзовая полоскательница, в которую бабушка вытряхивала спитой чай, чтобы не выносить заварочный чайник в уборную, не осквернять его, так же как в баню, уборную и чулан не вносили икон.

Однажды я обнаружил, что два изразца на полке нашей голландки – шевеленые и не сразу, но догадался, как их вынимать и ставить на место.

Я нашел там довольно большой тайник, но пользоваться им было неудобно – я редко оставался дома один.

Как-то раз баба Маня застала меня с изразцами в руках и сказала, как бы про себя:

– А они просто простучали печь и всё забрали.

На мои необдуманные вопросы она ответила:

– Что было, то прошло.

И только когда мне минуло пятнадцать лет, как-то раз на даче, в поселке «Литературной газеты» в Шереметевке («ь» знак не должен употребляться ни в фамилии Шереметевых, ни в названиях, производных от неё), мы с бабой Маней чаевничали, и она нашла возможным объяснить.

Оказывается, дед, отец моего отца, Александр Михайлович Яковлев (он был офицер – лаконично пояснила бабушка) оставил ей перед своей смертью в декабре 1916 года (здесь не было сделано никаких пояснений) около тридцати тысяч звонкой монетой, николаевскими червонцами, сумму огромную.

Большую часть этих денег баба Маня отнесла, узнав об октябрьском перевороте, в банк П. П. Рябушинского на Ильинку.

И очень вовремя, потому что большевики банки, конечно же, национализировали.

Но толика, и немалая, хранилась в найденном мною тайнике и в выдолбленных подоконниках.

В 1931 году Сталин понял, что русская деревня и продажа музейных ценностей на Запад не могут поднять индустриализацию.

И было объявлено о создании «Всесоюзного объединения торговли с иностранцами», первоначально – «торговый син-

дикат», «торгсин».

Но широко известна только позднейшая редакция: «торговля с иностранцами».

Это было самое удачное экономическое предприятие за все годы советской власти.

Сначала торговали с моряками в портах, затем с туристами в Москве и Ленинграде, но все это была грошовая коммерция.

Затем были открыты валютные магазины для населения, что описано, в частности, у М. Булгакова в «Мастере и Маргарите».

У советских граждан не спрашивали ни о происхождении валюты, ни о том, сколько ее еще у гражданина осталось.

Деньги, настоящие деньги, на которые можно было купить тракторные и автомобильные заводы, станки у Германии, турбины Днепрогэса, потекли рекой.

Цены в «Торгсине» были собственные, значительно ниже розничных государственных цен.

Но постепенно валютный поток начал иссякать. И тогда чья-то золотая еврейская голова додумалась: надо скупать у населения «золотой лом» – золото в виде ювелирных украшений, вещей и монет любой чеканки на вес, не интересуясь происхождением сокровищ.

За грамм червонного золота 900-й пробы давали издательские 1 рубль 30 копеек (грабёж среди бела дня!), но не деньгами, а товарными ордерами (этим и объяснялась «низ-

кая» цена торгсина), но население так изголодалось, износилось и настрадалось без лекарств, что понесли последнее.

Товарные ордера «Торгсина» тут же стали предметом спекуляции: они легко уходили с рук по тут же возникшему курсу.

И полетели в ящик приёмщика и золотые зубы, и нательные крестики, и золотые двухфунтовые адвокатские портсигары с монограммами, и николаевские червонцы, и кубки работы Бенвенуто Челлини из разграбленных имений и городских особняков, и «бурбонские лилии» с камнями немеренной ценности, и вензеля фрейлин, и орденские звёзды.

Те, кто понимал, что он сдает, камушки, конечно, выковыривал, но многие случайные владельцы ювелирных раритетов и не догадывались об истинной цене сдаваемых вещей.

Постоянных «золотонош» до поры до времени не трогали, но естественно, брали на карандаш.

Вполне осознано руководство Объединения «Торгсин» (Шкляр Моисей Израилевич, Гиршфельд Артур Карлович, Левинсон Мойша Абрамович – все чекисты) создало условия для неслыханного воровства и злоупотреблений.

В приёмных пунктах царил обвес, махинации и намеренная путаница с пробами, хищение камней, подмена предметов высокой художественной ценности «ломом золота» – всего не перечислишь.

Но население принесло Сталину столько, что хватило на Уралмаши и Днепрогэсы, ЗиСы и ГАЗы, Харьковский, Ста-

линградский и Челябинский тракторные заводы и еще осталось на «паккарды» английские для Иосифа Виссарионовича и его подручных, и даже оплату малой части ленд-лиза.

Ты и убогая, ты и обильная, матушка Русь.

Что же влекло бесребреницу бабу Маню в капище Мамоны? Потребности её мало чем отличались от запросов схимницы.

Конечно же, чай!

Никому не ведомо, какие именно растения Советская власть выдавала за чай после ликвидации НЭПа и введения карточек в 1929 году.

«Разорение кулаков и насаждение колхозов означают голод», – сказал экономист Моисей Ильич Фрумкин, на что Сталин ответил пословицей: «Снявши голову, по волосам не плачут».

Значит, знал, что делал.

Грузинский чай – особая песня. И песня печальная, грузинский чай начали насаждать в конце двадцатых годов.

Про прекрасный красный чай Аджарии, поставлявшийся в Турцию и Иран, нам известно, пробовали в окрестностях Батуми, но его в Россию не поставляли, да и не пьют в России красный чай.

А в «Торгсине» был богатый выбор байховых китайских чаев, ну, как тут устоять.

Лёвочке (папе моему) в 1931 году исполнилось пятнадцать лет, мальчику нужно было одеваться, бостон и шевиот

можно было купить (как, впрочем, и банальный ситец) только в «Торгсине».

Вот и извлекала баба Маня десяток другой червонцев, каждый из которых весил аж на 11 рублей 18 копеек торгсиновских товарных чеков, на которые килограмм отборных мандаринов отдавали за 3 рубля.

А в государственном магазине после отмены карточек на печеный хлеб 7 декабря 1934 года килограмм белого тянул на рубль десять...

В Москве было около сорока магазинов «Торгсин» вместе с палатками на рынках.

Разумные люди посещали все эти торговые точки по очереди, дабы не мозолить глаза понятно кому, но баба Маня постоянно посещала «Торгсин» на Сретенке, тот, что был почти на углу Сухаревской площади, впоследствии стал упомянутым мной «Гастроном», изредка заглядывая на угол Петровки и Кузнецкого моста.

Она была весьма легкомысленная гражданка.

Уж на что Советы – суровый учитель, но и они не смогли заставить бабу Маню следить за телодвижениями власти и передовицами газеты «Правда» и делать необходимые выводы.

После того, как в январе 1935 мука, крупа и печеный хлеб стали поступать в свободную продажу (в Москве и Ленинграде), 25 сентября того же года в свободное плавание были

отпущены мясо, жиры, рыба и картофель.

Первого января 1936 года отменили карточки на промышленные товары, и система «Торгсина» потеряла смысл.

Золото надо было закапывать поглубже, но баба Маня этого не поняла.

Первого февраля 1936 года ВО «Торгсин» было упразднено, и в тот же день к бабе Мане пришли в гости синие фуражки.

Первым делом сотрудники НКВД простучали печь и проявили неслыханную гуманность – не стали её разбивать ломами, а нашли шевеленные изразцы. Из горячей печи изразцы вынуть было нельзя, но по счастью печь была нетопленной. Синие фуражки играючи нашли все остальные тайники бабы Мани, но в них уже ничего не было – золото переключало в «Торгсин».

Подобные обыски прошли в начале февраля у всех золотонош, кого в своё время взяли на карандаш, но почти никого не арестовали.

И баба Маня отделалась испугом.

Осенью 1941 года баба Маня не поддавалась панике 16 октября и осталась в Москве.

Уже в конце жизни она на мой вопрос твердо и кратко, по своему обыкновению, ответила: «Я знала, что немцы в Москву не войдут».

Меня в детстве удивляло, что баба Маня никогда не участвовала ни в каких коммунальных склоках, вообще ни с кем не ссорилась, умела провести между собой и окружающими некую невидимую черту и не позволяла ее никому переступить.

Считалось, что баба Маня столовалась отдельно от нас.

На самом деле, ей ничего не нужно было, кроме чая и филипповской сдобы.

Но иногда мама настаивала, чтобы свекровь съела котлету с макаронами или тарелку супа. Баба Маня в таких случаях не жеманилась.

Каждый месяц у нее от зарплаты, а затем от пенсии в 210 рублей после похода в «Чаеуправление» и сороковой «Гастроном» оставалось что-то около сотни.

Время от времени, не очень часто, наступал очередной финансовый крах в нашем семействе.

Однажды отец, страдая поутру, долго рылся в карманах в поисках зарплаты и немалых денег за халтуру. Мать молча не сводила с него ледяного взгляда. Через некоторое время отец отошел от пальто, поглядел на него оценивающе, как художник на натуру и недоуменно пробормотал:

– Странно. А ведь пальто-то не моё...

Найти владельца приبلудного верхнего платья, а с ним и деньги, конечно же, не удалось, потому что отец решительно не помнил собутыльников.

Баба Маня достала свои сбережения и молча отдала их

маме.

Вообще, бабушка была настолько не приспособлена к жизни, что меня, когда я повзрослел, время от времени ставило в тупик: как она вообще выжила в невообразимо суровое время.

Бабушка по маме, Лидия Семеновна, была крендель совсем из другого теста.

Она родилась в Санкт-Петербурге в семье печника.

Казалось бы, с кособокой большевистской классовой точки зрения, получалась у нашего семейства вполне благонадежная родословная: один прадед – столяр-краснодеревщик, другой – печник, но обобщенный взгляд на вещи плох тем, что не различает подробностей, а именно там обычно прячется дьявол.

Столяр был монархистом, а печник...

Помните: Ленин и печник.

Вот, вот, только не Ленин, а царь.

В Зимнем дворце, в Большом Екатерининском дворце в Царском Селе, во дворцах Петергофа сохранялось печное отопление.

В октябре 1917 года вокруг Зимнего дворца не было никаких баррикад – просто поленницы дров, о чем сочинители врак про штурм Зимнего дворца, конечно же, знали, но что поделаешь – хотелось чего-нибудь героического.

Мой прадед Семен был царский печник, так сказать лейб-

печник.

Он был шеф-инспектор царских печей, но иной раз, чтобы размяться, сам ваял что-нибудь изразцовое.

Я уже упоминал, что царь Николай Второй имел один талант: он мастерски пилил и колол дрова, ну, а с кем дружить дровоколу, как не с печником, у них всегда найдётся, о чем покаякать...

Такие непростые пролетарии. По какую сторону баррикад они бы оказались?

Но прадед Семен, как и Феодосий, умер молодым. Он заболел скоротечной чахоткой.

Баба Лида всем и каждому прямо с порога объявляла, что окончила девятилетку – это была первая полная средняя школа, созданная Советской властью в 1918 году.

Впрочем, отвлеченных знаний баба Лида обнаруживала ещё меньше, чем баба Маня.

Людей со средним образованием в двадцатых-тридцатых годах было мало, и они, как правило, становились маленькими начальниками.

До войны баба Лида работала диспетчером на заводе «Авиаприбор», единственном в СССР, что с военной точки зрения было крайне неосмотрительно.

Жили баба Лида, ее мама, моя прабабушка, и ее дочь, моя мама, в отдельной трехкомнатной квартире (что упоминалось бесчисленное число раз) на одной из Красноармейских улиц (бывшие Роты или Линии Измайловского полка).

Как они оказались в этой квартире – непонятно.

Если это была квартира прадеда, их бы неминуемо уплотнили, то есть подселили бы к ним «жилтоварищей». Стало быть, квартира была жалована отцу моей мамы за заслуги перед советской властью. Но какое положение он занимал в таком случае и куда сгинул?

За всю жизнь я не услышал ни единого слова ни от мамы, ни от бабы Лиды о родном своём дедушке (несмотря на все расспросы) – о времена, о нравы!

На фотографии 1939 года, где мама в летной форме, кто-то отрезан маникюрными ножницами.

Но кто это был, узнать мне не удалось.

Это было время, когда каждому было что скрывать: монархизм, знакомство с царем; дворян, попов и буржуев в родословной, родственников за границей, репрессированных родственников, свойственников и друзей, пребывание на оккупированной территории или в плену.

Один советский писатель и номенклатурный чиновник заболел.

Необходимо было хирургическое вмешательство, но он упорно отказывался лечь на операционный стол, обрекая себя на гибель.

Припертый к стенке родной женой, он признался (через двадцать с лишним лет!), что страшится не операции, а общего наркоза, так как может проговориться, что осенью со-

рок первого года три дня был в немецком плену.

Бежал из концлагеря, выкопал зарытые документы, с другими окруженными пробился к своим; воевал, несмотря на то, что по состоянию здоровья был освобожден от призыва, честно работал и был до потрохов предан советской власти, но трепетал!..

Было это после XX съезда, осуждения культа личности и уже после XXII съезда КПСС, когда Сталина изъяли из Мавзолея.

Вся беспорочная жизнь и три дня плена, где он был неразличим в общей серой массе страдальцев, его никто не допрашивал, в списочный состав он был включен под вымышленной фамилией...

И все равно боялся.

Так насмерть, в спинной мозг, до столбняка и потери памяти был вбит страх в наших отцов и матерей, и в большинство моих сверстников.

Но небольшой косяк от поколения откололся, и я оказался в том косяке.

Иные нас сторонились и подозревали, что мы не просто так говорим то, что думаем.

Но люди, позволявшие себе независимость суждений, которых я знал лично, были никак не связаны с лубянской конторой.

Неизбежное предложение сотрудничать, то есть стучать,

делалось всем людям с высшим образованием, и большинством граждан отклонялось под разными предлогами безо всяких неприятных последствий; напротив, попавшиеся на мелкой уголовщине, как правило, соглашались стать сексонтами.

Не то, чтобы я вовсе не боялся, но не дал страху раздавить себя, и я мог сказать нашим вездесущим надзирателям вместе с поэтом:

Губ шевелящихся отнять вы не смогли.

Недоглядели за мной, недоглядели и вовремя не пресекли с беспощадной строгостью, хотя и пытались.

Как же было родителям не остерегаться детей, когда в нас и мытьем, и катаньем втирали Павлика Морозова – вот образец подростка-гражданина: донеси и совершишь подвиг.

Донеси на соседа, на приятеля, на друга, на незнакомца, на учителя, на мать и отца, и ты исполнишь гражданский долг.

И получалось, что и дома взрослым людям нельзя было слово молвить без оглядки: а вдруг дети малые по глупости повторят то слово в школе, а те, что постарше, сами пойдут, куда следует.

Вот и получалось, что каждому было, что скрывать, и неспроста сосед дядя Миша говорил междометиями или о погоде.

Мама и баба Лида чудом пережили первую, самую жуткую зиму сорок первого – сорок второго года блокады; их вывезли из Ленинграда по Ладоге в апреле сорок второго, мама весила 31 килограмм, а моя прабабушка и старший брат по матери погибли от голода.

Через Украину, Северный Кавказ, Каспий и Среднюю Азию наши горемыки попали на Урал, в Верхнюю Салду.

В Верхней Салде баба Лида служила комендантом общежития и, пользуясь неограниченными возможностями моего отца, кормила гречневой кашей пленных немцев, рассказывая им об ужасах ленинградской блокады.

Поверженные супостаты по-русски понимали плохо, но соглашались с тем, что Гитлер – капут, и кашу ели бережно, ни зернышка не пропадало.

Она же торговала на базаре излишками, жила за зятем сыто и беззаботно, но рвалась в родной город, и, как только представилась первая возможность, увешанная тюками с продовольствием, вернулась в Ленинград.

Квартиру на Красноармейской заселили «пскопские», завезенные в город на Неве по оргнабору, поэтому выбить их с жилплощади не удалось.

Баба Лида получила комнату в 21 метр (мне она казалось огромной) в полуподвальной коммуналке на Лиговке, напминавшей трущобу.

Там были мрачные стены в разводах, на которых кроме обычных тазов и сидений от унитадов висело почему-то

больше велосипедов, нежели имелось жильцов в пещере (потом я догадался: хозяева двухколесных экипажей умерли в блокаду), а у бабушкиной двери притулился чудесный ухоженный «Харлей» чемпиона Вооруженных Сил по мотоциклетному спорту.

Да, да, читатель, это было время, когда чемпионы, народные артисты и даже отдельные генералы жили в коммунальных казах.

Среди них генерал-лейтенант медслужбы И. М. Прунтов, он с семьей занимал три комнаты в коммунальной квартире в доходном доме княжны Бебутовой – дом № 9 на Рождественском бульваре.

Именно из квартиры на Лиговке 5 января 1946 года, больная (она сильно простудилась), ведомая тетей Шурой, баба Лида отправилась на площадь к кинотеатру «Гигант» смотреть, как вешают немцев, признанных советским судом военными преступниками.

По словам бабы Лиды, зрителей было немного, народ безмолвствовал, злодеи приняли смерть спокойно, а баба Лида и тетя Шура вернулись домой с чувством глубокого удовлетворения и помянули покойных водочкой, с пожеланием им вечно гореть в аду.

Отец из Салды, где он как сыр в масле катался, уезжать не хотел, а мама, получив известие о том, что трехкомнатный ленинградский рай безвозвратно утерян, настояла на том,

чтобы мы переехали в Москву.

Чтобы не отрываться от любимой дочери и внуков, баба Лида устроилась работать проводницей на Октябрьскую железную дорогу.

Известно, что проводник в России всегда был специалистом широкого профиля и кормился отнюдь не только сопровождением пассажирских вагонов.

Так что у бабы Лиды денежки водились.

«Бутылки сдает, вот и еще одна зарплата», – с легким оттенком пренебрежения говорила баба Маня.

Когда я подростком приезжал на вокзал, в резерв, где отстаивались вагоны, за гостинцами, я видел, как баба Лида оптом сдает посуду – по рублю за бутылку приезжавшему на тележке перекупщику.

Любимый рейс, «Полярная звезда»: Ленинград – Мурманск – Москва – Мурманск – Ленинград приносил в один конец в среднем 300-350 рублей, из них 50 рублей – бригадиру, 50 – контролерам, остальное бабе Лиде и ее напарнице тете Шуре.

Два рейса – месячный заработок.

Тетя Шура была «старый питерщик и гуляка», замечательная женщина, мужественная, суровая и практичная.

В блокаду она сохранила жизнь племяннику и племяннице, спасла бабу Лиду и маму, когда у мамы в начале января 1942 года вытащили хлебные карточки.

Это была верная смерть, но тетя Шура спасла многих.

Начальником резерва Московского вокзала (служба, которая ведала проводниками) был человек, родителей которого тетя Шура похоронила в первую блокадную зиму в гробах, в персональные могилы на Волковом кладбище, то есть совершила невозможное.

Эти люди – родители железнодорожного начальника – были верующими, и для любящего сына (а, может быть, и тайно верующего) похоронить отца и мать по православному обряду было очень важно.

Священник отпел, бригада тети Шуры закопала и крест поставила, в лютый-то мороз...

Поэтому тетя Шура и баба Лида ездили в выгодные рейсы. Осенью – в Среднюю Азию; и наша комната благоухала дынями, инжиром, виноградом, гранатами, алма-атинскими яблоками.

С Украины баба Лида привозила нежнейшее сало, из Крыма – благовонный мускат, груши Бере, яблоки кальвиль и крымскую диковину – копченого калкана, из Астрахани – рыбу вяленую и такую воблу, какую в Москве и не видавали, арбузы, что были слаще мёда и лучшие в мире помидоры, из Мурманска – зубатку и палтус, истекающий жиром, с Урала – кедровую шишку, из Владивостока – красную икру в трехлитровых банках, из Тулы – рассыпчатую картошку; из Одессы – всё вышеперечисленное.

В нашем доме было два входа, одним жильцы не пользовались, зимой там была холодная, где хранили деревенские

припасы Киреевы и мы – дары бабы Лиды под двумя пудовыми висячими замками, открыть которые Александру Ивановичу ничего не стоило, но он этого никогда не делал – своеобразная щепетильность пьяницы и симулянта.

Дыни, правда, держали в диване.

Я не любил сала – так, если только шматок потоньше, но Рифат и Роза, несмотря на свое мусульманское происхождение, и многие мои одноклассники – любили, и, жалея меня, употребляли бутерброды по назначению.

Тетя Шура и баба Лида были не против выпить, по чуть-чуть: четвертинку, максимум – две на пару.

Тетя Шура курила «Север» и была весьма невоздержанна на язык.

Пьяные мореманы и рыбаки в «Полярной звезде», безбилетники, глухонемые продавцы календарей и порнографии, шахтеры Воркуты – все бывшие зеки, амнистированные, завербованные по оргнаборам – это вряд ли можно назвать школой изящных манер.

Пили в поездах отчаянно, поезда были, по сути дела, шалманами на колесах.

После войны вагоны делились на курящие и некурящие: «в аду курящего вагона».

Работа проводника была тяжелой, грязной, но, если подойти с умом – прибыльной.

В провинции, подчас, не было самого необходимого: ре-

зинок-подвязок для чулок, иголок для патефона – начнешь перечислять – не остановишься. Знай, что куда нужно везти и бери по-Божески, вот уже и с наваром.

Сваты, баба Маня и баба Лида, недолюбливали друг друга.

Баба Маня считала бабу Лиду вульгарной (что было, то было), вкушавшей от неправедных доходов (а как же иначе?), крикливой (пока всех пьяных разбудишь: станция Березай, кому надо вылезай – глотку натренируешь), постоянно не к месту поминающей, что сколько стоит (любила баба Лида прихвастнуть своей щедростью).

Но не было бойца столь храброго и беззаветного в коммунальной сваре, как баба Лида.

Неутомимая склочница Елена Михайловна побаивалась бабу Лиду, хотя и форсила, не подавая вида.

Однажды баба Лида выносила горшок любимой внучки, названной в ее честь – в одной руке собственно сосуд, а в другой – крышка.

– Лидия Семеновна! – громовым голосом обратилась к своему заклятому врагу Елена Михайловна, – я неоднократно просила вас проносить ночную вазу по местам общего пользования в закрытом виде!

Елена Михайловна пылала праведным гневом:

– Я, как медработник...

Крыть было нечем.

Но регулярное общение с воркутинскими шахтерами не

могло пройти даром.

Баба Лида, всклокоченная, по обыкновению, уперлась крышкой горшка в свой толстый бок – это был опасный признак.

– Эти детские писи, – чеканно и сдержанно произнесла баба Лида, – эти детские писи в тысячу раз чище вашей ядовитой слюны! – и она изо всех сил шваркнула горшком по кухонному столу Елены Михайловны, только что отдраенному щеткой и 72% хозяйственным мылом.

Чистейшие детские писи залили только что постеленную новую клетчатую клеенку.

Елена Михайловна без чувств пала в своевременно расставленные руки пьяного супруга. Он потащил жену в комнату, ноги Елены Михайловны волочились по полу, как неживые.

Сидя у печки, я наблюдал всю эту воистину шекспировскую сцену и радовался, что Елену Михайловну парализовало.

Не тут-то было, часа через два, услышав шаги бабы Лиды в коридоре, медработник высунула голову из двери и пригрозила:

– Вам это так не сойдет.

Еще через пару часов баба Лида вернулась, с ней была тетя Шура, обе в черной железнодорожной форме, что придавало визиту некоторую официальность.

Они привезли точно такой же кусок точно такой же кле-

енки в бело-синюю клетку, бутылку невыносимо вонючего железнодорожного каустика, железную скребницу, какой чистят лошадей, танки и вагоны.

Шура постучала и приказала Александру Ивановичу выйти.

Оказалось, что кроме каустика они привезли еще и водку. Женщины в форме выпили с кавалеристом за почин, отдраили стол каустиком, накрыли его новой клеенкой, как-то сами собой на ней образовались четыре граненых стопки, появился Федор Яковлевич с тальянкой, и через час в квартире стоял дым коромыслом.

В конце концов выползла Елена Михайловна и пригласила дорогих гостей к себе в комнату: украинское сало, домашняя колбаса, соленый палтус, квашеная капуста, огурцы и свежие яички, сваренные тетей Маней, портвейн «Айгишат» и дорогое «Суворовское» печенье произвели на нее впечатление.

Щелкнул замок-маузер, из-за закрывшейся двери слышалось:

- Как медицинский работник...
- Детские писи!..
- Когда б имел золотые горы...
- Как медицинский работник...

Поздно вечером пришла мама и разогнала примирительную оргию.

Утром Елена Михайловна, узнав наверняка, что тетя Шура и баба Лида уехали ночевать в резерв, тут же обвинила их

в том, что они слили бензин из ее примуса.

В Сандунах однажды один из повздоривших мужиков сказал другому: «Во время блокады я таких, как ты, ел».

И невозможно было понять, это черный юмор или правда.

Про засоленные в ванной человеческие филейные части, про трупоедство – про все это я постоянно слышал от бабы Лиды.

Блокада накладывала на людей, ее переживших, отпечаток на долгие годы, а то и на всю жизнь. Мама, баба Лида и тетя Шура никогда не выбрасывали хлебных крошек, а отправляли их в рот, они не могли бросать в помойное ведро кусок заплесневелого хлеба – его надо было покрошить птичкам... С вощенной бумагой ножом собирали размазанное масло или сырковую массу; по-моему, они сожалели даже о картофельных очистках.

Блокадники прошли через десятый круг ада, о котором ничего не знал даже Данте, нет слов, какими можно было бы описать их муки.

И все эти муки черными ручьями проникали прямо в кровь мою.

У меня, никогда в жизни не голодавшего, возник стойкий блокадный синдром.

Я должен был иметь запасы гречи и пшена и чувствовал себя спокойным, только имея месячную норму автономного от государства пайка.

В «Робинзоне Крузо» и «Таинственном острове» я насла-

ждался описью имущества колонистов и того, что дарил им капитан Немо, ликовал вместе с Робинзоном, обнаружившим полезные вещи на потерпевшем крушение корабле, и восхищался его хозяйственностью – виноград, злаки, козы.

В начале 90-х, когда Гайдар, как второй Ленин, бросил Россию в нищету и голод, запасы круп, макарон и растительного масла исчислялись в нашем доме пудами.

Баба Лида находила среди блокадных историй смешные моменты: она ползла по дороге на работу по Литейному мосту, его бомбили юнкерсы, захлебывались зенитки и счетверенные пулеметы, осколками посекло все деревянное покрытие, и баба Лида насажала столько щепок в живот, что в конце моста она потеряла сознание и была отправлена в госпиталь.

Рассказывая эту забавную историю, она смеялась до упаду.

Но мне было не до смеха. Я не мог понять, как вообще дело дошло до блокады второго города в стране.

А как же самые мощные в мире танки «КВ», которые выпускал Кировский (Путиловский) завод? Почему допустили блокаду маршал Ворошилов, первый красный офицер, и генерал армии Жуков (у меня был диафильм о ленинградской блокаде), как же, наконец, доблестный дважды Краснознаменный Балтийский флот и линкор «Октябрьская революция»?

Почему всё продовольствие было сосредоточено на Бада-

евских складах?

Понятно, что немецкие шпионы сигналили бомбардировщикам фонарями, но их ловили, вот баба Лида сама одного поймала...

Но отчего в одном пожаре сгорели все запасы мяса и сахара? Где же был товарищ Жданов, о чем он думал?

Понятное дело, задавать такие вопросы было нельзя и некому. Но таких вопросов у меня копилось все больше и больше, и они мучили меня.

Баба Лида была толста, криклива и назойлива, мы с Лидой втайне стеснялись ее.

Несмотря на свою тучность, она очень ловко управлялась со своим вагоном; она уходила в рейс одна, когда тетя Шура прихварывала; сама баба Лида почти никогда не болела.

Никогда не болел и мой отец. Иногда он жестоко страдал от перепоя; однажды даже потерял сознание, почернел, скорая не ехала, в квартире начался переполох, и Елена Михайловна принесла драгоценный пенициллин, который считался за безусловную панацею.

Но отцу пенициллин был как мертвому припарки.

Когда, наконец, добралась до нас неотложка, врач сделал отцу два укола, пахло камфарой и ещё какими-то лекарствами, он дал упаковку таблеток и выписал два рецепта, а меня рысью отправили на Сретенку за кислородной подушкой.

Подушки эти, как и пиявки, давно вызывали мой живей-

ший интерес. Я, конечно же, подышал тайком из отцовской подушки. Но кислород припахивал резиной, и никакого прилива сил я не ощутил. Опыт с пиявками был проведен позже, и тоже не прибавил сил, не принес заметного улучшения здоровья. И я разуверился в панацеях навсегда.

Отец оклемался и несколько месяцев не брал в рот ничего хмельного.

Отец, как и баба Маня, страдал провалами в памяти.

Он любил рассказывать о школе, о своей военной службе в Петропавловской крепости, о финской войне, об уральском житье-бытье, но вот что он делала после школы с 30-го по 38-й год – про это он никогда не вспоминал.

Отец мой, Лев Александрович, был рассказчик от Бога, я унаследовал его дар, но мы – разные рассказчики.

Устный сказитель – Боян бо вещей, но без струн – явление штучное и так же индивидуален по стилю, как и писатель.

Когда отец работал в «Литературной газете» выпускающим (техническим редактором), многие известные тогда литераторы предлагали ему записать его излюбленные новеллы, но он так этого и не сделал, и даже не думал об этом.

Быть рассказчиком и писателем – два разных вида творчества, они редко соединяются в одном человеке.

Рассказывая об отце, я сейчас вспоминаю только то, что я знал о нем тогда, в детстве, которое кончилось в октябре 1957 года, когда мы покинули Колокольников переулочек, моё родное пепелище.

Отец никогда не высказывался ни на какие отвлеченные или же политические темы, ни тогда, когда это было решительно невозможно, ни тогда, когда языки у многих развязались.

Баба Лида, потрясенная закрытым письмом ЦК КПСС о вредных последствиях культа личности Сталина, любила рассказывать, как заставила секретаря парторганизации резерва Московского вокзала читать ей один на один текст «закрытого» документа.

Но отец отмалчивался.

Как всякий верстальщик он был человеком рискованной профессии.

Знаменитые опечатки: «Ленингад», «Сталингад» и «Сралин» его миновали, но вызовы в первый отдел были.

И вопросы – зачем вы это сделали? Кто вас научил? – звучали особенно зловеще, учитывая сильно подмоченную анкету.

Однажды отец, торопясь на обед, перепутал клише (фотографии и рисунки в печатном тексте) в материале, посвященном Международному женскому дню.

Ну, перепутал и перепутал, но материал был размещен под рубрикой «У нас и у них».

У нас дети в светлый праздник дарили цветы и улыбки учительнице с серебряными прядками, а у них убогая побирושка рылась в помойке, а у стены небоскреба жалкие твари, задирая юбки до подвязок, ловили мужчин.

На оттиске, отправленном отцом в корректуру, всё получилось наоборот: это у них дети поздравляли учительницу, а у нас...

Объяснить офицеру МГБ, что клише – это цинковые металлические пластинки, и пока они не накатаны краской, разобрать, что на них изображено, довольно сложно, оказалось невозможно.

– Надо было накатать, – особист явно не желал входить в тонкости технологии.

Лет через двадцать я тщетно пытался втолковать подобному долдону, что вовсе не верстальщики, а стереотиперы дважды перепутали почтенного советского генерал-лейтенанта, автора книги «Год с винтовкой и плугом», удостоившейся похвалы Ленина, с мальчиком-неандертальцем из пещеры Тешик-Таш.

Мне было проще, чем отцу – я объяснял ситуацию в цехе прямо у талера и мог показать недоумку, как произошла досадная опечатка

Под неандертальцем красовалась подпись, утверждавшая, что он генерал-лейтенант, а под фотографией старика-генерала – что это неандерталец, к тому же мальчик. Вот уж поистине – не верь глазам своим...

А спрашивали меня все про то же, про что всегда: зачем вы это сделали, как вам пришло в голову, и кто вас подучил?

Отца спасло то, что напившись по случаю женского дня, особист потерял пакет с секретными цензурными инструк-

циями.

Пакет нашли, а офицеру было обещано не сообщать о его преступной халатности по начальству в обмен на крамольные оттиски.

У Н. С. Гумилёва была теория «гениальной опечатки» – это когда ошибка наборщика «поправляла» поэта: у О. Э. Мандельштама было: «и слабо пахнет апельсиновой коркой», наборщик ошибся: «и слава пахнет...». Гумилев убеждал Мандельштама не исправлять гениальной опечатки.

Напутать в полиграфии при тогдашней технологии (сейчас нет горячего набора, набирают и верстают на компьютере) было легко, тем более что случались прирожденные, иной раз – гениальные опечатники.

Таким был некий Валентин М. в бригаде верстальщиков в «Литературной газете».

Однажды отца вызвали к главному редактору «Литературки» А. Б. Чаковскому, спесивому официальному еврею, мечтавшему быть избранным в ЦК, карьеристу и известному подлецу.

Он не нашел ничего лучше, как спросить: «Лев Александрович, зачем вы это сделали?» – такой вот инженер человеческих душ.

Накануне номер сдали точно по графику, что было большой редкостью.

Последняя полоса была подписана в печать, оставалось только врубить фонарик в подпись под большим клише,

изображавшим дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова (отмечали какой-то юбилей не то хора, не то самого Александрова).

Отец поручил врубить фонарик Валентину М.

Фонарик или буквица – крупная литера, которая начинает строку, набранную меньшим шрифтом.

В наших «первых книжках» – была такая замечательная серия, большая красная буква (буквица) «Ж» (она же – «фонарик») начинала слова «**Ж**или-были дед да баба».

Строка, в которую надо было врубить фонарик, начиналась: «...оет Краснознаменный хор Советской армии...»

Какую букву вы бы, читатель, подставили к строке текста про хор, которая начинается «...оет»?

То-то и оно!

Валентин М., объясняя совершенную им идеологическую диверсию, оправдывался: «Да я всё перебрал: «м» – моет, глупо; «р» – роет, тоже глупо; «н» – ноет, не может быть; «д» – доит, но они никого не доят».

Подпись в отпечатанном тираже, как легко догадаться, начиналась с буквы «В», как самой подходящей: «**В**оет Краснознаменный хор...».

Генерал-майор Александров, говорят, был возмущен и в праведном гневе пожаловался в Главпур (Главное политическое управление Советской Армии, настоящий заповедник дремучих идиотов), те донесли в ЦК, Чаковскому «указали».

Вот что может натворить одна буква, пришедшаяся не к месту.

Отец жил повседневными житейскими заботами.

Что он при этом думал, о чем он думал, я так и не смог понять.

Он из-под палки читал модные в то время романы какого-нибудь Арчибальда Кронина (это было до Ремарка и Хемингуэя), их ему всучивала мать.

По собственному желанию он почитывал только дореволюционного Горького: «Мои университеты» или «Городок Окуров», «Дело Артамонова» – чем объяснить подобный выбор, я не знаю.

Другим литературным пристрастием отца был В. А. Гиляровский, «Москва и москвичи».

В театр родители ходили, за редким исключением, на оперетту.

Как-то раз родители съездили вместе на Рижское взморье, то-то было рассказов – путешествие почти за границу.

Надо сказать, путевые заметки родителей меня сильно озадачили.

Из них выходило, что латыши не любили русских, своих освободителей.

Считали, что при капитализме жили лучше, чего, по моему мнению, просто не могло быть. Я от всей души пожа-

лел братский латвийский народ за неизжитые родимые пятна буржуазных предрассудков, а неблагодарность прибалтов уязвила меня и осталась шрамом на сердце.

Мы, я и родители, умом и душой жили поврозь.

Родители не понимали моих интересов (мама поощряла лишь мое многочтение), отец, подобно бабушке Пелагее, верил в ремесло, гуманитарные занятия он считал никчемными и опасными.

Жизнь его была трудной: он много работал, дабы компенсировать тот материальный ущерб, который наносило семье его пьянство.

Среди московских полиграфистов он был как рыба в воде. Достать халтуру, сделать что-либо срочное в немыслимо короткий срок, договориться с заказчиком, обеспечить рабочее место, найти классного корректора – все это он делал надежно и качественно.

Служба в передвижной типографии дивизионной газеты на финской войне необычайно обогатила его профессиональный опыт: набрать, сверстать, отпечатать в условиях, когда литеры примерзали друг к другу, застывала краска, верстатка обжигала пальцы – это была суровая школа мастерства в запредельных условиях.

Правда, в особо суровые, сорокаградусные морозы, редактор газеты с оригинальным названием «За родину», частенько говорил:

– Ты, Лёва, того, отпечатай пяток экземпляров: в политотдел два, в нашу подшивку один и два – замполитам двух первых подразделений, где будем отовариваться... Остальным говорить, что весь тираж уже раздали.

Дело в том, что дивизионка⁴ имела право получать продовольственный и водочный паёк (наркомовские 100 грамм на человека) из неприкосновенного запаса любого полка и батальона, а также получать в частях горячую пищу.

– Таким маневром мы имели не меньше литра в сутки на жаждущего, – подытоживал отец.

Излишки продовольствия обменивались на папиросы (табачное довольствие выдавалось махоркой), трофейные финские шерстяные вещи, лезвия для бритвы, финские ножи и другие соблазнительные вещицы.

Теплая компания сеяла разумное, доброе, вечное до февраля месяца 1940 года.

День Красной армии 23 февраля 1940 дивизионка отмечала с небывалым энтузиазмом во многих подразделениях, тоже охваченных праздничным восторгом, в результате чего ночью, недалеко от передовой, заблудившаяся полуторка с типографией (редакция следовала за полуторкой в эмке), въехала в борт бронемашине финской разведки и опрокинула его.

Финны ушли к своим, а подвиг – таран вражеского броневика, был воспет армейской печатью.

⁴ Дивизионная многотиражная газета.

Отец отделался сломанной ключицей, был отправлен в тыловую госпиталь, где старшей медсестрой служила его тет-ка Тоня.

Так что из госпиталя он вышел, когда война с финнами давно закончилась, и был, как ограниченно годный, направлен в стройбат в Стрельну.

В компании виртуозов-наборщиков, с которыми отец делал свой полиграфический гешефт, умеренно пил только Борис Моисеевич Носиковский, мой известинский наставник, дока наборного дела.

Он за свою пеструю жизнь набирал книги, журналы, брошюры, буклеты, статистические справочники, железнодорожные расписания, учебники астрономии и органической химии (формулы набирались на руках – самый сложный вид набора), меню, листовки, которые для конспирации и экономии места при переправке за кордон печатали на папиросной бумаге, Большую румынскую энциклопедию, театральные афиши и билеты в Польше, альбомы по искусству в Лейпциге, бювары для председателя Президиума Верховного Совета Н. М. Шверника в Москве.

Все остальные виртуозы были, увы, как один – горькие пьяницы, постоянно искавшие дополнительного заработка, чтобы не обездоливать семьи.

Разговоры в компании за водочкой вертелись вокруг работы, товарищей по работе, заказчиков, начальства, всевозможных курьёзов наборного свойства – было что рассказать

и послушать.

Одна история повторялась часто – про наборщика Алексея Конькова («Конька»), большого шутника и остролова, у которого бдительный дежурный по вытрезвителю извлек из карманов не вожаденные купюры, а какие-то напечатанные на картоне странного содержания не то таблицы, не то чертежи.

Видимо, дежурный был любителем шпионских романов, он решил, что непонятные находки – шифровальные блокноты.

Мильтон позвонил куда следует, оттуда немедленно приехали и забрали тело Конька, который тем временем впал в алкогольную кому, если таковая бывает. Дежурный вытрезвителя сказал, что под воздействием нашатырного спирта пациент, посмотрев на предъявленные ему схемы, произнес одно слово: «шифр...» и впал в беспамятство.

К делу были привлечены криптологи.

Но связать между собой греческие буквы, заключенные в разных размеров прямоугольники с таинственными знаками (они, впрочем, были опознаны, как астрономические) и какими-то геометрическими и непонятного назначения значками, например изображениями левой и правой человеческой кисти с вытянутым указательным пальцем, а в соседнем прямоугольнике – православный крестик, и тут же виньетки и загогулины, шифровальщики так и не сумели.

Все разнообразные попытки объединить все это в читае-

мую осмысленную систему ни к чему не привели.

Надо признать, что сотрудники органов очень мало читали, в глаза не видели ни книг, ни газет, набранных по старой орфографии, и в дореволюционной стилистике оформления не разбирались, иначе они бы догадались, что и таинственные кисти рук, и смертный крестик, и кубики, и треугольники – все это элементы полиграфического оформления.

Вытянутые указательные пальцы указывали, какому рекламному объявлению нужно уделить особое внимание, а крестик с датой означал год, месяц и день смерти, виньетки было принято ставить в конце текста, малограмотному читателю виньетка указывала, что повествование окончено.

Вернувшийся на короткое время в сознание в результате воздействия спецсредств Коньков успел гневно молвить:

– Кто вам позволил смотреть в совершенно секретные схемы? Теперь вы все пропали, – и опять отключился, повергнув чекистов в мучительные раздумья: тот ли человек Конёк, которого нужно немедленно расстрелять или он тот человек, который сам их всех расстреляет, как только окончательно протрезвеет.

Наконец, личность Конька была установлена, он пришел себя и твердо и внятно объяснил, что секретные шифры – это схемы вспомогательных наборных касс – греческого алфавита, астрономических, физических и математических знаков и, наконец, кассы элементов полиграфического оформления или касса украшений.

Всеми этими кассами ручные наборщики пользовались редко, поэтому не помнили их ни наизусть, ни механически, то есть движением рук (левая рука, в которой лежала верстатка, должна была идти за правой для ускорения набора), поэтому держали при себе подобные памятки.

Для верстки газеты Министерства обороны «Красная Звезда», чем Конёк и занимался в рабочее время, все эти кассы совершенно излишни, а вот для халтуры: формульного набора, афиш, театральных программ – необходимы, но этого Коньков чекистам объяснять не стал.

Как договорились «Звездочка» и Лубянка неизвестно, но Коньку шить дело не стали.

Слишком уж очевидной была галоша, в которую сели чекисты.

Подобных историй, клонившихся к тому, что полиграфисты выше всех по уму, мастерству и умению изрядно пошутить и выпить, я в детстве выслушал множество.

Считалось, что отец работает в вечернюю смену. Чтобы газета вышла в свет утром, была доставлена подписчику и продавалась в киосках «Союзпечати» к тому времени, когда трудяги шли и ехали на работу, ее нужно было днем набрать, вечером сверстать, несколько раз вычитать и выправить, получить матрицы, отлить стереотипы и, поставив их на барабаны огромной печатной машины – газетной ротации, ночью начать печатать тираж.

Реально отец уходил на работу часа в два и возвращался

под утро – халтура до работы и после нее была обычным делом.

До того, как маме удалось пристроить нас с Лидой в детский сад, мы по утрам пытались играть с отцом в волка и серых козлят и были им очень недовольны, когда он засыпал на самом интересном месте.

В редкий выходной, когда он оставался дома, заходил Борис Моисеевич, пожимал отцовскую ступню и говорил:

– Лева, есть афиши, – и приятели уходили либо в «Известия», где работал Носик, если афиши были предназначены для кинотеатра Центральный, на углу Пушкинской площади и улицы Горького (Тверской), снесенного в ходе реконструкции «Известий» при А. И. Аджубее, зяте Хрущева.

При нем «Известия» пережили золотой век, а тираж газеты превысил тираж «Правды», что было признано идейно порочным сразу после свержения Хруща 14 октября 1964 года, названного острословами «малой октябрьской революцией».

Или же гешефтмахи шли в «Индустрию» на Цветной бульвар, где отец работал до войны, и где у него все были прикормлены.

Возвращался отец после афиш (брошюр, программ скачек на приз Буденного или иной срочной макулатуры) обычно навеселе или сильно навеселе.

В этом не было ничего необычного.

В нашем дворе совсем не пили только Коля-Хлоп и сги-

нувший Иван Иванович Кулагин.

Не пил татарин Рустам и умер в 24 года.

Этот печальный факт Федор Яковлевич и Александр Иванович, напивавшиеся каждый день, так же ежедневно же и вспоминали, как оправдание своей слабости, в том смысле, что Рустам умер молодым именно оттого, что не пил.

– Вот брошу пить и сразу сдохну, как Рустам! – со слезой в голосе кричал Федор Яковлевич и резко сдвигал меха гармоны.

– Шут подзаборный, – отзывалась на эту угрозу баба Маша.

Надо сказать, что под забором в Колокольниковом и ближайших окрестностях редко кто валялся, советский человек знал: во что бы то ни стало он должен добраться до дома (попасть в вытрезвитель значило обрести кучу неприятностей по службе), и брел на автопилоте, подчас вопреки всем законам физики и физиологии.

Нельзя сказать, чтобы я особенно стыдился отцовского пьянства (обыденное явление), но страдал я от него чрезвычайно.

Мама время от времени переставала разговаривать и с отцом, и с бабушкой, срывалась на мне, но была приторно ласковой с Лидой и кошкой, атмосфера в доме становилась невыносимой.

Отец никогда не буйствовал, не скандалил, и я был счастлив, если он приходил «на бровях» и сразу, или, съевши та-

релку супа, ложился спать.

«Пьяный проспится, дурак – никогда», – говорила тетя Маня.

Но если отец не засыпал сразу, он начинал говорить и речь его, как пламенные выступления Фиделя Кастро в шестидесятые годы, могла продолжаться многие часы.

Даже в таком, сильно затуманенном состоянии рассудка, он никогда не вспоминал свою до-армейскую жизнь, и хотя иной раз всплывали кое-какие любопытные детали, в целом сюжеты были знакомые.

Мама иногда забирала Лиду и уходила к Чернышевым на чердак, а я становился именно тем главным слушателем из зала, к которому и обращается опытный оратор или актер.

Но я плохо подходил для этой роли, потому что мучительно хотел спать.

Монологи произносились ночью или, чаще, под утро, когда спать хочется невыносимо, и я засыпал даже стоя.

Однажды я схватил графин с водой и ударил отца по голове. Удар был такой силы, что горлышко графина раскололось, и я порезал руку. Струи моей светлой крови смешивались с водой и темной кровью отца.

Баба Маня словно окаменела, а отец бросился ко мне, смыл кровь с моей руки водой все из того же графина, порез оказался глубоким.

Отец не протрезвел, но действовал четко: была призвана Елена Михайловна, которая быстро и ловко обработала мне

рану, наложила повязку и сказала, что к Склифосовскому (15 минут пешего хода) меня вести не надо, так как зашивать руку не обязательно.

Отец не ложился, но замолчал; происшествие напугало нас обоих; рука сильно болела, но заснул я мгновенно.

Маме мы дружно наврали про то, как я разбил графин и порезал руку, а отец напел, как он разбил голову.

– Ложь во спасение, – подвела итог баба Маня.

После начала войны батальон, в котором служил отец, был направлен на Лужский рубеж строить укрепления, а через месяц воинскую часть отца погрузили в эшелон и повезли, но не на Запад, а на Восток.

В мае 1941 года в Красной армии происходила замена документов рядового и сержантского состава – старые личные удостоверения меняли на личные удостоверения нового образца (шило на мыло, так как ни в старом, ни в новом документе не было фотографии).

Получив в канцелярии роты новый документ, отец увидел, что графа «воинская специальность» заполнена неправильно, и он возведен в машинисты бронепоезда.

Липовый машинист потребовал исправить ошибку, но батальонный писарь отказал: мы, сказал он, столько бланков запороли, нас начальство загонит за Можай... В сентябре – дембель, походи три месяца машинистом, а в московском военкомате тебе напишут правильную учетную карточку.

Отец согласился, но в начале августа он вместо демобилизации вместе с товарищами сидел в эшелоне, пункт назначения которого был никому из солдат не известен.

Когда прошли Мгу, два «мессера» нагнали поезд, обстреляли его, и эшелон остановился в чистом поле.

Из состава никого не выпустили, а по вагонам с головы и хвоста двигались навстречу друг другу комендант эшелона и его помощник со стрелками комендантского взвода.

Они проверяли документы.

Ознакомившись с удостоверением моего отца, озабоченный комендант заметно повеселел и сказал солдатам, интересовавшимся причиной остановки:

– Сейчас поедem.

В тамбуре он сообщил отцу, что паровозная бригада убита и что отец, как машинист бронепоезда, поведет состав.

– А помощников, – пообещал комендант, – мы тебе сейчас найдем.

Папа не сразу понял, что никто его объяснений про то, как собственно он стал машинистом, да еще бронепоезда, слушать не станет.

Комендант был краток:

– Саботаж в военное время – расстрел на месте. Но тебе мы окажем честь и выведем на насыпь...

В это время помощник коменданта появился с настоящим машинистом, и отец решил, что он спасен.

Но человек полагает, а Господь – располагает...

Машинист, черный жилистый мужичонка, похожий на жука, клялся и божился, что в его документах допущена ошибка.

– Обоих придется расстреливать, – рассудил комендант.

– Какого черта! Ты сам говорил, что ты машинист! – горячился помощник коменданта.

– Да, я машинист, но...

– Вот канитель! Выводи их наружу, – комендант был настроен решительно.

Но и насыпь не образумила саботажников: похожий на жука, наконец, договорил фразу:

– Я машинист, но парового крана. А паровоз вести не могу...

Отец настаивал на том, будь он хоть трижды машинист бронепоезда, но без бригады с паровозом не справиться.

На что он надеялся, он и сам не знал.

– Товсь! – скомандовал комендант, но в это время помощник привел еще одного машиниста.

Его слова об ошибке в документах все, включая конвой, встретили нервным смехом.

– Я кочегар паровоза, а они меня в машинисты определили, эвон куда метнули. Я не самозванец какой...

– Ты знаешь, как сдвинуть паровоз с места? – быстро спросил отец, словно очнувшись от забытья и, получив утвердительный ответ, твердо сказал:

– Поехали.

Роли распределили так: кочегар – за машиниста, машинист парового крана – за кочегара, а отец, как машинист бронепоезда, захлопывал дверцы топки и смотрел в окно.

Когда доехали до первой станции, выяснилось, что останавливать паровоз бравый кочегар не умеет. Но комендантом была сброшена эстафета, в которой говорилось, что локомотив ведет кочегар. Поезда из-под кочегара успели убрать, а эшелон строительного батальона поймали только в Киришах с помощью паровозной спарки.

Но, видимо, звезды сошлись так, что паровоз стал на короткое время судьбой моего отца.

Когда, наконец, состав прибыл в Верхнюю Салду Свердловской области, батальон незамедлительно приступил к строительству нового корпуса авиационного завода. А бедный мой папа как машинист бронепоезда, к тому же вытащивший эшелон из-под налёта авиации противника, очень порадовал начальника отдела кадров.

– У нас тут военкоматские олухи забрали машиниста маневренного паровоза. Я тебе дам в помощь Васю, он в железнодорожном ФЗУ учился. Так что незамедлительно подавайте заготовки в цеха, реверс вам в руки...

Четырнадцатилетний Вася честно признался, что паровоз видел, но никогда внутри не был.

И пошли пастух с подпаском искать, где пасется их 55-тонная «Овечка», звезда русского дореволюционного паровозостроения, безответное дитя Коломенского паровозо-

строительного завода, до 90-х годов XX века она бегала по заводам; первую мировую вытянула, гражданскую, в великую войну, как умела, помогала – теперь такого не сделают.

Паровоз стоял на запасных путях, холодный, хмурый и чужим людям, их неумелым рукам подчиняться не хотел.

На четвертый день, строго предупрежденный начальством о неполном служебном несоответствии, отец все же въехал в цех.

Как гласила надпись на всех железнодорожных мостах паровозной эпохи:

Не сифонь, закрой поддувало!

Он тараном снес ворота, от удара бунт труб в распуске разошелся, и стальной веер начал сносить станки первой линии. Паровоз уткнулся в стену и заголосил как по покойнику.

Факт диверсии был налицо.

Военным трибуналом отец был приговорен к расстрелу, а Вася ожидал своей участи в холодной.

Утвердить приговор должен был старший по званию в Верхней Салде, директор пострадавшего авиационного завода, генерал-лейтенант Лещенко⁵.

Он впервые отправлял человека к стенке и решил взглянуть на крестника.

⁵ Сергей Михайлович Лещенко (1904 -1974) – видный советский государственный и хозяйственный деятель, организатор работ в области авиационной и ракетной техники, доктор технических наук, инженер-полковник. С 1942-го по 1946 год он являлся директором металлургического завода № 95, эвакуированного под Свердловск, в город Верхняя Салда.

На вопрос:

– Зачем ты это сделал? – отец безнадежно отвечал, что он наборщик, водить паровозы не умеет и умолял не сажать его ни на маневровый паровоз, ни на какой другой, тем более на бронепоезд.

Утверждение отца, что он наборщик, вызвало живейший интерес генерала:

– Я продукцию не могу отправить – у меня накладных совершенно нет ни одной, а тут наборщиков бросают на паровозы! Ты и накладные можешь напечатать? У меня всех типографщиков в армию призвали.

Отец пообещал, что если ему дадут в помощь Васю, который, якобы, учился в полиграфическом ФЗУ, он часа через три пришлет любые бухгалтерские бланки.

– Ну, если ты наборщик такой же, как машинист, я тебя лично пристрелю, – пообещал генерал-лейтенант.

Отца и Васю на директорской эмке отвезли в типографию, и у отставного машиниста бронепоезда отлегло от сердца – все было на месте: кассы, верстаки, рубилки, шпоны, реглеты, линейки, шпагат и шила. Отец опробовал печатный станок-американку и через три часа генерал-лейтенант Лещенко получил пачки накладных, пахнувших типографской краской.

Типография авиационного завода оказалась единственной работающей в городе.

И ее начальник, экс-машинист бронепоезда, вместе с вер-

ным помощником Васей и четырьмя обученными им девушками, набирал и печатал всё: городскую газету, заводские многотиражки (в городе было еще два завода – танковый и моторный), бухгалтерские бланки, в том числе для хлебозавода, масло- и молокозавода, афиши и билеты зрелищных мероприятий, школьные тетради, заводские пропуска и, конечно же, продуктовые карточки.

Барабанная дробь – смертельный номер без страховки: отец клялся и божился, что не напечатал ни одной левой карточки.

Я не уверен, что из нравственных соображений – просто ему это было совершенно не нужно.

Риск велик – все тот же расстрел, а он и без того был нарасхват: Лева, срочно, горю, как-нибудь, на обрезках, знаю, что нет бумаги, но ты поищи, я в долгу не останусь...

И не оставались.

Когда моя мама, блокадница, носила меня, у нее начался диатез, и авитаминоз и прочее, ей было очень плохо.

И тогда генерал-лейтенант Лещенко послал свой самолет в Астрахань, и у нас в сенях стояла кадучка с черной икрой.

Черная икра и пенициллин, а вы говорите – водка.

А мама работала лаборанткой заводской лаборатории авиационного завода.

Однажды ее послали за бланками анализов в типографию.
– Что-то Лева не торопится, – сказал завлаб маме, – под-

гони его и гостинец отнеси, – и он дал ей трехлитровую бутылку с притертой пробкой.

Мать, которую ветром носило, положила бесценную бутылку со спиртом в заплечный мешок и поплелась в типографию.

Так они и познакомились.

Отец поставил бутылку в сейф, достал какой-то сверток из железного шкафа и, взяв связки бланков, пошел провожать маму в лабораторию. Когда мама развернула подаренный ей сверток, она нашла в нем три пачки шоколада «Золотой ярлык» и две пары роскошных шелковых чулок в иностранной упаковке.

Не думаю, что это было решающим моментом в отношении матери к отцу, но его неограниченные (в пределах Верхней Салды) возможности, конечно же, не учитывать она не могла.

Мама родилась в Петрограде в 1921 году и выросла там.

Еще в десятом классе она поступила в аэроклуб, после школы стала студенткой по специальности «авиационное приборостроение» и начала летать на «ПО-2».

Получив права учлета, мама написала письмо маршалу Ворошилову с жалобой, что ее не пускают учиться летать на боевом самолете.

Маршал ответил студентке, что её желание похвально, и отдал приказ командующему авиации Ленинградского воен-

ного округа зачислить ее на курсы ускоренной летной подготовки.

Так мама научилась летать на истребителе И-16, стрелять, бомбить и штурмовать – чтобы она опять не написала маршалу, ее учили по полной программе.

В 1940 году мама вышла замуж за однокурсника и в начале 41 года родила сына; муж-ополченец погиб на Лужском рубеже, который строил мой отец, а сын умер в блокаду.

Зимой 1941-42 года баба Лида наверняка умерла бы, если бы не мама, и они обе умерли бы, кабы не тетя Шура.

Тетя Шура, закадычная подруга бабы Лиды, была женщина маленькая, сухонькая, двужильная, суровая, немногословная, самоотверженная и мужественная – и это еще не все её замечательные качества.

– Мы – коренные ленинградцы, блокадники, – и это была в её устах исчерпывающая характеристика.

Тетя Шура сколотила похоронную бригаду: зажиточных покойников на санках свозили на кладбище, саперы за хлеб или золото взрывчаткой рвали замерзшую землю, твердую, как камень.

Люди, которые уже не могли выходить на улицу, но имели ценности, пригодные для обмена на хлеб, сахар, масло и сало (и это, как и хлеб, можно было выменять на черном рынке по бешеным ценам), доверяли тете Шуре эти сделки, ценой которых была жизнь.

Такова была ее безупречная репутация, и тетя Шура при-

способила к меновой торговле нашу маму, которой верила, как себе.

Мама ходила и на картофельные поля, что располагались между Кировским заводом и немецкими позициями. Осенью 41 года там не успели убрать урожай (немцы замкнули кольцо блокады восьмого сентября). Гитлеровцы обстреливали сборщиков картофеля из минометов, так что картохи те были на крови. Мины взрывали грядки вместе с людьми, и в воронке можно было найти несколько выбитых из земли клубней.

Это был промысел людей молодых, сохранивших еще остаток сил, чтобы сделать рывок из-под смертельной минометной вилки: два выстрела-ориентира и третий – в цель.

Говорят, в воронку второй снаряд не попадает.

Так это снаряд, а мина – падает.

Русская рулетка ценой в три мерзлые картошки...

Потом надо было собрать немного валежника – в городе все, что горело, уже было сожжено; утерпеть, не сгрызть каменные клубни по дороге домой, сварить их на разведенном на ободранном полу (паркет давно спалили) костерке и есть горячую (!) несоленую, сладковатую, упоительную кашу.

Мама делила 125-граммовую пайку на две части – утреннюю и вечернюю.

Ей приходилось выдерживать бешенный натиск бабы Лиды, которая требовала всю пайку сразу. Баба Лида канючила, плакала, ползала за мамой на коленях (откуда только силы

брались), обвиняла маму в том, что она съела ее вечернюю порцию, отрезала от нее часть (как будто там было, что отрезать), но получала кусочек хлеба величиной в спичечный коробок ровно в 18.00.

Надо ли говорить, что в промежутках между мольбами и обвинениями баба Лида перерывала весь дом в поисках своей доли и того, что можно было съесть.

Дело в том, что прабабушка, истаявшая к новому 1942 году, перед смертью призналась, что свою пайку она не ела, а сохранила для дочери и внучки.

Пока завод авиаприборов выпускал продукцию, которую вывозили самолетами, баба Лида пешком за 12 километров, по неубранным улицам, обходя покойников, которых не успевала увозить специальная служба, добиралась до цеха и получала карточку ИТР (250 граммов хлеба очень низкого качества в сутки) – так как ее из диспетчеров перевели в отдел технического контроля.

Завод подвергался усиленным бомбежкам, что привело к гибели ряда производств, бабушка попала под сокращение штата и сидела безвылазно дома, что до предела осложнило жизнь мамы.

Мама могла уехать в эвакуацию со своим институтом, но она предпочла остаться в городе, разумеется, не представляя себе ужасов блокады, их тогда не ожидал никто. Если бы 9 декабря 1941 года 54-ая армия Ивана Ивановича Федюнинского не отбила бы Тихвин, Ленинград был бы обречен.

В январе 1942 года в город прорвались обозы с бесценной клюквой и другими припасами.

С начала февраля из хлеба почти исчезли примеси, прекратились задержки отпуска хлеба по карточкам, 16 февраля выдали по кусочку мяса, и мама поняла, что самое страшное позади.

11 февраля на иждивенческую карточку стали давать 300 граммов хлеба.

В марте мама была призвана в одну из похоронных команд, задачей которых была очистка города от трупов. Нечеловеческая работа оценивалась в 600 граммов, а бабушка в конце февраля стала получать 400 граммов, разумеется, мама делила хлеб поровну: на завтрак 300 и на ужин по 200 граммов хлеба на едока.

В конце апреля мама и бабушка были эвакуированы через Ладогу на пароходе.

Один из трех судов конвоя, транспорт с детьми, был потоплен финским мессером в самом конце перехода.

За Северную войну нам, русским, должно быть стыдно – и это справедливо, а вот за эти латанные-перелатанные посудины, едва державшиеся на плаву, до отказа набитые полуживыми детьми, похожими на тени, с кого спросить? Эти, с позволения сказать, пароходы были от бортов до крыши рубки измалеваны красными крестами, летчики с бреющего полёта прекрасно видели, какого противника они отправляют на дно ледяной Ладоги.

За эти, вздрагивающие, как живые на мелкой ряби панамки, кто извинился или покаялся?

Так что с ними-то делать? Списать и забыть?

Я этого сделать никогда не смогу.

В дороге блокадников неоднократно предупреждали, чтобы они были крайне осторожны с едой, не ели свежего хлеба, которого они в глаза не видели более полугода. Но всем прибывшим в Новую Ладугу полагалось аж по два килограмма хлеба, а хлеб только что испекли.

Помочь умирающим от заворота кишок медики ничем не могли.

Маму и бабушку направили в Купянский район Харьковской области.

В большом благополучном совхозе на берегах тихого Оскола ленинградцы оказались в немислимом продуктовом изобилии: молоко, сметана, творог, яйца из-под курочки, сало и венец всего – пшеничная поляница, украинский белый формовой хлеб, который пахнет так, что у блокадников случались обмороки от счастья.

Маму «выбрали», то есть назначили секретарем комсомольской организации.

Райская жизнь длилась недолго.

Харьковско-Изюмская операция Красной армией была вчистую проиграна, 25 июля был сдан Купянск.

На Купянском железнодорожном узле не было свободных

паровозов, так что состав с эвакуированными, в котором оказались мама с бабушкой, ушел со станции одновременно с приходом немцев.

Их бомбили по несколько раз каждый день, бабе Лиде большой щепкой распоролу ногу, она отказывалась выходить из вагона, и мама, которая весила 34 килограмма, таскала ее на себе.

Немецкие самолеты ходили по головам, в степи негде было спрятаться; летчики прекрасно видели, что в эшелоне не было военных – женщины, дети, старики.

Паровоз захлебывался воем, на предельной скорости проходя полустанок на запретный красный свет семафора, на перроне стоял немецкий танк и в упор расстреливал эшелон из пулемета.

В купе были убитые, все были ранены, на маме – ни царапины.

На гребне стремительного германского наступления и не менее стремительного бегства Красной Армии эшелон в конце августа оказался в районе Махачкалы.

25 августа части Клейста захватили Моздок. Возникла угроза потери Кавказского нефтяного района и большого количества нефтеналивных цистерн, которые и без того были на вес золота. Немцы перерезали доставку нефти в центр по Волге, речные танкеры стали совершать рейсы поперек Каспия, но их очевидно не хватало.

Тогда было приказано цистерны с нефтью сбрасывать с

причалов в море, связывать цепями и буксировать любыми самоходными средствами в Красноводск (ныне Туркменбаши). Буксирам разрешалось брать людей, но они не могли вместить всех желающих уйти из-под немца.

Надежды на то, что Дагестан и Баку наши удержат, не было никакой.

Самым отчаянным моряки предлагали плыть на цистернах, у горловины которых есть рабочая площадка, маленькая и не приспособленная для плавания, а оно могло продлиться более двух суток.

Надо ли говорить, что среди добровольцев оказалась мама, а бабушку она уговорила плыть на буксире вместе с багажом – чемодан с вещами и мешок с украинской провизией.

В пути несколько цистерн оторвались от общей связки, и их стало сносить течением. Пассажиры необычного плота были обречены на мучительную смерть. Но на них чудом напоролся буксир, шедший из Красноводска, и оттащил потерявших надежду на спасение людей в порт назначения, где мама нашла бабушку в состоянии, близком к умопомешательству.

Конечным пунктом их одиссеи оказалась Верхняя Салда.

В семейном союзе родителей папа любил, а мама позволяла себя любить.

Отец был ревнив, но умел держать себя в руках и раскаленная, клочкотавшая в нем лава ревности лишь изредка про-

ливалась наружу, но тогда уж – неистовством и безумием.

Маме не удалось использовать свои летные навыки – на заводе, выпускавшем штурмовики «Ил-2» было небольшое подразделение летчиков, а главное, мама была слишком слаба после блокады, а ее летные документы остались в Ленинграде.

За самолетами приезжали пилоты из фронтовых частей и перегоняли боевые машины по установленным маршрутам. Так же перегоняли самолеты, полученные по ленд-лизу из США, через всю Сибирь и Урал в распоряжение фронтовых авиационных частей. Даже значительное количество потерь не привело к отмене подобной практики вплоть до конца войны – подвижного состава все равно не хватало на все остальные неотложные нужды.

Среди летчиков у мамы было много знакомых и, скорее всего, поклонников – она была хороша собой и такая миниатюрная, словно Дюймовочка, что часто вызывает в brutальных мужчинах желание носить избранницу на руках.

Первый грандиозный скандал между родителями, который я помню отрывками: в воскресенье, с утра, накануне моего дня рождения, за мамой заехали какие-то летчики в большой трофейной машине, она уехала с ними, а вернулась только за полночь.

Что говорили по этому поводу вернувшийся к вечеру из шалмана отец и баба Маня, я выпитал как губка, но в результате дальнейших событий я оказался в Ленинграде на Ли-

говке, в коммуналке, в полуподвале, похожем на пещеру.

Со мной сидела целая бригада – баба Лида, которая с великими сложностями получала какие-то отгулы, тетя Шура, которая мне нравилась своей солдатской простотой и надежностью, ее племянница Нина, боготворившая тетку и бывшие богаделки из волковской похоронной команды.

Так что я частично обретался на Лиговке, а временами – в мрачном кирпичном доме рядом с Волковым кладбищем, где был непременно украшением ежедневных застолий жильцов в большой и дружной (случалось и такое!) коммунальной квартире тети Шуры.

Меня ставили на широченный подоконник, и я с выражением читал Михалкова, Маршака, Барто и рифмованную политическую сатиру, клонившуюся к той неопровержимой и доселе истине, что США – исчадие ада и империя зла.

Баба Лида окрестила меня в соборе Николы Морского, но из всего обряда я помню только поразивший меня размер храма, необычную торжественность обстановки и крепкий запах ладана.

С наступлением зимы я был водворен под отчий кров – родители помирились.

В дальнейшем этот эпизод с летчиками всплывал только в случае крайнего обострения внутрисемейных отношений, что случалось редко.

Ко мне и сестре мама относилась по-разному: с Лидой она

была ласкова, насколько умела; со мной сурова – я был мальчик, будущий защитник отечества.

И я считал, что известная твердость по отношению ко мне оправдана – я же не Гогочка и не маменькин сынок. Но иногда я хотел сочувствия, которого никогда не получал.

Мама воспитывала меня на примерах героев Великой Отечественной войны, которых я сам чтил безоговорочно.

Когда я жаловался, что мне холодно, мама напоминала, что Зоя Космодемьянская шла к виселице по снегу босая и не хныкала.

Я сильно обжег руку – мама тут же привела мне в пример Николая Гастелло, который весь объятый пламенем не бегал по комнате с воплями, а вел горящий самолет на колонну немецких танков.

Александр Матросов и Лиза Чайкина довершали дело – один лег на пулемет, вторая молчала под пытками.

Когда я робко пытался возразить, что героические девушки были схвачены гитлеровцами, от которых нелепо было ждать сочувствия, а Гастелло решительно негде было бегать в бомбардировщике, мама возражала:

– Ты отвлекаешься на мелочи, а главное в том, что они больше себя любили свою родину и стали героями, а ты мужчина, и должен научиться терпеть боль и всякие невзгоды.

Парировать было нечем, и когда я лезвием бритвы чуть не отхватил себе палец (шрам сохранился через шестьдесят лет), я только сопел от боли по дороге в больницу, а мама

мне подробно рассказывала о муках Лизы Чайкиной.

Откуда только она брала эти душераздирающие подробности?

В послании к евреям святого апостола Павла (12.6) говорится: «Ибо Господь кого любит, того наказывает».

Видимо, моя мама, вовсе не знакомая с Новым Заветом, любила меня все же согласно этому принципу, в основном, посредством наказаний.

Наказания моральные были таковы: мама переставала со мной разговаривать, запрещала мне выходить на улицу или посещать кино; запреты были разнообразными и не всегда разумными.

До школы меня мама не секла, так, шлепала, иной раз и ремнем, но как только я пошел в первый класс, характер порки резко изменился. Отцовский ремень мама сменила на шкив от линотипа, тяжелый, пропитанный машинным маслом, четырехугольный, схваченный металлическими скобами, разрывавшими кожу. Рубцы от шкива вспухали, были очень болезненными и заживали медленно.

Экзекуции мама проводила в тамбуре, который служил чуланом, иногда из него приходилось выносить припасы, чтобы было, где разгуляться.

Перед казнью мама зачитывала приговор, а потом начинала хлестать меня, находившегося в положении стоя, так как положить тело было некуда. Во время экзекуции мама теряла голову и входила в раж, что часто бывает с неопытными

палачами.

Я сопротивлялся, как мог – первоклассником я прокусил ей палец, в пятом классе я отнял у нее шкив и начал лупить ее по рукам, и только когда заклепка разорвала ей кожу около локтя и хлынула кровь, я бросил шкив, боднул маму головой в живот и выскочил из чулана.

Мама опустилась на пол и зарыдала.

Причиной истязаний чаще всего были сомнительного происхождения деньги, время от времени они различными путями попадали мне в руки, а у матери был дьявольский нюх на все, что я хотел от нее скрыть.

Позже я понял, что родители боялись криминальной трясины, обступавшей нас со всех сторон.

Пацан пяти-десяти лет годился и на то, чтобы на шухере постоять (подать знак опасности для воров), и стать профессиональным форточником – проникать в чужую квартиру через форточку, трюк опасный, цирковой ловкости.

Один мой одноклассник погиб осенью пятьдесят второго года – неожиданно вернулись домой хозяева богатой отдельной квартиры на Рождественском бульваре. Серёга полез, было, обратно и схватился за водосточную трубу, колено трубы осталось у него в руке, с ним он и сорвался с внешней стороны подоконника пятого этажа...

Еще одна роль малолетки, предлагавшаяся, в частности, мне, состояла в том, чтобы остановить фраера ушастого строго напротив определенного подъезда невинным вопро-

сом – который час.

Фраером ушастым могла быть и дамочка в шубе «под котик», и хорошо одетый пожилой джентльмен. Жертва оставалась, из подъезда выглядывал дюжий молодец и со словами «ты почто мальчика обижаешь?», а то и вовсе молча затыгивал жертву в подъезд. Там бригада гоп-стопа обычно из трех человек при помощи увещеваний и финского ножа мгновенно раздевала пострадавшего, так что он буквально через минуту выходил из подъезда в носках, подштанниках и нательной рубахе (дамы – в комбинации), невзирая на время года.

При обучении мастерству я сам был свидетелем подобной сцены; ограбленный в подъезде дома № 22 трусцой побежал через проходной двор в сторону 18-го отделения милиции, а через полминуты из подъезда вышли трое – один в пальто фраера ушастого, другой в его роскошной шапке, третий рассматривал часы на своем запястье. В руках обладателя новой шапки был небольшой чемоданчик, с которыми многие ходили в баню, там лежали пиджак, брюки, свитер, рубашка и кашне потерпевшего.

Они разошлись в разные стороны, тот, что пошел к Трубной, спросил меня на ходу: «Будешь с нами работать?» Получив отрицательный ответ, сказал только: «Ну и дурак!»

И навсегда исчез из моей жизни.

Это было то самое время, о котором Владимир Высоцкий написал:

*Дети бывших старшин и майоров
До ледовых широт поднялись,
Потому что из тех коридоров
Им казалось сподручнее – вниз.*

Воровская романтика, братство шпаны были притягательными, но то, что я увидел, было так гадко: трое на одного, с ножами на безоружного, для того, чтобы снять с него брюки...

Я к этому времени уже прочел рассказы Л. Пантелеева, «Судьбу барабанщика», «Что такое хорошо и что такое плохо», и у меня были убеждения (беда всей моей жизни), а мне предложили заманивать людей в подлую ловушку, и ничего романтического в этой истории я не находил.

Кстати, мальчик, остановивший фрэера ушастого точно против двери двадцать второго дома, ушел сразу же, он был не из нашего переуллка, и сколько стоила его подлая услуга, я не знаю.

Второй причиной экзекуций были школьные оценки и школьные шалости.

Я не был злостным хулиганом, и мои уличные компании никогда не были стаями малолеток, опасных для окружающих.

Мы ничего не ломали, не поджигали, не мучили животных, но мы были не в меру подвижными детьми в очень тесных дворах и переулках.

Я был склонен к прогулам – с начальной школы и до девятого класса включительно.

Вот и почти все мои школьные грехи, прогулы мои объяснялись предпочтением катка (но какого катка!) и других, как правило – непредосудительных интересов и занятий учебе:

*Собирались лодыри на урок,
А попали лодыри на каток...*

Да еще и тем обстоятельством, что учеба давалась мне очень легко.

До восьмого класса я, получив новые учебники в конце августа, имел обыкновение их все прочитывать от корки до корки – и все, я мог не ходить в школу.

Мои «двойки», подбивавшие взять маму в руки шкив, объяснялись не незнанием предмета, а отсутствием письменных работ и невыполнением других домашних заданий.

Мама после войны так и не смогла доучиться: в мае 1946 года родилась моя сестра Лида, мама сидела с ней два года, потом ей пришлось пойти работать.

Отец был против того, чтобы мама пошла в институт, он считал высшее образование излишним, так как он своим ремеслом зарабатывал вдвое и больше против рядового инженера на производстве.

Может быть, он опасался неравенства в образовании.

Мама пошла в обучение на линотипистку в типографию, каковую отец всю жизнь называл «Индустрией», по названию газеты, которую набирали здесь до войны.

Эта типография располагалась на Цветном бульваре, в 15-ти минутах пешего хода от нашего дома, по тому же адресу, что и типография, и редакция «Литературной газеты», куда отец перебрался из «Красной Звезды» после смерти Сталина уже выпускающим (техническим редактором).

Наборным цехом в «Индустрии» заведовал вечный Иван Сергеевич, дореволюционный метранпаж, выпивавший без каких-либо заметных последствий пару бутылок белой головки.

Иван Сергеевич учил наборному делу еще моего отца, работал до революции у Ивана Дмитриевича Сытина в «Русском слове» за теми же талерами (наборными столами), что и я через пятьдесят лет после Ивана Сергеевича.

Линотиписткой (наборщицей на наборной машине) мама была от Бога – она почти не делала ошибок. Я работал с ней в типографии «Известия», верстал набранные ею гранки – их можно было сразу подписывать в печать, правка была минимальной. За всё время работы верстальщиком я знал только трех наборщиц, набиравших так чисто.

Иван Сергеевич ухитрился распорядиться так, что мама работала только в первую смену, то есть с восьми утра до половины пятого, вечерняя смена заканчивалась в полночь,

так что мужьям приходилось встречать жен.

Много позже я понял, что мама была совсем недовольна тем, как сложилась ее жизнь.

Поэтому моя судьба была ею предначертана: я должен был за нее получить высшее образование, закончить обязательно именно МГУ (что и произошло), стать ученым (что и случилось – я претендую на звание кота ученого), так далее и тому подобное.

Я в третьей четверти пятого класса принес первую «четверку», да еще по русскому языку!

Она готова была засечь меня до смерти, а я высек ее саму – было отчего рыдать, сидя на залитом рассолом и кровью полу.

Печальная и распространенная ошибка родителей – возлагать на детей осуществление своих мечтаний и неосуществившихся надежд.

Мама не могла ни понять, ни вместить, как унижают меня, вообразившего себя то героем «Школы» А. Гайдара, то доблестным рыцарем Айвенго, или же примерявшего на себя судьбу барабанщика, эти дикие экзекуции. Как унижает моё человеческое и мужское достоинство то обстоятельство, что меня бьет женщина, а я даже ответить толком не могу.

Я считал несправедливым и омерзительным столь жестокое наказание за четверку в четверти и посещение кинотеатра, несмотря на родительский запрет.

И папа, и баба Маня, и тетя Маня были против этих из-

биений, они неоднократно увещевали маму, но безо всякого успеха.

Чего она добилась: я ее боялся, не любил, не жалел, а временами – ненавидел.

Я стал лживым, скрытным и в нашем многолетнем поединке я постоянно переигрывал ее, придумывая все новые уловки. Это превратилось в весьма увлекательную игру – смогу ли я ее обмануть, направить по ложному следу. Конечно, провалы в моей конспирации были неизбежны, но я на них учился, а она – нет.

В октябре 1957 года, на новой квартире, когда мама взялась за шкив, я отступил в эркер комнаты, открыл боковую створку и сказал:

– Выброшусь.

Она заплакала, я взял у неё шкив и выкинул его в окно.

Вовсе не ее суровое воспитание отвадило меня от уголовной романтики, сделало невозможным участие в преступлении и насилии, а книги, которым я верил и которые я любил, они оказались несовместимыми ни с гоп-стопом, ни с воровством, ни с квартирными кражами.

Отчуждение между мной и матерью росло с каждым годом, но началось оно именно с того времени, когда я пошел в школу.

Сейчас, на склоне дней, я искренне жалею своих родителей: лихая им досталась доля, как они нас-то ухитрились родить...

Всё время в тесноте, в скученности, на глазах – мука мученическая, как говорила баба Маня.

И в иной час щемит сердце, когда наплывает: зимний вечер, натопленный жарко, метель и мороз лепят на стекле поразительные узоры; я читаю книгу Героя Советского Союза М. В. Водопьянова «Полярный летчик».

Лида под столом играет в дочки-матери и приглашает меня принять участие (такое, честно говоря, случалось), баба Маня следит, чтобы не убежала каша, Мурка лежит рядом со мной на диване и слегка цапает меня – требует, чтобы я чесал ей брюхо.

А мама с папой собираются в театр – ритуал!

Папа после парикмахерской стрижки и бритья.

Обычно он брился сам, а я любил наблюдать за священнодействием: пластмассовый стаканчик с горячей водой; круглый, дубового картона, пенал «Нева» с мыльными стружками для взбивания помазком мыльной пены в предназначенной для этого мисочке; лезвия безопасной бритвы – шведский «Матадор», только по благу (советские лезвия – маленькие орудия для изощренной пытки) и, наконец, сам станок – финский, трофейный, но тоже из шведской стали.

Отец в шелковой сорочке, галстук в крупную косую полоску и солидном двубортном костюме, серого в едва заметную красную полоску, аглицкого шевиота, парадных (они же театральные) штиблетах.

И мама, молодая, красивая, миниатюрная в новом синем

открытом выходном платье с белым кружевным воротником; лаковая театральная сумочка, перчатки в сеточку по локоть, чулки со швом и туфли на высоком каблуке, которые, впрочем, она снимет и снова наденет только в театре, а сейчас она проверяет – не жмут ли.

Пахнет щипцами для завивки, углями утюга, пудрой – конечно же «Театральной», духами – конечно же «Красной Москвой» и чем-то неуловимым, необъяснимо театральным.

Мы с Лидой уже бывали в театре, но театр для взрослых мне представлялся чем-то необычным и недоступным, вроде высшего разряда «Сандунов».

Они проверяют, не забыли ли билеты.

Мама перед зеркалом убирает излишки пудры кружевным платочком...

А баба Маня умоляет их взять паспорта: а вдруг облава.

Солнечный зайчик праздника в скудной монотонной жизни.

И жаль их обоих до изнеможения.

Но шкив забыть не могу...

Казенный дом

В сентябре 1950 года мама пришла домой сияющая, она победительно потрясала двумя невзрачными бумажками с жирными печатями.

Наконец, я понял, что это путевки в детский сад – моя и Лиды.

Сколько мама их добивалась, сколько порогов пооббивала, насиделась в очередях в РОНО и исполкоме, и вот она добилась мест для нас.

Ну, как тут не признать: лишь при советской власти такое может быть.

Я не боялся идти в детский сад, но то, что мной будут распоряжаться чужие люди – смущало.

Детский сад находился неподалеку от дома, на углу Колокольникова и Сретенки, в пяти минутах ходьбы.

Учреждение начинало работу в половине восьмого, так что встать надо было в семь утра, что для меня оказалось решительно невозможным – я засыпал стоя, пока мама одевала меня: чулки, лифчик, к которому чулки крепились – ненавистная мне женская одежда.

Но по утрам мне было все равно, хоть платье надевай – я хотел спать.

Маму это раздражало чрезвычайно, однако природу побороть невозможно, я сам неоднократно пытался это сделать

и в юности, и позже, и каждый раз терпел жестокие унижительные поражения.

Надо ли говорить, что я засыпал и по дороге в детский сад.

Мама успевала сдать нас воспитательнице и к восьми явиться на работу в типографию на Цветном бульваре.

Нас кормили завтраком, еда мало отличалась от домашней, разве что на завтрак давали селедку – мой детский кошмар: молочная каша, бутерброд с сыром или яйцо вкрутую, ячменный кофе, чай, изредка какао с двумя кусочками сахара.

Нормально для страны, которая еще не оправилась от военного разорения.

Потом мы играли в игровой комнате на полу, как и дома, гуляли в общем дворе домов №№ 24-26.

Во дворе был длинный вытянутый аппендикс вдоль Печатникова переулка, он и сейчас сохранился, – это была запретная для нас зона, туда направлялись парочки из ближайшей пивной, где они и устраивались на юру, всеобщем обозрении и безо всяких удобств.

Но двор вдоль Колокольникова являл собой большую угольную яму, ее выбрали местом для игр мальчишки, что несколько не смущало воспитательниц, сопровождавших нас на прогулки.

Девочки играли в классы и прыгалки в той части двора, что шла вдоль Сретенки.

Всюду было не прибрано, грязно, бедно, и мы, дети –

представители привилегированного класса и будущее страны, строили крепости из угля, а после весь персонал с соответствующими присловьями помогал нам отмывать наши чумазные физиономии и негритянские кисти рук.

Обед: два ненавистных супа – картофельный мясной с одинокой фрикаделькой или – еще хуже и противней – молочный с вермишелью; на второе: серые макароны трехлинейного диаметра (говорили, что это как-то связано с калибром винтовки Мосина: макароны, папиросы, карандаши – все 7,62 мм).

Вот эти винтовочные макароны, посыпанные отвратительным вонючим зеленым сыром или котлета (биточки, тефтели, которые, впрочем, ничем друг от друга не отличались), и я находил котлеты вполне съедобными.

Признаюсь, я мясоед, таковым был с рождения, таковым и умру.

Макароны с зеленым сыром я оставлял нетронутыми, что приветствовалось няньками, иные из которых проживали в пригороде, они забирали пищевые отходы для откорма поросят.

На третье был кисель из брикета или компот из сухофруктов – сильно пожиже, чем дома.

Мертвый час, полдник – стакан кефира или ацидофилина, или кипяченого молока с пленкой, кусочек творожной запеканки или калорийная булочка, в глянцевой коричневой пленке с несколькими орешками арахиса на макушке, или

три печенья.

Все предпочитали калорийную булочку.

И гулять или играть – в зависимости от погоды, в шесть вечера нас забирала домой мама.

В первую же неделю я пожаловался дома, что в игровой, в стеклянных шкафах стоят большие игрушки – грузовик, паровоз, но нам не дают ими играть.

В детском саду маму обхамила заведующая, но наша стальная родительница пошла в РОНО и стеклянные шкафы были отомкнуты...

Когда мама пришла за нами вечером, ей молча показали обломки игрушек, сложенные в углу.

Грузовик доехал именно я – я попытался кататься на нем верхом, сначала отлетели красные колеса, затем не выдержал нагрузки зеленый кузов, и отломилась дверца кабины.

Игрушки починили и снова замкнули в стеклянных шкафах, и я признал, что это – правильно.

Через некоторое время заведующая хватилась, что я должен посещать старшую группу, в филиале, в Последнем переулке, и нас с Лидой разлучили.

Но она устроила такой скандал (школа бабы Лиды), что ей разрешили ходить со мной в старшую группу.

Филиал располагался наискосок от 18-го отделения милиции, нам хорошо было видно, что происходило во дворе мусорни, где располагался гараж с оперативными легковушками и черными воронками.

Со своими клиентами мусора не церемонились, но никаких ужасов – избиений и какого-то вопиющего насилия мы не видели: так, навешают оплеух или пенделей ногами по заднице.

Но, видимо, под влиянием постоянных сюжетов: привезли шпану или карманника от кинотеатра «Уран», а вот зареванная и побитая молодуха выводит из парадного подъезда своего всклокоченного мужа, в рваной рубахе, он держит штаны руками и орет, что лягавые слямзили его ремень с серебряными накладками...

Сама же, дура, сдала мужа, сама же и еле упросила отпустить из КПЗ – мы прекрасно изучили нравы постоянных клиентов восемнадцатого.

Подобное соседство постепенно возбудило в нас жгучий интерес к блатной жизни и блатному фольклору.

Образовался стихийный кружок любителей запрещенной песни, и в детский сад стало интересно ходить.

Дворик, в котором мы гуляли, был крошечным, к тому же он был перегорожен подпорной стеной – как раз здесь начинался довольно крутой уклон.

Нам было категорически запрещено подходить к стене, а тем более прыгать с нее в нижний двор.

Рядом с подпорной стеной была пристройка, в ней помещалась слесарная мастерская местного домоуправления.

Во дворе стояли длинные верстаки, на которых мастера пилили трубы $\frac{3}{4}$ дюйма и нарезали на них резьбу – латали

давно сгнившую сантехническую систему наших домов, вот уже полвека не знавших ремонта.

Бригадиром водопроводчиков был замечательный златоуст по прозвищу Сизарь.

От злостного пьянства лицо и руки у него действительно были сизые; тиски он называл мамой, трубу папой, а все манипуляции с трубой и тисками представлялись ему половым актом с любовной прелюдией.

– Не лезет папа в маму, – сокрушался он, – а почему? Потому что мама давно не подмывалась... Говорил я тебе, залупа зеленая неотесанная, чтобы ты не дрочил по углам, а произвел здесь приборку.

Неотесанная залупа лет шестнадцати и явно деревенского производства исчезала в глубине мастерской и, после некоторого грохота и матюков, извлекала ведро и стальную щетку.

Трубе делали обрезание, потом навинчивали резьбу.

– Что мы имеем? – спрашивал себя с удовлетворением Сизарь и с удовольствием объяснял:

– Хрен с винтом на хитрую жопу.

Мы почтительно вслушивались в его витиеватые речи, впитывали мудреные обороты и новые слова: букса, штуцер, манжета, шаровый, вентиль.

Трубы резали не каждый день, и мы собирались в стайку под верстаками, как воробьи под застрехой.

– Вот есть еще одна песня. За нее сразу 10 лет дают...

Будущие сидельцы, мы в свои шесть годков не признавали сроков меньше десяти лет – гулять, так гулять.

Не все могли воспроизвести точно мотив очередной запрещенной песни – главное было запомнить слова.

Конечно, в большинстве случаев запрещенные песни, а мы все верили, что за песню могут расстрелять, оказывались городскими романсами:

– У ней такая маленькая грудь, – выводил альтом Сашка Усиенко, у которого был и слух, и голос.

– Мама, я летчика люблю...

Затем шли песни про войну:

– Двадцать второго июня ровно в четыре часа...

Далее следовал матерный вариант, что, признаюсь, оскорбляло мои чувства: война – дело серьёзное, а тут опять про это.

Сильно косой молчаливый мальчик Костя, безотцовщина, как говорили няньки, его мама-парикмахерша частенько приходила за ним выпивши, приносил настоящие уркаганские песни: «Прощай, жиган, нам не гулять по бану, нам не встречать весенний праздник май...», «Чередой за вагоном вагон с мерным стуком по рельсовой стали...», «Пойдут на север составы новые, кого не спросишь – у всех Указ...»

Но мне больше других нравилась простая песенка:

*А ну-ка, парень, подними повыше ворот,
Подними повыше ворот и держись.
Черный ворон, черный ворон, черный ворон
Переехал мою маленькую жизнь.*

Я представлял себе «черный ворон» в виде реального автомобиля, которых в 18-м отделении было несколько, и только много позже я догадался, что «черный ворон» – это родное пролетарское государство.

Это увлечение запретной песней продержалось до конца моего детсадовского срока.

Летом мы двумя группами поехали на дачу в Сходню.

Это была большая, но обычная дача, отобранная у какого-то жулика в порядке конфискации имущества (нынче с легкой руки Е. Т. Гайдара конфискация наворованного считается нарушением прав человека).

Нас водили в лес, и это было замечательно: жучки, паучки, стрекозы, муравейники. Игра в тюрьму для мух была забыта.

В муравейник засовывали веточку, очищенную от коры и слизывали кислоту, оставленную на инородном теле крупными черно-рыжими муравьями. Мы останавливались на опушке, вглубь леса нам заходить не разрешалось, как и снимать панамки, нелепый головной убор, который я искренне ненавидел.

Словом, обычный подконвойный режим детсадовского бытования не изменился: к воде нас не подпускали, мы все время должны были находиться на глазах у воспитательниц,

и это было разумно, но скучно.

В конце лета мы все пережили страшное происшествие: прямо над нами прошел смерч.

Мы только улеглись – мертвый час, как вдруг очень быстро и резко потемнело, наступила зловещая абсолютная тишина, потом раздался гулкий удар, зазвенели стекла.

Наша медсестра, фронтовичка, взяла командование на себя: она загнала нас под кровати, велела укрыть головы подушками, прозвучал второй могучий удар, раздался истошный женский вопль, на втором этаже что-то начало падать, но я уже ничего не видел, я вжался в пол, было очень страшно.

Потом послышался громкий зловещий треск, мощные удары по крыше. Дом качался и скрипел, как заведенная визжала заведующая, и вдруг разом все кончилось.

На самом деле всё произошло быстро, через несколько минут нам разрешили встать.

Некоторые кровати были отброшены, перевернуты, а две поставлены на попа у стенки, рамы были частично выбиты, вся терраса была усеяна осколками стекла, разорванной столярки, мелким переплетом.

Из детей никто не пострадал, у нескольких женщин были порезы, но обошлось без серьезных ран.

Нас увели во внутреннее помещение столовой, и взрослые стали убирать разгромленные террасы.

В тот же день мы узнали от нашей поварихи, что в сосед-

нем детском саду погибла почти целиком старшая группа: два мальчика ушли в лес и заблудились. Группа дожидалась их и попала под смерч, воспитательница собрала детей под большим дубом, нам хорошо известным.

Смерч срезал дуб, воспитательница и почти все дети погибли, а мальчики, заблудившиеся в лесу, уцелели без единой царапины.

Это был первый в моей жизни случай встречи со стихией во всём её всевластии, когда я разминулся со смертью. Прошла она впритык, и я ощутил ее веяние.

Если бы заведующая настояла на том, чтобы вывести нас на участок, многие из нас погибли бы, потому что сад был снесен начисто и превращен в бурелом, часть деревьев упала на крышу, сосны проломили её, но дом устоял.

За свою жизнь я несколько раз чувствовал прикосновение смерти, но она каждый раз отпускала меня: случай – я слез с машины, а все, кто сидел в кузове самосвала, погибли через два километра; помощь другого человека – в армии незнакомый капитан вытащил меня из-под падающей вагонетки с бетоном; собственное хладнокровие – я так картинно тонул в страшный шторм в Головинке на глазах многочисленных зрителей, и никто уже не мог мне помочь, но я понял, что погибаю, успокоился и спасся. На следующий день я, заходя в штормовое море, наступил на мальчика, лежащего на дне, вытащил пацана, и его удалось откачать.

Поэтому лермонтовский «Фаталист» до сих пор восхищает меня, он убеждает, что нет ответа на вопрос, почему смерть каждый раз отпускала меня, а благополучный Женя Р., человек большого жизненного успеха, никогда по своему благоразумию не тонувший и не падавший с эскалатора метро, сгорел от рака в тридцать два года.

На следующий день мама забрала нас с Лидой домой.

У железнодорожной платформы была аккуратно, ровненько, на высоте сантиметров восьмидесяти срезана березовая роща.

Когда мы уже были в двух шагах от дома, отворились ворота пожарного депо в Ащеуловом переулке и оттуда с ревом сирен вылетели два пожарных автомобиля.

Я неожиданно рванул вперед – под всё такой же истошный женский вопль, как на даче, перебежал тротуар, проскочил впритирку под радиаторами машин и остался цел благодаря какому-то чуду.

Но, видимо, случаю и этого показалось мало.

Мама, побелевшая и подурневшая – кричала не она, а две тетки, которые шли нам навстречу; я едва не сбил их с ног, влетевши головой в живот одной из них уже в падении, – ничего мне не сказала, а некоторое время стояла в оцепенении. Потом она зачем-то взяла меня за руку, и мы начали переходить Сретенку. И в это время я увидел на мостовой купюру в десять рублей и кинулся за ней. Этот прыжок не оставил

мне уже никаких шансов, я должен был погибнуть, но бежавая «Победа» лишь легким скользющим ударом развернула меня по оси. На тротуаре, куда-таки, невероятным образом сумел вывернуть водитель, никого не было, так что я никого не убил, и сам остался цел с десяткой, намертво зажатой в кулаке.

Мама ничего мне не сказала, до самого дома у нее дрожали губы, а деньги она у меня отобрала.

Меткое замечание Максим Максимыча, что азиатские пистолеты часто дают осечку, по сути дела ничего не объясняет.

Не могу сказать, чтобы мое странное поведение в день возвращения домой заставило меня как-то задуматься о смерти, но то, что я спасся чудом, это я понимал и долго вспоминал это обстоятельство.

Много позже я прочитал у Мандельштама:

*О, как мы любим лицемерить
И забываем навсегда,
Что в детстве все мы ближе к смерти,
Чем в наши взрослые года.*

Дома меня заставили примерить обновки – мою школьную одежду, портфель; я просмотрел учебники и не очень понял, чему будут меня учить в школе – я все это уже знал.

Но я заблуждался, узнать мне предстояло многое.

В начале жизни школу помню я...

Это бесспорно, но начальную школу я помню плохо.

Первое сентября, гладиолусы, из нашего класса был виден восьмой дом по Колокольникову переулку, я хотел сидеть у окна, учительница мне и указала на желаемое место.

Мы были дети войны, у трети класса не было отцов, они либо погибли, либо не вернулись с фронта в свои семьи.

В классе нас было двадцать семь человек, я помню немногих.

Однажды в 1965 году я шел в свою щитовую № 53-54 сумрачным бесконечным коридором третьей очереди радиохимического завода Красноярского горно-химического комбината.

Неподалеку от моего места работы (сторожем, конечно, сторожем) был выставлен пост – в прорабской хранились проектные чертежи строительного района.

Чекист окликнул меня по имени, я настороженно замер, но он не потребовал курева, а сказал:

– Мы с тобой в первом классе за одной партой сидели, ты ко мне на Рождественку ходил игрушки смотреть...

И я его вспомнил.

Его звали Терентий Ковальский, Тетеря.

Его родители привозили из-за границы диковинные игрушки: танки, пушки, автомобили, очень похожие на настоящие. У него была чудесная электрическая железная дорога,

и его мама позволяла нам в неё играть, хотя взрослым в таком случае мы не оставляли никакого жизненного пространства...

Пока Тетерю не перевели на другой пост, я его кормил дополнительным пайком, поил казенным спиртом и снабжал куревом.

Несчастливые чекисты по сравнению с нами были нищими.

Великая и ужасная Средняя Маша (Министерство среднего машиностроения, ныне – Минатом), Хозяйка Железной горы с её смертельными тайнами и всей страны в придачу; та самая Средняя Маша, коей, согласно поговорке, никто никогда ни в чем не отказывал, любимая дочь Сталина, первой нянькой которой был нежный Лаврентий Павлович, Средняя Маша не была скрягой – кормила нас на убой и платила деньги, а не ничтожные солдатские 3 рубля 80 копеек.

Неожиданно, моим любимым предметом стало чистописание.

Писать красиво нелегко:

«Да-ет ко-ро-ва мо-ло-ко».

За буквой буква, к слогу – слог...

Ну, хоть бы кто-нибудь помог!

Мы писали простой перьевой ручкой, «вставочкой» – как говорят в Петербурге.

Деревянная круглая палочка всё того же трёхлинейного

калибра 7,62 мм, окрашенная во все цвета радуги, имела железной наконечник с зажимом для пера.

Видов перьев к вставочке существовало множество, они шли по номерам.

На чистописании по образцам, прописям (текст прописи и привел С. В. Михалков в своем замечательном стихотворении) в ручку надо было вставить перо № 86 или же, для того, кто уже овладел азами каллиграфии, перо № 11, оно было жестче восемьдесят шестого и царапало бумагу.

Для этого пера тетради по двадцать копеек – «серые» (двенадцать листов), сделанные из бумаги плохо отбеленной и нетисненой, невысокого качества, не годились – перо вечно цепляло какое-нибудь волокно, получалась марашка или целая клякса.

Поэтому я предпочитал покупать тетради сам: по тридцать копеек и то только те, что отливали молочной белизной и имели четко пропечатанные тонкие голубые линейки и поля, отчеркнутые красной линией.

Послевоенные перья делал Ярославский завод металлоизделий – это вам не жалкие артели военных лет, совсем другое качество.

Ярославский завод метил свою продукцию выпуклой или вдавленной буквой «Я», и на отдельных номерах, в частности № 11, присутствовала такая же выпуклая или вдавленная звездочка. Перо № 115, «пионерское», имело тисненное изображение костра, перо для меня во втором классе слиш-

ком простое, детское.

Над расщепом перо имело прорезь различной конфигурации, от неё зависело качество нажимной линии; насечка в косую сеточку на кончиках пера увеличивала их гибкость.

У перьев №11 и № 86 прорезь имела самую затейливую форму, для скорописи – выполнения домашних заданий не по чистописанию, а по другим предметам, я пользовался пером № 12 с простой в виде узкого овала прорезью и подпружиненными щечками («лягушачьи лапки») или же с такой же прорезью пером, но попроще – № 14.

Перьями с постоянной толщиной линии: № 18, № 23, и другими писарскими дореволюционными изобретениями нам не позволяли пользоваться до пятого класса.

Перо № 18 было самым широким и никелированным, я писал им мало, из любопытства только; перо № 23 – классика военно-писарского искусства, из ротных канцелярий оно перебралось во все присутственные места российской, а затем и советской империи: на почту и телеграф, сберкассы, суды, отделения милиции, военкоматы и бесчисленные канцелярии.

Разновидности этого пера назывались «гусиной лапкой», «уточкой», при игре в перышки – «солдатиком», секрет его был совсем прост: тугой расщеп; сжатые бока позволяли захватывать больше чернил, нежели широкие и плоские перья.

Примятые и изогнутые кончики образовывали маленькую поверхность, она-то и была пишущей частью пера, дававшей

монотонную линию без нажима; продавались перья № 23 даже с золоченым кончиком, у меня такие, конечно же, были, но, увы, они были ничем не лучше обычных.

Моё владение золотом ограничилось писчими перьями на протяжении всей жизни.

Не сразу, по мере накопления опыта, я решительно отверг перочистки, предлагавшиеся торговлей.

Замша – вот идеальное средство для чистки и правки пера: никаких волосков в расщепе, а если долго тереть капризные перья о замшу или изнанку кожаного ремня, то они перестают царапать бумагу.

Перья № 11 или № 86 можно было приладить к головной части бумажного голубя – и голубь мира становился боевым, а если ухитриться при помощи клея и нитки приладить к острию пера капсюль жевело, то училку можно было испугать до пожизненного заикания...

Перо «Рондо», в заграничном варианте № 997, бронзовое или никелированное – виртуозная штучка, созданное каллиграфами для староанглийского круглого шрифта или нерегулярных гарнитур, оно требовало усидчивости и большого искусства, я им так и не овладел в совершенстве, о чем очень сокрушался.

Официальные бумаги, бланки особой отчетности заполнялись только тушью и только пером «Рондо».

Зато я стал признанным мастером игры в перышки: надо было, подведя кончик своего пера под шейку чужого, щелч-

ком перевернуть перо другого игрока, а затем так же щелчком вернуть его в исходное положение.

Перья имели меновую стоимость: одно перо – три фантика, десять перьев – марка (не колония).

У меня был мешочек для игровых перьев, небольшой, но увесистый; писчие перья я держал в пенале.

Однажды я спустил в один ход (я так и не дождался своей очереди вступить в игру – мой противник действовал безошибочно) все свои перышки одному ловкому малому, но когда он вознамерился унести восвояси моё кровное, мне пришлось применить секретное оружие – я поставил на кон перо от самописки.

Большое жюри знатоков признало перо авторучки законной фишкой, ловкий малый не сумел найти подход к диковинной новинке – у неё не было шейки, и я так же в один ход вернул свои и выиграл все его перья.

В собрании моего противника было множество иностранных образцов, европейских и азиатских, так я стал обладателем двух «Рондо» с клеймом «GB 997 Alfa», где GB – Великобритания.

Чернила XIX века из чернильных дубовых орешков и железного купороса с добавлением ничтожного количества гуммиарабика и глицерина, а так же таннино-галловые с надежными красителями: метиловым фиолетовым, краппом, индиго, фуксином были хороши, но постепенно уступали место анилиновым.

Чернила из растворенного в воде из под крана стержня химического карандаша, о которых повествует Асар Эппель, остались в военном прошлом.

В наши парты, конструкции гигиениста Ф. Ф. Эрисмана, восемь десятков лет прослуживших русской школе, были вставлены массивные фаянсовые непроливайки, так что большое искусство требовалось в начале совместного обучения дабы беззвучно извлечь чернильницу из гнезда, поднести её максимально близко к косичке сидящей впереди девочки и мгновенно погрузить кончик косички в узкое горлышко непроливайки.

В обязанности дежурного по классу входило следить за тем, чтобы никто не остался без чернил, но, надо признать, мытьё чернильниц – каторжное занятие.

Нажим, волосяная линия и самое сложное – переход из нажима к волосяной и обратно.

Как всякий циклоид, я пишу связно, отрывая перо от бумаги только тогда, когда нет возможности сразу перейти в другую букву или в конце слова.

Каллиграф так писать не может, надо вычерчивать за буквой букву, строго соблюдая последовательность линий разной степени нажима и правила соединения букв волосяной линией. Нажимная линия ни в коем случае не должна налезать на косую линейку прописи, а лишь касаться её, как в образце.

Есть буквы простые для написания, например «ш» и сложные – «ч» или «й». Трудность представляют верхняя черточка буквы «ч» и акцент над буквой «й»: можно, конечно, схалтурить и пустить эти элементы в виде запятой: точка и волосяная линия, а можно исхитриться и написать эти финтифлюшки переливом нажима и волосяной, едва заметной для глаза.

Князь Лев Николаевич Мышкин был, как известно, не только и не столько идиотом, но еще и совершенным человеком, и прирождённым каллиграфом, он очень поэтично рассуждал о шрифтах.

Наша учительница, Мария Александровна Преображенская, женщина пред-пенсионного возраста, имела ту безупречную выправку, что так предательски выдавала «бывших». Я думаю, что она могла бы легко преподавать и в старших классах, но что-то её туда не пускало.

Она была интеллигентна, сдержанна, строга, из тех, у кого не забалуешься.

Так что знаменитую песню:

*Ученики! Нам Сталин дал приказ:
Поймать училку, выбить правый глаз –
За слёзы наших матерей
Из тысяч наших батарей...*

я и мои одноклассники никаким боком к Марии Алексан-

дровне отнести не могли.

Ее удивляла и забавляла моя приверженность к предмету, который в мужской школе не почитался за нечто серьезное и требующее внимания.

– Хороший почерк – умение, которое может пригодиться в жизни, а она длинная. Кроме того, четкое и ясное написание – признак уважения к тем, кто должен будет читать ваши рукописи, – наставляла меня учительница «с седыми прядками».

Я получал неизменные пятерки, в том числе за поведение и прилежание – была и такая графа в нашей табели, чем медленно рыл себе яму.

Когда, со временем, родительница начала находить в дневнике иные, кроме пятерок, отметки, она восприняла это как кощунство, попираание идеалов нашего общества и поругание её святых надежд, упований и чаяний.

С Марией Александровной у меня в первом классе была связана такая история.

На мой день рождения мама подарила мне книгу некоего американского писателя (уж не Говарда ли Фаста, который впоследствии оказался подлецом и был разоблачен как грязный предатель) про американского мальчика Джимми, конечно же, негра.

У мальчика Джимма тоже был день рождения, и его негритянская мама подарила ему новую рубашку и деньги на

торт.

Дальше шло описание всех больших и малых неприятностей, которые претерпел негритенок в свой праздник – и все из-за цвета кожи.

Рубашку ему порвали, торт размок под дождем, так как белый кондуктор прогнал малыша на крышу автобуса: салон только для белых...

Я был интернационалист и имел суровое, но доброе сердце.

Я подбил товарищей по первому классу собрать посылку для Джимми, и отправить ее на адрес писателя-коммуниста в США.

Адреса я не знал, но это меня не смущало: писатели – люди известные, а уж он передаст гостинцы негритенку. Откуда-то я знал, что посылки за границу идут с международного почтамта на улице Кирова. Оставалось только написать адрес на английском языке, и я обратился к Марии Александровне.

Но она мою затею неожиданно не одобрила:

– Ты не подумал о том, что будет с Джимми и его мамой, когда они получат посылку из Советского Союза. Ты знаешь, как американские империалисты относятся к нашей стране? – спросила меня учительница.

Мне это было хорошо известно, более того, я слышал стихи Симонова про Америку по радио и запомнил их с голоса:

*Я вышел на трибуну в зал.
Мне зал напоминал войну.
А тишина – ту тишину,
Что обрывает первый зал.
Мы были предупреждены
О том, что первых три ряда
Нас освистать пришли сюда
В знак объявленья нам войны...*

– Вот и подумай, как могут расисты расправиться с Джимми и его мамой за то, что они переписываются с пионерами из СССР.

Я похолодел – я едва не подвел Джимми под месть ку-клукс-клановцев с их белыми балахонами, факелами и крестами – уж мне ли их было не знать.

Мы еще не были пионерами, но ходили упорные слухи, что из-за напряженной международной обстановки нас примут в пионеры в конце первого класса.

Нас приняли во втором, но международная обстановка не стала проще.

Мария Александровна никак не могла мне сказать, что если мы ватагой заявимся на международный почтамт с посылкой в Америку, то неприятности, скорее всего, будут вовсе не у негритенка Джимми, а у наших родителей.

Но она сделала вполне уместную рокировку, и мы, группа товарищей, сами съели сушки, баранки и два кекса, превратившихся в сухари, за здоровье Джимми.

Когда мы, в сильно изменившемся составе, заканчивали седьмой класс, наша классная руководительница, немка Амалия Генриховна, сказала нам:

– Мария Александровна умирает, у неё рак, но это незаразно. Вы бы навестили её, что ли, – но никто идти не захотел, кроме меня и одной девочки, Берты.

Она, как легко догадаться, вовсе не училась у Марии Александровны, но сидела со мной за одной партой и была в меня влюблена, о чем я догадывался.

Она угощала меня бутербродами с докторской колбасой и тянучками «Коровка». У нее бывали бутерброды с ошпаренной брынзой, которую у нас в доме не покупали, а мне она нравилась.

Все необходимые на уроках инструменты и принадлежности: циркули, линейки, транспортиры, угольники, лекала, контурные карты, атласы – всё у неё было в двойном количестве, на свою и мою долю.

Я тоже потчевал Берту своими завтраками, бывал у неё дома, но нежных чувств к своей верной рыжей подружке не испытывал.

И что они льнули ко мне всю жизнь, эти подноскицы патронов?

Немка дала Берте из классных денег двадцать рублей на цветы, но я подобрал царский букет на Сельскохозяйственной выставке, а две десятки забрал себе на текущие расходы.

Мария Александровна жила в огромной коммуналке на Неглинной, в доме, где был знаменитый нотный магазин, в глубине двора.

Ради нас Мария Александровна встала с постели за ширмой.

У нее в гостях была ее родственница, старушка все с той же выправкой «бывших». На стенах висели фотографии царских времен. Мария Александровна показала нам фотографию родителей, отец-преподаватель русской словесности в гимназии и мать, копией которой была наша учительница. Семья на снимке была большая.

«Одних уж нет, а те – далече», – подумал я, но спрашивать ничего не стал.

Меня всегда, с самых младых ногтей, волновала возможность легкого, случайного прикосновения к чужой жизни, к бытовому укладу, совсем не похожему на наш, к неведомой семейной истории.

Мария Александровна была уже плоха, быстро уставала, но держалась так же, с присущим ей достоинством. Мы вспомнили мое чистописание, перо «Рондо», школьные шалости, попили чаю с очень вкусным печеньем.

Она умерла летом, когда все разъехались на каникулы, иначе бы мы с Бертой непременно пришли бы на её последние проводы.

Я, сам не зная почему, хотел стать таким, как Иван Иванович Кулагин и Мария Александровна Преображенская, но

их время прошло безвозвратно.

– Пойдем стыкнемся.., – это была самая ненавистная для меня фраза школьного жаргона.

Несмотря на суровые времена, никакой дедовщины в 239 мужской и в помине не было, знающие люди утверждают, её не было и в армии до тех пор, пока не начали призывать в неё уголовников.

Старшеклассники нас, начальную школу, просто не замечали, а чтобы обижать, безобразничать – отнимать деньги или вещи – этого и в заводе не было, во всяком случае, никто из моих приятелей ни о чем подобном не слышал.

Стычка – это драка между сверстниками, безо всякой причины и повода, проверка на вшивость.

Бороться с тем, чтобы уложить противника на лопатки, было не принято – весь извозишься в грязи да еще, чего доброго, порвешь одежду – новой не купят, мы стыкались на кулаках, до первой кровянки.

Поединки проходили, как правило, на школьном дворе, в присутствии свидетелей и по-честному – никто не должен был вмешиваться в драку.

Никто из нас не владел ни ударами бокса, ни приемами какой-нибудь борьбы, так что мы почти вслепую махали кулаками в надежде попасть в самое уязвимое место – нос или по губам.

Один на один дрались редко, как правило, противников

окружали свидетели и почти секунданты; учителя предпочитали не вмешиваться.

Наш школьный двор делился самым зданием альма-матер на верхний и нижний, и в своей верхней части был перегорожен еще и подпорной стеной, что делало его чрезвычайно удобным для мальчишеских игр.

Из здания школы через черный ход можно было попасть в нижнюю часть верхнего двора, и лишь через две лестницы – в его верхнюю часть.

По крутой неудобной лестнице, через хозяйственный двор и кучи угля, можно было войти в верхний двор и со стороны Большого Сергиевского переулка.

Так что застать внезапно людей дела чести было невозможно при всем желании – выставлялись дозорные на атас.

Оба противника больше всего желали, чтобы этот нелепый ужас поскорее кончился: до серьезных травм никогда дело не доходило, но не принять вызов было решительно невозможно – ты погибал в глазах общества.

– Бить человека по лицу я с детства не могу, – пел Владимир Высоцкий.

Я находился в том же положении: агрессивностью я не отличался, физические мои кондиции были самыми средними, но, главное, я совершенно не мог взять в толк, отчего я так, за здорово живешь, должен расквасить чей-то нос, да еще

в придачу подставить свой, который мне было откровенно жалко.

Скоро я заметил, что те, кто не мог обратить на себя внимание школьного сообщества какими-нибудь талантами или поступками, чаще других становились бретёрами.

Отпетый Колька Фиолетов, притча во языцах, которого склоняли на всех родительских собраниях, куда его мать никогда не являлась, уже во втором классе, когда нас перевели в фасад здания окнами на Трубную, нашел иной, помимо стычек, путь обретения популярности и даже славы.

– Фиолетов Николай отсутствует, – торжественно чеканил дежурный, и все начинали косить в окна на дом № 6, а точнее – на окно Фиолетовых, откуда незамедлительно появлялась голая и, надо признать, довольно тощая жопа ученика второго класса «А» с воткнутой в неё папиросой «Север».

Папироска живописно дымилась.

Картина Репина «Приплыли».

Колька врал, что умеет курить и даже затягиваться задницей, и некоторые простофили ему верили – вот к чему приводит невежество и незнание анатомии человека.

Но Фиолетов в анатомию не верил и стоял на своем, ссылаясь на свою мать, которая неоднократно утверждала, что в нашей стране всё делается через жопу.

Я был фигурой, в школе заметной.

Меня со второго класса забирали с уроков к старшим ре-

бятam – делать политинформации.

Сколько всякого политического хлама хранилось в моей голове!

Я и сам удивляюсь: сейчас, когда мы, наряжая елку, добираемся до самодельной, 1952 года, гирлянды флажков с государственными знаменами стран народной демократии, из меня начинают выпадать давно истлевшие имена Антонина Запотоцкого, Климента Готвальда, Вильгельма Пика и товарища Энвера Ходжи.

Ко мне в дни приёма в комсомол приходили солидные прокуренные восьмиклассники и спрашивали, кто такой Го-Можо. И я, стараясь ничем не выдавать своего торжества, объяснял им, что товарищ Го-Можо, писатель, историк и археолог, является Президентом Академии наук Китайской народной республики, а Вьетан Ореаль, напротив, президент Франции, тогда как Рудольф Сланский – подлый предатель дела коммунизма и товарища Сталина, главарь троцкистско-сионистско-титовского заговора в Чехословакии, а Иосиф Броз Тито... – меня прямо распирало от информации.

Я вовсе не был попугаем Кешей, который, не раздумывая, повторяет то, что услышал из черной тарелки трансляции. Я до дыр прорабатывал «Красную Звезду», ее по утрам приносил вернувшийся с работы отец, просматривал газеты на стендах Цветного или Сретенского бульваров и глубоко переживал политические новости.

Особенно ненавистны и удивительны были мне предате-

ли нашего дела, вроде ленинградских заговорщиков, или того же Сланского – и в подполье был, и в Испании сражался, так нет, все-таки пополз на карачках в подручные кровавого наймита махровой реакции Иосифа Броз Тито, за спиной которого, разумеется, маячили Соединенные Штаты.

И это несмотря на все, совершенно очевидные успехи нашего социалистического лагеря: вот-вот мы водрузим над землю красное знамя труда, и, может быть, уже бы водрузили, если бы не отступники, изменники и космополиты, совершенно безродные.

Понятно, что такому всезнайке каждый двоечник мечтал расквасить нос.

Я даже подумывал избавляться от бретёров посредством каких-нибудь маленьких хитростей: царапать себе руку, хотя бы пером №86 и потом, помахав для виду кулаками, предьявлять «кровянку».

Поединки, действительно, заканчивались при появлении хотя бы капли крови.

Но что-то останавливало меня: стычки, конечно, были делом дурацким, но рыцарским, и избегать их при помощи обмана было уловкой постыдной и унижительной для чувства собственного достоинства.

Представьте себе, но это именно так – чувство собственного достоинства воспитывали во многих из нас эти нелепые стычки – да, я проиграл, меня победил сильнейший против-

ник (но ведь и Красная Армия терпела поражения), но я не струсил, не отступил и белого флага не выкинул.

Чувство той самой невидимой стены, в которую упираешься лопатками и понимаешь: все, дальше хода нет. Или ты принимаешь бой, как бы не было страшно, через не могу, или же тебя больше нет, а есть некая кучка сами знаете чего.

И не важно, заметили ли, поняли это другие; главное – ты сам про себя это знаешь.

И то, что внутри стало возникать и крепнуть мучительное и властное нечто, что делало мнение окружающих о тебе менее важным, чем то, что ощущает и сознаёт это нечто, было завязью чести, совести и чувства собственного достоинства.

И улица, и школа, и семья постоянно испытывали эту завязь на прочность.

Я глубоко убежден, что либо мальчик еще до переходного возраста как свою собственную суть принимает слова о том, что мертвые сраму не имут, а смерть, и боль, и лишение имущества – не самое страшное в жизни, либо у него всегда будут проблемы с чувством собственного достоинства.

И он будет обладать каким-то сверхъестественным чутьем: как, насколько и перед кем именно надо прогнуться.

Но это так, лирическое отступление.

Наше поколение готовили к новой – страшной и последней – войне, но мы пропустили ее вместе со всем человечеством в конце октября 1962 года, в дни рокового Карибско-

го кризиса, когда обе стороны, казалось, уже вошли в смертельное пике.

И Хрущев, и Кеннеди не решились, балансируя на краю пропасти, применить ядерное оружие.

Нас учили, что на миру и смерть красна.

*А в подвалах и полуподвалах
Ребятшикам хотелось под танки!*

Сейчас трудно в это поверить, но так всё и было.

Мы верили, что высшее назначение и долг настоящего человека – отдать жизнь за родину, и мы были к этому готовы.

И я уверен, мы бы не дрогнули.

Но так карта легла: от нашего поколения жертву не востребовали, кровь послали проливать поколение рубежа 1950-60-х годов в ненужной, злосчастной афганской войне, погубившей СССР.

*И люди, стрелявшие в наших отцов,
Имеют виды на наших детей...*

Нас, уже немногих оставшихся в живых, прошедших изматывающими улицами и сумрачными ходками Красноярского горно-химического комбината, третья мировая коснулась краешком, тлетворным радиоактивным дыханием, но задела.

Наверное, поэтому наши инициации мы придумывали себе сами, они были разнообразными, достаточно жестокими, и стычки начальной школы занимали в процессе возмужания достаточно важное место.

Санки – мой первый спортивный снаряд, место состязания в лихости одно – горка от школьного двора с выездом в Большой Сергиевский переулок и из него – в Малый.

Горку заливали водой, раскатывали, так что образовывался ледяной желоб, дававший хороший разгон.

На санки ложились животами головой или ногами вперед (это – самые отчаянные и я, вынуждено, вслед за ними).

На площадке перед съездом в Большой Сергиевский переулок можно было отталкиваться руками, подобно тому, как безногие инвалиды на своих тележках отталкивались деревянными «утюгами».

Но, чтобы попасть в Малый Сергиевский, надо было пересечь Трубную, где неподалеку была расположена бензоколонка, и машины выруливали на улицу с горки.

Если ты ехал ногами вперед, ты машин не видел и, таким образом, подвергал себя смертельному риску.

После того, как двух мальчишек из соседней школы насмерть задавил грузовик, наш директор, однорукий фронтовик Абрамов, распорядился горку изрубить пешнями⁶ и засыпать толченым кирпичом.

На смену горке пришел карбид.

⁶ Тяжелый лом на деревянной рукоятке, употребляется для пробивания льда.

Карбид в укромном месте помещали в снег. Согретый в руке карбид плавил снег, вода на нем кипела и газ поджигали.

Вот этот синий фитилёк и надо было погасить голым задом, иначе ты – слабак.

На самом деле ничего сложного и опасного в этой затее не было, но психологически было трудно – и раздеться на улице, и сесть на маленький, но огонь, рискуя опалить собственные мужские признаки.

Понятно, что у Тимура в его команде таких бессмысленных испытаний не было, но у нас, в свою очередь, не имелось роскошных подмосковных дач, мотоциклов, немецких овчарок и бесхозных сараев.

В январе 1952 года нас приняли в пионеры: нескольким мальчикам в нашем классе исполнилось девять лет, и привести к присяге нас решили чохом, за исключением Кольки Фиолетова и его верного адъютанта Витьки Зубкова.

Обряд был приурочен к 28-й годовщине смерти В. И. Ленина и проведен не где-нибудь в школьной рекреации, а в траурном зале Всесоюзного музея вождя мирового пролетариата, того самого, о котором говорится в как всегда замечательном стихотворении Сергея Михалкова:

*В воскресный день с сестрой моей
Мы вышли со двора.*

*– Я поведу тебя в музей! -
Сказала мне сестра.
Вот через площадь мы идем
И входим, наконец,
В большой, красивый красный дом,
Похожий на дворец.*

.....
*И вдруг встречаем мы ребят
И узнаем друзей.
То юных ленинцев отряд
Пришел на сбор в музей.
Под знамя Ленина они
Торжественно встают,
И клятву Партии они
Торжественно дают...*

Действительно, все было в высшей степени пафосно и мрачно: в кумачово-черных цветах партийного траура –

*Нет, бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили.*

Нас окружали огромные строгие фотографии – товарищ Сталин в распущенной шапке-ушанке несет гроб товарища Ленина, уши шапки и усы Сталина заиндевели – стоял трескучий мороз; плачет всесоюзный староста Калинин, суровые лица рабочих и дикие первобытные физиономии крестьян, и я чувствовал себя теснящимся вместе со всеми осиротев-

шими людьми, и холод мертвенный ощущал.

Приспущены были по углам зала священные знамёна Парижских коммунаров 1871 года, личный штандарт товарища Сунь-Ятсена, присланные из Франции и Китая как символы соболезнования советскому народу, и те революционные стяги, что укрывали тело Ленина в гробу в скорбный день великого прощанья.

Всё было сурово, просто и величественно.

*И в мире нет людей бесслезней,
надменнее и проще
нас...*

Ладана и фимиама не полагалось, но веял отчетливый дух могучей Империи, и для того, кто однажды вдохнул его полной грудью, всякий другой воздух подобен удушью.

В той особенной тишине, которая наступает в миг, когда обрывается сухая барабанная дробь, мы, малолетки-шпингалеты, по очереди выходили к знамени и «перед лицом своих товарищей» давали политическую клятву: «не щадить своей жизни в борьбе за дело Ленина – Сталина, быть верными коммунистической партии, жить, работать и учиться, как завещал великий Ленин».

И никому вокруг это не казалось диким, хотя и было форменным безумием.

На сладкое нас повели в актовый зал (соседнее помещение) и показали фильм, в который вошли все документаль-

ные кинокадры с Владимиром Ильичом.

Я впервые видел живого Ленина на экране, он мне понравился – подвижный, энергичный, с умным ироничным лицом, простой, доступный, без всякого фанфаронства – настоящий вождь рабочих и крестьян – воистину:

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...

«Как же повезло нашей стране, – думал я, – что два самых великих в мировой истории человека, Ленин и Сталин, родились на нашей земле, и что Сталин стал соратником Ильича, его любимым учеником и продолжателем его бессмертного дела».

Как я любил их обоих, до головокружения – сердце ныло и заходило от восторга!

Впоследствии, пока я работал в «Известиях» и учился в старом здании МГУ, я частенько заглядывал в Музей Ленина, чтобы выпить водочки в комфорте и безопасности – в центре было полно милиционеров, оперативников КГБ и органов МВД в штатском.

Вход в Музей был бесплатным, и я стал таким укорененным завсегдатаем, что мной заинтересовалась охрана.

Но начальнику охраны я доходчиво и убедительно объяснил: с одной стороны, я всю жизнь изучаю биографию вождя, с другой – меня именно в траурном зале принимали в пионеры, а с третьей – чувство скорби бывает таким острым

и непереносимым, что иной раз, дабы не разрыдаться или лишиться чувств, я выпиваю шкалик.

– Ну, если только глубокая скорбь и один шкалик.., – принял мои объяснения угрюмый ветеран конвойных войск, которого, судя по хорошо знакомым мне приметам, скорбь тоже нередко посещала, – но знай меру! Помни, какое это святое место...

Потом я закончил учебу, сменил место работы и года три не посещал большой красивый красный дом.

Однажды я по фотографической надобности попал в ГУМ и заглянул в музей; встретили меня там как родного, и общая наша скорбь с ветераном самых внутренних войск в мире в этот день была особенно горькой («Любительская горькая настойка») и сильной (1,5 литра на двоих).

Когда я впоследствии сеял разумное, доброе, вечное в школе рабочей молодежи в Кожевниках, то по дороге в учебное заведение, единственно чтобы сравняться с учащимися, заходил с четвертинкой в Павильон-музей «Траурный поезд В. И. Ленина», где стоял паровоз У-127 и вагон, в котором 23 января 1924 года от полустанка Герасимовка в Москву привезли тело окончательно сбрендившего еще в декабре 1922 года покойного вождя мирового пролетариата, кавалера Ордена Труда Хорезмской Народной Социалистической республики.

В павильоне было зимой несильно, но натоплено, всё лучше, чем на улице; пустынно, гулко и печально.

Посетители в павильон почти не заходили, работал он до 19 часов, но вокзальные бродяги, по-моему, побаивались мрачного, строгого здания – все-таки Ленин, и напрасно, в вагоне можно было даже спать, но я не пробовал, хотя внутрь и залезал.

Прием в пионеры нашего класса не повлиял на международную обстановку – империалисты США и их приспешники по-прежнему бесчинствовали в Корее – но породил нешуточный всплеск политического честолюбия во втором «А».

Еще бы, столько командных должностей – от санитарного поста (боролся с грязными ногтями, космами некоторых несознательных товарищей и стригущим лишаем Кольки Фиолетова) до председателя отряда.

Я считал, что именно я должен был носить две председательские лычки на рукаве, но старшая пионервожатая Зоя решила иначе, и я был избран редактором стенной газеты – всего лишь, должность, между прочим, без лычек.

Я начал интриговать и уже через месяц стал звеньевым – всего одна нашивка, да и той быстро лишился: во время сбора металлолома пионеры моего звена на санках вывезли со стройки радиаторы парового отопления. Мы честно приняли их за старые и ненужные: ржавые, неприглядные. А того не сообразили, что если бы батареи были б/у, то они должны быть покрашенными.

Скандал был по всей программе – оперативники, участ-

ковый, управдом, прораб.

У нас отобрали переходной вымпел за первое место, а я был разжалован в санинструкторы, но с этого незавидного места мне в результате ряда сложных манёвров удалось переползти на должность инструктора по туризму.

И в районном Доме пионеров на Самотеке мне выдали не только лычку, но и нарукавную нашивку с пионерским костром, как сотруднику районного подчинения, а затем и значок «Юный турист» за победу в районном конкурсе «Костер с одной спички».

Ах, костры – роковая страсть моя, сколько я за них пре-терпел, но уж поджечь что-нибудь одной единственной спичкой, и в дождь, и в снег, и в ветер – это всегда пожалуйста.

В четвёртом классе я стал-таки на короткое время председателем отряда – и как отрезало. Я, можно сказать, упился властью, славой и почётом, но отныне хотел быть только частным человеком. Однако мне этот скромный и достойный удел так и не достался – я опять был избран редактором стенной газеты.

Попротирав штаны до одури на сборах совета дружины, я вдруг догадался, что кроме современного варианта «Проза-седавшихся», из нас ничего не выйдет.

У школьной пионерской организации в городе не было никаких реальных дел, кроме сбора металлолома и макулатуры, но если круглый год собирать макулатуру, то с ума сой-

дешь, а школа превратится в помойку.

А насильно переводить старух через улицу – такая морока, не приведи Господи.

Примерно так рассуждали мы с товарищами, собираясь в городской Дворец пионеров, в переулок Александра Стопани, старого большевика, благо пути было пятнадцать минут.

Во Дворец ходила моя сестра Лида заниматься бальными танцами. Занятия были платными – 10 рублей в месяц, сестре падекатр не понравился, и она сказала:

– Вот отпляшу на 10 рублей и больше танцевать не буду.

Среди многочисленных кружков и секций нас привлекло стрелковое дело: пулемет «Максим» произвел неизгладимое впечатление. Но время шло, а мы все еще занимались теорией и подготовительными процедурами: учились брать «На пле-чо!», выполняли команду «Ко-ли!», но стрелять не стреляли.

Выяснилось, что тир кружка давно на ремонте.

Теория меня утомила, тем более что летом 1953 года я вполне практически стрелял из тулки, винтовки «Бердана» и даже «Зауера».

Школа постепенно стала рутинной, у меня появились другие интересы, и свой высокий пост редактора я оставил в связи с резким ухудшением здоровья.

Дела и дни

Гесиод писал о буднях древнегреческого земледельца, дела и дни школяра в Колокольниковом переулке Москвы в пятидесятые годы были не тяжелее, но многообразнее.

Годовой цикл для меня начинался с Нового года, самого любимого праздника.

Еще до школы, когда нас с сестрой укладывали раньше полуночи, мы с Лидой соединяли свои руки шпагатом, чтобы не давать друг другу заснуть и, таким образом, дожждаться заветного часа появления под елкой Деда Мороза и двух немалых мешков с подарками.

Но, несмотря на тесную связь, наше бодрствование продолжалось недолго.

Нас будили под перезвон кремлевских курантов, мы доставали из пакетов по мандарину и шоколадной конфете, разговлялись и снова засыпали.

Дед Мороз, вывезенный мамой из блокадного Ленинграда, уже стоял под елкой и незаметно исчезал в тот момент, когда разряжали новогоднюю красавицу, которая, как правило, занимала треть комнаты и уже поэтому долго стоять не могла.

– В форточку вылетел, – объясняла нам мама, и мы не знали: верить – не верить.

Позже я перерыл весь дом, но так и не понял, где роди-

тельница прятала волшебный амулет.

Утром я начинал методично пожирать увесистый мешок, и к вечеру он был пуст, а я с вождением поглядывал на крафт-пакет сестры. И она щедро со мной делилась, хоть бы еще три жизни проживи – такого не забудешь.

Кстати, Будда считал неблагодарность самым черным грехом.

Первой моей публичной елкой стала елка в ЦДРИ – Центральном доме работников искусств.

Мы, то есть я, а потом и Лида, любили туда ходить.

Приятельница мамы, заведующая справочной библиотекой «Литературной газеты» тетя Дора, через профсоюз работников культуры доставала нам билеты на детские праздники.

До того, как я пошел в школу и до пятого класса две недели между Новым годом и старым Новым годом – время сутное: елки.

Дом Советов, Колонный зал – это, как говорится, святое, до Кремлевской елки 1954-1955 года – главная елка страны, и подарки богатые, за один день даже я, прирожденный сладкоежка, умять все не мог.

ЦДРИ – елка, где кроме Деда Мороза и Снегурочки, детей развлекали опытные массовики-затейники, была интересной; мы ее очень ждали, но подарки там были пожиже.

Любимый мой аттракцион был такой: собрав детский хо-

ровод, один из взрослых давал двум мальчикам, стоявшим друг против друга, блестящие металлические ручки, подсоединённые к какой-то мудреной электромашине. Нас предупреждали, что через нас пойдет слабый электрический ток, но это не больно, не страшно и не вредно, а напротив – полезно и забавно. Некоторый девочки и даже мальчики побаивались и конфузились, но я-то считался бывалым, и одна из ручек непременно доставалась мне.

Затем пускали ток, нас начинало слегка потрясывать, потом уже трясло сильнее, в этот момент нам предлагали расцепить руки, но я уже знал, что это сделать невозможно.

Вряд ли сегодня возможен такой познавательный номер на детской ёлке.

Меня привлекали большие китайские головоломки, сделанные из никелированных прутков толщиной с палец, я научился быстро собирать и разбирать их; подвижные части соединялись и разъединялись со звуком винтовочного затвора.

Центральный дом Советской армии (ЦДСА) – праздник военно-эстетического жанра, мощная вещь: священный амулет для того, чтобы елочка зажглась, похищали не какие-нибудь сказочные Баба Яга или Кощей бессмертный, а самые настоящие диверсанты в маскировочных халатах с немецкими автоматами, тоже не игрушечными, диверсантов брала розыскная собака, восточно-европейская овчарка.

Ну, где еще в мире что-то подобное можно увидеть на

рождественской елке?

В двух шагах от ЦДСА находился старый, еще не реконструированный, с деревянным скотным двором, уголок души Дурова.

Только там можно было посмотреть поистине уникальное зрелище – «Аллегорическое шествие животных» – пародия на известных западных политиков, которых изображала (ну, догадайтесь, кто?) – конечно же, свинья, гиена, козел, хорек – вылитые Черчилль, Иден, Трумен и Тито.

Все это по сценарию, разумеется, моего любимого поэта, Сергея Владимировича Михалкова, ну, до чего разносторонний человек, и для свиньи стихи написал.

Заканчивалось представление песней:

*Ну, а тех, кто выступает
Как подскажет Вашингтон,
Наш Вышинский отстегает
На глазах у всей ООН.*

И я представлял себе уморительную картину: американских холуёв в цилиндрах и фраках, с голыми задницами и товарища Вышинского с грозным шкивом в руках.

И, конечно, елка чудесная у наших дорогих шефов, в клубе Министерства государственной безопасности, самая продолжительная: и представление, и обязательно кино про шпионов, вредителей и нарушителей границы.

А подарки!

В них всегда было то, чего не достанешь в магазине.

Или вафли в виде орешка с начинкой из пралине, или шоколадные медали невиданных размеров. И обязательно – две небольшие книжечки сусального золота по 20, а то и 30 страничек, в них тончайшие листочки чистого золота (положишь в такой грецкий орех, сожмешь ладошку – вот и игрушка на ёлку) были переложены листками бумаги папиросной.

«Вся страна для них старается, – думал я о чекистах, – чтобы поддержать их в нелегкой, но благородной службе. А они всем делятся с детьми, будущими пограничниками...»

В моей жизни самыми щедрыми были два самых страшных ведомства, всеильные Средняя Маша и госбезопасность.

Что-то сейчас там, в этом уютном клубе с глубокими кожаными диванами и вышколенной обслугой?

Мы там были частыми и желанными гостями: на все революционные праздники, включая День парижской коммуны, День Сталинской конституции, день рождения Ленина, День пограничника, День чекиста, День Победы, Праздник книги – всего не упомнишь...

От моего зоркого глаза не ускользнула странная особенность: сколько народа на Кузнецком мосту – узких тротуаров не хватает, идут по брусчатке, а в Фуркасовском переулке – никого, но объяснить для себя это обстоятельство я так и смог.

В редкий день, когда он не работал, папа водил меня в музей.

И здесь выбор его был далек от хрестоматийного: мы никогда не были с ним в художественных музеях, Центральном музее В.И. Ленина или Карла Маркса и Фридриха Энгельса, но уж точно более десятка раз мы посещали Политехнический, и я знал его как облупленного, на ощупь, как потом выучил Музей изящных искусств на Волхонке и Центральный музей В.И. Ленина – зайдешь, выпьешь, но и заодно ознакомишься с экспозицией; особенно я любил рассматривать носильные вещи Ильича, начиная с детской сорочки, правда, платье вождя, особенно исподнее, было представлено весьма скупо.

После Политехнического по числу посещений шел Музей истории и реконструкции Москвы, где я полюбил панорамы старых улиц, начал интересоваться, что было раньше на месте старых зданий; отчего-то чрезвычайно меня занимали дома страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, как и другое здание того же общества на площади Дзержинского (Лубянской).

С изумлением я узнал, что в доме, ставшем оплотом нашей державы, даже после революции были обычные обывательские квартиры, магазин швейных машин (узнал от бабы Мани), и даже пивная (это мне поведал старейший наборщик Москвы Иван Никанорович Быков-Баранов), и диетическая столовая (сведения от фотокорреспондента «Вечерней

Москвы», Гирша Евелевича Яблонского), и что изначально зданий было не одно, а два.

Это сейчас можно нажать клавишу, и поисковик выдаст всю сумму знаний про любое здание и не здание.

Я добывал сведения по крупицам, поэтому они и остались во мне навсегда.

То, что внутренним двором МГБ стала та часть Малой Лубянки, что раньше выходила на площадь, я догадался сам; дело в том, что никто не хотел ничего говорить о знаменитом доме, словно над ним тяготело проклятие.

Технический прогресс, во всей своей внушительной наглядности представленный в Политехническом музее, восхищал меня, и я начал методично склонять отца к покупке радиолы «Рекорд», которая находилась в экспозиции последних достижений советской радиопромышленности.

Правда, относительно радиолы противоречивые желания разрывали меня – радиоприемник «Балтика» и некоторые радиолы имели таинственное устройство, подобное кошачьему глазу:

*Мой кот, как радиоприемник
Зеленым глазом ловит мир...*

Мне эта радужная электронная оболочка очень нравилась, но уже появились модели, у которых кроме допотопных и

скучных круглых ручек были современные клавиши цвета слоновой кости.

Мне хотелось, чтобы стеклянная шкала с нанесенными на нее прямоугольниками городов «Лондон», «Париж», «Берлин», «Рим» была широкая, как у «Беларуси», «ВЭФ Аккорд» или «Даугавы», но чем-то привлекали меня и консольные конструкции типа «Риги».

Я думал, что когда стрелка, ведомая медленным покручиванием верньера, проходит через прямоугольники, которым были присвоены имена мировых столиц, аппарат ловит именно радиостанции Мадрида или Рио-де-Жанейро.

Как я ошибался!

Родителям нужна была радиола, способная проигрывать новинку – долгоиграющие пластинки со скоростью $33\frac{1}{3}$ оборота в минуту, тогда как наш старый патефон имел одну скорость – 78 оборотов в минуту.

К тому же несбыточность моих мечтаний упиралась в проклятый денежный вопрос: на беду я выбирал все то, что стоило немного меньше или много больше тысячи рублей, а радиоприемник третьего класса – настольная радиола «Рекорд-53» стоила 385 рублей, что и решило дело.

Радиоприемники первого класса «Латвия М-137» и «Мир-152» были на тринадцати лампах, приемники высшего класса вроде «VEF-Super» имели дополнительные устройства, облегчающие поиск нужной станции, а «Рекорд-53» был собран на пяти лампах, но и советские радиостанции и

вражеские голоса принимал очень уверенно.

Некоторые приемники высшего класса выделялись не только замечательной ценой (2760 рублей!), но и тем, что диапазон коротких волн начинался у них с 12,5 метра, а глушилки работали на диапазоне с 25 метров.

Смекаете?

Вражеские голоса можно было принимать и в Москве, и в Ленинграде без всяких помех.

Потом те торговые моряки, что ходили за границу, стали привозить такие же транзисторы, и они пользовались устойчивым спросом.

Станциями глушения (81 местного и 13 дальнего действия – до 2000 км) были окружены Москва, Ленинград, Киев и еще десяток советских городов.

Когда с 1958 года мы жили в дачном поселке «Литературной газеты» в Шереметеве Савеловской железной дороги, из электрички была видна станция глушения неподалеку от платформы Марк.

«Закрытие частот» началось в СССР в 1931 году (глушили румынское, ха-ха, радио) и закончилось только в 1989 году.

С весны 1948 началось массированное глушение «Голоса Америки», «Би-Би-Си», потом, особенно яростное – «Свободы».

То, что наращивание мощности «закрытых частот» было признанием поражения в идеологической войне ни я, ни

подавляющее большинство населения СССР, разумеется, не понимали.

Я был допущен к «Рекорду» после того, как дал честное пионерское слово под салютом, что не стану снимать заднюю крышку (была снята в первый же день – ничего интересного) и не буду включать диапазон коротких волн.

Послушав некоторое время всегда одно и то же – вой глушилок, и удовлетворенный тем, что наши не дремлют, я переключался на диапазон УКВ – никаких помех.

В мае 1953 года я выставил «Рекорд» на подоконник, чтобы порадовать возможных слушателей концертом несравненной Клавдии Шульженко.

Был жаркий день, переулок был пуст, лишь какая-то странная пара мужчин поднималась по нечетной стороне – я сидел, свесив ноги на улицу и на ощупь крутил ручки.

И вдруг очень громкий, отчетливый, хорошо поставленный голос загредел на весь переулок: «Едва заколотив последний гвоздь в гроб обожаемого кровавого тирана, советские вожди вступили в смертельную схватку за власть.

Казалось бы, портфели поделены...»

Я оцепенел.

Вместо того чтобы немедленно прекратить поток клеветы, я заметался, как курица с отрубленной головой.

Вражеский диктор на весь переулок вещал о том, что товарищ Лаврентий Павлович Берия вознамерился перегрызть глотку товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу, а Никита

Сергеевич, в свою очередь, подбирается к горлу Лаврентия Павловича, а товарищ Маленков...

Я лихорадочно и безуспешно нащупывал верньер, вместо того, чтобы соскочить с подоконника и выдернуть вилку из розетки.

Вот и те, старый и молодой, оба очень высокие, у дома девять подняли головы и смотрят в сторону нашего окна

И в это время по ушам ударил спасительный вой глушилок.

– Проспали, ротозеи, залупы зеленые неотесанные! – завопил я.

Чувствуете благотворное влияние сказителя Сизаря?

Тут я добавил такое, чему и Сизарь бы позавидовал, и что было услышано от кавалериста-симулянта и касалось гомосексуальной и скотоложеской связи белопанского польского улана и его боевого жеребца.

Я хотел было добавить еще кое-что из фольклора полярной авиации, но тут услышал, как кто-то идет по коридору.

Неужели уже за мной? Как быстро!

Но это был слесарь из Мосгаза.

Фольклор полярной авиации – это, конечно же, Вася, помните подпаска моего отца, который вместе с ним так удачно въехал в цех на «Овечке».

Так вот, в 1949 году он был уже лейтенантом полярной военно-транспортной авиации; отца он не забыл, и нельзя сказать, чтобы его визиты радовали нашу маму – ладно водка,

так ведь чистый спирт в неограниченных количествах.

Этого не могли уравновесить даже деньги, которые неженатому Васе решительно некуда было девать, а оклады военных летчиков в Заполярье были в те годы ломовые.

– Хоть бы его в какую-нибудь Чукотку перевели, – мечтала мама, а отец возражал:

– Он и с Чукотки прилетит, – и это оказались провидческие слова.

Уже майором и подполковником Вася прилетал из района Уэлена, Лаврентия и Черского.

Вася неоднократно летал на тайный сталинский стратегический аэродром у Северного полюса, откуда ТУ-4 с атомными бомбами доставали до Америки.

Но, однако, меня повело далеко в сторону, и надо вернуться к музейной теме.

Старый Музей Советской армии располагался в левом крыле ЦДСА, бывшего екатерининского института благородных девиц, построенного в 1807 году.

Там, где готовили к жизни трепетных благородных девиц, стояли пушки и тяжелые пулеметы, висели мундиры военачальников Рабоче-крестьянской Красной армии, которая только в 1946 году стала армией Советской.

Много замечательного было в сильно прореженной в тридцатые годы экспозиции музея, но больше всего я любил зал Победы, где с благоговением смотрел на простреленное

знамя и со злорадством – на брошенные на пол в искусно декорированную свалку знамена и штандарты поверженной гитлеровской Германии.

Сейчас, в чаду ожесточенных споров по поводу потерь советского народа в войне, как-то теряется из вида тот очевидный, как восход солнца, факт: это мы – русские и другие народы Советского Союза, победили сильнейшую армию в мире, и никакие подсчеты и толерантные бредни этого факта ни отменить, ни изменить не могут.

А факт, как говорится в «Мастере и Маргарите», последнем русском романе, прочитанном широкой публикой, факт – самая упрямая вещь в мире.

Или, словами М. М. Зощенко: это больше, чем факт – это голая правда...

Мы были поколением победителей, что уже не может быть понято в полном объеме современной молодежью.

Идиотское, расплодившееся ныне выражение «играть в войнушку», придуманное пакостниками, вызывает у меня отвращение.

Мы играли не в «войнушку», а в Великую Отечественную войну Советского Союза, да и не играли мы, а жили той войной и нашей великой победой.

В московских парках стояли сбитые немецкие бомбардировщики, и мы бегали по их крыльям, попирая черные кресты.

Вы можете ездить на последней модели BMW, но приплясывать на крестах боевого бомбардировщика, бомбившего Варшаву, Осло, Брюссель, Амстердам, Париж, Афины, Белград и Лондон, и поверженного русским оружием в московском небе, потрепанными сандалиями топтаться на этих зловещих крестах, перед которыми стояла на коленях Европа, – вот этого вам не досталось.

Каждому – свое...

Мы играли в лесу под Подольском и Лобней в тех самых окопах, которые не смог преодолеть непобедимый вермахт – тысячи верст прошел, мощнейшую в мире укрепленную линию Мажино прорвал, а эти полуосыпавшиеся окопы перешагнуть не смог.

Недалеко от платформы Луговая я сиживал на камне германского преткновения, бетонной крышке дзота – от этой плиты мы оттолкнулись своей славянской пятой и пошли *отбирать наши пяди и крохи*, отсюда началось наше контрнаступление.

Напомнить, где оно окончилось?

А сегодня господин по фамилии, заметьте, Минкин, позволяет себе утверждать, что надо было сдать Гитлеру...

Пробитый осколками красный стяг над поверженным Берлином вошел в состав моей крови, и кинокадры, на которых знамена непобедимого вермахта летят к подножию мавзолея на специально сбитые дощатые поддоны, дабы свастика не осквернила священной земли Красной площади – глав-

ные и любимейшие моменты *моей* жизни.

А поддоны потом сожгут и пепел развеют в чистом поле, как 340 лет назад по ветру развеяли то, что осталось от самозванца и не поместилось в пушечное жерло.

Это называется Империя, её назначение – одолеть врага или погибнуть, а лечь под него – это для минкиных.

Во дворе бывшего Английского клуба – в нем разместился Музей революции, стояло шестидюймовое орудие, из которого большевики стреляли по Кремлю («святое дело» – думал я) и настоящий броневик.

В экспозиции было много оружия – и холодного, и огнестрельного, замечательные фотографии (знал бы я, сколько на них ретуши!).

Но настоящую революцию в музейной жизни Москвы произвел 1950 год.

Известно, что Сталин родился 6 (18) декабря 1978 года.

Но в 1920 году Иосиф Виссарионович по никому не известным причинам поменял дату своего рождения на 9 (21) декабря 1979 года.

Начиная с осени 1949 года в СССР началось форменное умоисступление в связи с 70-летием любимого вождя, великого учителя и, заодно, корифея всех наук.

До конца 1952 года «Известия» на специально отведенной полосе печатали алфавитный список советских предпри-

ятий, учреждений, армейских частей и общественных организаций, поздравивших корифея с семидесятилетием. Завершали этот почетный перечень ясли поселка Ягодный Магаданской области.

Естественно, что юбиляру подарили более миллиона подарков от всего прогрессивного человечества.

Было решено создать Музей подарков И. В. Сталину, но подходящего помещения не нашли.

Практически ликвидированы были экспозиции Музея изобразительных искусств и Музея современного западного искусства.

Но места не хватило.

Большую часть бюстов и портретов передали в Третьяковскую галерею, но места все равно не хватило.

Тогда оставшееся богатство разместили в Музее революции, а сухой остаток в провинциальных мемориальных капищах, в частности, по месту рождения гения – в городе Гори Грузинской ССР.

Баба Лида методично провела меня через все экспозиции подарков.

Запомнилась модель паровоза, которая была по размерам значительно больше оригинала; половина зерна риса с полированной поверхностью разреза: на ней был вырезан не только профиль Сталина, но и собрание его сочинений на китайском языке. Зерно показывали а'натурель и под мощным микроскопом – чеканный профиль в окружении бесчислен-

ных иероглифов. В своем письме к Сталину китайский виртуоз обещал к 75-летию корифея на второй половине зерна риса поместить профили Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина-Мао-дзедуна и полные собрания сочинений основоположников и верных продолжателей незыблемых основ.

Польские мастера из города Лодзи соорудили телефонный аппарат в виде серпа и молота, ничего более нелепого я еще к своим семи годам не видел.

Одних ковров было столько, что ими можно было покрыть все площади, улицы и переулки Москвы и даже ее тупики.

И на всех – товарищ Сталин на фоне тракторов, танков, самолетов, пароходов, верблюдов, лошадей, пограничных собак, и в окружении соратников и бесчисленного рода людей всех рас, национальностей и занятий.

В черные и белоснежные бурки можно было обмундировать две легких кавалерийских дивизии.

Детские рисунки, поделки и масса вещей, назначения которых я не понимал.

Баба Лида была дотошным посетителем и я, помню, сильно уставал, мой энтузиазм начинал гаснуть через какие-нибудь три-четыре часа созерцания вещных свидетельств безмерной любви и бесконечной преданности.

«Да подари ему хоть целый мир – и все будет мало», – думал я.

То, что прилично дошкольнику – непозволительно учени-

ку первого класса.

Катание на «снегурках», привинченных к валенкам при помощи бельевых веревок, которые закручивались короткой палкой, осталось в прошлом.

Я начал посещать московские катки, сначала с родителями, потом с друзьями.

С родителями мы ездили в парк Сокольники и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, стадион Юных пионеров – по местам ностальгических воспоминаний нашего папы.

Лед на этих катках иной раз был изрезан до асфальта, раздевалки тесные, неудобные и холодные, как и пирожки с повидлом – основной товар буфета.

На каток Чистых прудов, куда можно без труда дойти пешком, я бы навещался хоть каждый день, но – одна беда и для больших и для маленьких катков – шпана, которая правила там бал.

Вот и на Чистых прудах – лед там был вполне приличный, а временами – и очень хороший, и раздевалка получше, чем в парках, но шпана всех окрестных переулков и Покровских ворот не давала шагу ступить.

Бить не били, но запугивали, отнимали деньги до последней копейки, а главное – унижали. Хорошие коньки могли снять – видел не раз, вместе с хорошим свитером. Мне это не грозило, но было противно и отравляло ту радость, которую давал каток.

Я и мои одноклассники всё постигали сами – навык бегать на лыжах, хорошо стоять на коньках, плавать.

Лыжи у меня не пошли с самого начала, как и гимнастика, которой нас обучали в школе, а вот на коньках я катался лучше большинства сверстников.

С первого класса у меня появились «гаги», битые-перебитые, еще довоенные, мамины.

Лезвия были весьма посредственной стали и нуждались в частой заточке, а она стоила три целковых.

А где их взять?

Ботинки я так напичкал нутряным жиром, что они стали абсолютно водонепроницаемыми; стельки мне папа вырезал из фетра высшего качества, который в типографиях использовали для получения матрицы с газетной полосы – на набор клали специальный матричный картон, на него – полотно фетра, и этот сэндвич отправляли под пресс.

Фетр – новенький, а не б/у, применялся в нашем доме в основном на стельки. Двойная фетровая стелька и деревенские шерстяные носки – ноги у меня никогда не мерзли.

Я научился лихо разворачиваться, ездить задним ходом, змейкой, крутиться волчком – все было хорошо, когда бы не шпана.

Я предложил старшей пионервожатой Зое организовать пионерские вылазки на каток и объяснил, что так легче будет отбиваться от шпаны.

– Ты не на тот каток ходишь, – сказала мне Зоя и, в бук-

вальном смысле, открыла мне глаза.

По ее совету я на следующий день отправился на Неглинную, нашел подворотню между 29-м и 27-м домами, прошел вдоль очень длинного жилого здания и обрел искомое.

Это был известный, к счастью – немногим, каток «Динамо» (ныне «Русская зима»), лучший в моей жизни и до открытия очень дорогого «Люкса» рядом с Лужниками – лучший каток Москвы.

Он был небольшим, уютным, круглым по форме, лед здесь был или отличный, или идеальный; раздевалка чистая, теплая, просторная; хороший буфет, отменная точка.

И никакой шпаны!

Объясняется это чудо просто: «Динамо» – спортивное общество милиции, и на катке всегда дежурили – не грелись и точили ляды в комнате милиции, а катались(!) вместе с нами на катке сотрудники в форме.

И первый среди них – незабвенный старшина Вася, настоящий русский богатырь на снегурках полуметровой длины, навинченных на чудовищные валенки 52 размера.

При его появлении шпана бралась за руки и начинала чинно кататься парами, преданно глядя на величественного старшину.

Он не отличался свирепостью нрава, напротив, был добродушен и относился ко всем по-отечески. Нарушителей порядка он втыкал головой в сугроб или в профилактических целях показывал кулак, величиной со средний арбуз.

Сначала я жался к былинному старшине, а потом понял – каток и его окрестности совершенно безопасны. Это было волшебное ощущение защищенности, никогда в жизни, после катка «Динамо», я уже его не испытывал.

Билет на утреннее катание (с 10 до 15 часов) стоил 1 рубль; горячий чай, действительно горячий, с двумя кусками сахара – 30 копеек, трубочка вафельная с кремом – 1 рубль, чай без сахара – 10 копеек, точка коньков – 3 рубля.

В середине дня каток закрывали – чистили лед, убирали раздевалки; вечером включали гирлянды из цветных лампочек, и билет уже стоил 3 рубля, так что вечером я катался лишь после того, как окончил начальную школу.

Утром, за наш рваный целковый, мы слушали еще и лучшие в мире песни; заведующий радиоузлом, высокий длинный шкет купался в лучах своей популярности, знал себе цену, но к просьбам публики был снисходительным и заказы выполнял: пластинок у него были горы и среди них встречались редкие.

Каток был моей музыкальной школой.

На уроках пения в школе мы как начали петь в первом классе замечательную песню Дмитрия Кабалевского «Наш край»:

*То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.*

*Край родной, на век любимый,
Где найдешь еще такой! –*

так только в шестом классе добрались до последнего куплета:

*Детство наше золотое
Все светлее с каждым днем!
Под счастливою звездою
Мы живем в краю родном.*

Пение было занятием, мне прямо противопоказанным – ни слуха, ни голоса, голос, впрочем, был, но очень противный.

Я мог без труда и особых усилий испортить любое хоровое исполнение, поэтому учительница пения делала вид, что не замечает моего отсутствия на ее уроках.

Скажем прямо, каток требовал средств, но с этим я кое-как справлялся

Но каток требовал времени – со второго класса я учился во вторую смену, и в полдень надо было сворачиваться, чтобы не опоздать в школу, а я только раскатался – коньки сами катят, начинают получаться те вольты, что я подсмотрел у старших...

Собирались лодыри на урок,

А попали лодыри на каток...

Нужно ли говорить, что я начал прогуливать школу, о чем немедленно появилась запись в дневнике.

Не подумавши хорошенько, я решил сжечь дневник и не где-нибудь в школьном дворе, что прошло бы никем не замеченным, а в уборной нашей коммунальной квартиры.

Никогда ничего не делайте, не подумавши, особенно в уборной.

Естественно, задымил всю квартиру, засорил унитаз и был пойман с поличным, обвинен Еленой Михайловной в попытке поджога дома, что было недалеко от истины и, конечно, был образцово, с применением шкива, наказан матерью.

Она отобрала у меня коньки, выдавая их по воскресеньям.

Прокат был мне решительно не по карману, и тогда я однажды не вернул коньки родительнице, соврав, что их у меня украли.

Она потребовала, чтобы я посмотрел ей в глаза, и встретила мой взгляд, злой, твердый и нахальный.

Я был приведен к пионерской клятве и я, давно уже клятвопреступник, не дрогнувшим голосом сказал:

– Честное пионерское под двумя салютами.

Мать растерялась, а коньки тем временем были спрятаны в нашем сарае, но не со стороны двери, а с тыла, где была давно уже создана мною шевеленая доска – тайник, который

так никто и не обнаружил.

Но вскоре родительница нанесла мне ответный удар.

– Знаешь, Юра, ты совсем взрослый мальчик, вот уже школу прогуливаешь, – по этому вступлению я понял: ничего хорошего ждать не приходится, и возражать бесполезно.

– Когда я работаю в первую смену, я не успеваю купить ни молоко, ни овощи, ни яйца. Ты будешь утром ходить в магазин, покупать продукты по списку и отчитываться по дням...

Это был удар под дых, на катке можно было ставить крест.

Даже если идти к открытию магазинов, к восьми часам, что само по себе подозрительно – откуда такое рвение, все равно – везде очереди, и к 10 часам не справишься.

К тому же раньше я в очередях деньги зарабатывал на тот же каток, а теперь я буду с кошелкой таскаться на Сретенку в филипповскую булочную, «Гастроном» и чертову бакалею. На угол Даева переулка за яйцами, на Трубную – за дешевым разливным молоком, и главный пожиратель моего времени, просто гадский овощной на углу Большого Сергиевского и Трубной, где буквально каждая гнусная баба брала и картошку, и морковь, и свеклу, и капусту, и лук, и соленые огурцы – и все разновесное и на одного покупателя – 15-20 минут, а очереди – ого-го!

Мать не позволяла мне покупать больше 3 кг картошки за раз, чтобы я не надорвался – заботливая какая! Сумка в овощном при этом набиралась при этом на 5 кг, но я покупал

картошки на неделю, особенно если она была не гнилая, а сносная, связывал две авоськи и тащил их через плечо, недалеко, но в гору.

Отличная картошка на рынке стоила 3 на 5, то есть выходило по 1 рубль 66 копеек против рубля в магазине; и как же ненавидел я это родительское крохоборство.

«По театрам разгуливают, веера китайские приобретают, костюмы из шевиота по 600 целковых за метр шьют, а картошку на рынке себе позволить не могут», – ворчал я, возвращаясь с тяжелой ношей домой.

Молоко на Трубной надо было купить в первую очередь, к десяти часам оно могло закончиться. Молоко привозили из области в больших бидонах и переливали в стеклянные цилиндры, на которых были нанесены линии, на каждый литр объема. Разливное молоко шло по 2,20 литр; молочную бутылку надо было мыть, сдавать – лишняя морока, да и молоко стоило в таком случае 2,80 за литр, а качество его было хуже разливного.

У меня было два бидона – зимний трехлитровый и литровый летний – хранить молоко было негде; как и большинство советских людей о домашних холодильниках я и не слышал.

Молоко надо было покупать через день, овощи – раз или два в неделю, хлеб – каждый день, бакалею – пару раз в месяц.

Я сел за таблицу и понял, что можно устроить так, чтобы

утром покупать только молоко, свежий хлеб был доступен весь день, так что в филипповскую булочную и «Грибы-ягоды» – после школы.

Мать, которая запрягла меня ходить в продуктовые магазины, жульничала и вставляла в списки то синьку, то хозяйственное мыло 72%, нитки, мыло туалетное «Семейное» по рубль 58 копеек за большой кусок, зубной порошок, керосин – керосинка использовалась как вспомогательная к нашей конфорке мощность, осенью – замазку, мне не жалко, всё это можно было купить после школы и без больших очередей.

И я снова появился на катке.

Папа неделю набирал какие-то прејскуранты и купил мне «гаги» б/у, но на коньках стояло клеймо «Made in Sweden», что в корне меняло дело с заточкой – не чаще, чем в полтора месяца.

Я понимал, что нейтральные шведы из отличной стали делали коньки, а мы – танки, но все равно было обидно за державу.

Если бы одни коньки! А автомобили!

Мы ходили смотреть на них к «Метрополю» и «Националю». Мощь, размеры, формы, лак, роскошь салонов.

«Это они нарочно такие машины к нам завозят, чтобы ей-ной харей в мою рожу тыкать», – просвещенный читатель должен догадаться, что я в своем чтении уже и до Чехова добрался.

И все-то я понимал: на США не упала ни одна вражеская бомба (упали, в чистом поле две японских, с гидроплана, который японцы привезли к берегам Америки на подводной лодке в разобранном виде). Наша «Победа» – хорошая машина, а «ЗИС 111» – отличная (я не знал тогда, что это – американский «Паккард», скрещенный к тому же с «Бьюиком» и «Кадилаком»)..

И все же, все же, все же...

*Вьется легкий вечерний снежок,
Голубые мерцают огни,
И звенит под ногами каток,
Словно в давние школьные дни.
Вот ты мчишься туда, где огни,
Я зову, но тебя уже нет.
– Догони, догони! —
Ты лукаво кричишь мне в ответ.*

Если это – не классика, то на вас уже ничем не угодишь. Это не просто классика, это пела Зоя Рождественская!

Господи, ну почему мы даже на голоса так обнищали?

Военная и послевоенная песня – чудо, ростки которого взращивал великий Исаак Дунаевский еще в 30-е годы.

Еврейская музыкальная одаренность, скрещенная с проникновенными словами русских поэтов-песенников, именно песенников, все остальное, ими написанное, давно забылось,

а песни остались навсегда, дала богатые плоды.

«Катюша» была любимой мелодией вермахта.

Однажды, в День победы, я случайно попал на Ленинские (Воробьёвы) горы.

Я уже выпил за победу, печаль моя была светла, но у меня была припасена пятерка, однако на огромном пространстве Ленинских гор не было магазина, и я побрел в здание университета.

На солнечной поляночке вокруг красного нарядного шатра и флагштоков с двумя знаменами расположилась странная компания. Она вполне цивилизованно, со столами и стульями, стаканами и одноразовыми тарелками выпивала и закусывала, произнося тосты за нашу победу!

Майский ветерок развернул знамена – советский и ГДР...

Это немцы со слезами на глазах пели «Вставай страна огромная»!

Мне показалось это диким и кощунственным, но я только головой покачал. Однако мой скептический жест был замечен, и я был приглашен к столу.

Немцы мне рассказали много интересного на музыкальную тему. Оказывается, нацисты даже не стремились бороться с пристрастием арийцев к славянским песням и пытались переводить русские и советские песни на немецкий язык.

Сверхчеловеки балдели от «Огонька»: «На позиции девушка провожала бойца...». Они с восхищением слушали душераздирающее «С берез неслышен, невесом, слетает

желтый лист...» (Матвей Блантер – Михаил Исаковский).

Сначала наши бойцы считали, что советские песни немцы крутят на своих голосистых патефонах в виде издевки, но потом поняли, что к чему – в немецких блиндажах порой русских пластинок находили больше, чем немецких.

Музыкальную, песенную войну Германия проиграла начисто.

Посольские немцы пели здорово – многовековая хоровая культура, а меня единодушно избрали тамадой, что, признаюсь, было с их стороны весьма неосмотрительно. За четыре часа я уложил многих и был готов злодействовать и дальше, но антифашисты запросили пощады. Мне подарили литровую бутылку кюммеля и ящик немецкого пива. И я принял подношения только потому, что убедился – это были наши немцы, свои в доску – они заслужили право петь «Священную войну» и пить за нашу победу: старшее поколение поголовно воевало в Испании, в Отечественную войну – в Красной Армии или сидело при Гитлере.

Как же мне было стыдно, когда иуда Горбачев предал восьмидесятилетнего Героя Советского Союза Эриха Хонеккера, а мерзавец Ельцин в июле 1992 гола выдал смертельно больного раком старика немецкому буржуазному правосудию.

Но и немцам стало стыдно, и они отпустили бывшего главу ГДР в Чили, где он вскоре умер.

Эрих Хонеккер строил Магнитку, сидел в гитлеровской

тюрьме, а Ельцин отрубил себе пальцы, чтобы не служить в армии.

После войны засверкал талант русских композиторов Бориса Андреевича Мокроусова, Анатолия Григорьевича Новикова, успех которых был основан на том, что богатейшую музыкальную народную традицию, которую привил к советскому дичку еще гениальный Дуня, они довели до состояния эталона, который называется русской советской песней, военной, героической, трудовой и лирической.

Этот феномен нельзя даже сравнивать с тем г...ом, которое льет в уши современная эстрада, радио и ТВ, где бессмысленные или мерзкие тексты так удачно гармонируют с примитивными, тупыми или ворованными мелодиями.

Неспроста, когда петь стало совсем нечего, банда мародеров создала проект «Старые песни о главном».

«Старые песни»! Да ведь новых-то вовсе нет!

Так что радиоузел катка «Динамо» был моей высшей музыкальной школой, при том, что и агитпроповской серости, тупости и пошлости хватало, ибо пошлость – бессмертна и теперь, когда она подмяла под себя всё – и элитную культуру, и народную традицию, жить можно только прошлым, что я и делаю; впереди – одни айфоны и планшеты, но и на них можно слушать не только Елену Камбурову, Олега Погудина, Валентину Пономареву, Тамару Гвердцители и Ольгу Арефьеву, но и голоса былых лет – Георга Отса, Георгия Виногра-

дова, Вадима Козина, Людмилу Зыкину и Ивана Шмелева.

Новые шведские коньки я переклепал на старые ботинки, и мама держала в запертом ящике свои довоенные «гаги», выдавая мне их по воскресеньям, а я катался на отличной стали из железной руды Норчёпинга.

Репертуар радиста катка «Динамо» был в основном лирическим.

Глубоко ошибаются те, кто думает, что советская песня 40-х – 50-х годов – это о Сталине, партии, Родине, серпе и молоте.

Непотопляемый Утесов: «Луч луны упал на ваш портрет...», «Лунная рапсодия», «Если можешь, прости...».

Джаз-оркестр под управлением неубиваемого Александра Цфасмана: неувядаемое «Неудачное свидание» и томные «Утомленное солнце», «Возврата нет», «Мне бесконечно жаль...», но это, так сказать, декаданс 30-х.

Сладкоголосый до приторности Аркадий Погодин – это, конечно же, «В парке Чаир», манерное, еще мирного времени изделие:

*В парке Чаир распускаются розы,
В парке Чаир расцветает миндаль.*

Прекрасный певец Иван Дмитриевич Шмелев неподражимо пел и танго тридцатых, и песни Мокроусова «Одинокая

гармонь» и «На Волге широкой»:

*На Волге широкой, на стрелке далекой
Гудками кого-то зовет пароход...*

«Коронкой» Владимира Нечаева была чудесная песня:

*В городском саду играет
духовой оркестр.
На скамейке, где сидишь ты,
нет свободных мест...*

Георгий Виноградов – это, прежде всего, «В лесу прифронтовом».

Есть несколько советских военных песен-загадок. Конечно, они – прежде всего, блестящие образцы любовной лирики, но они же и воевали, как заправские солдаты: «В лесу прифронтовом», «Смуглянка», «Горит свечи огарочек», «На солнечной поляночке», «Соловьи», «Эх, дороги» – боюсь, что перечень может занять много места.

Каждый заметный советский фильм – это один, а то и два шлягера на долгие годы, те самые, что нынешние безголосые «поющие бензоколонки» поют до сих пор.

Незабвенные «Кубанские казаки» – «Каким ты был, таким ты и остался» и яростная «Урожайная».

«Я всю войну тебя ждала», – как это смешно и нелепо, не правда ли.

«Верные друзья» – «Что так сердце, что так сердце рас- тревожено»; «Разные судьбы» – вальс выпускников и романс Рощина.

А мою любимую песню «Летят перелетные птицы», – исполняет ныне потасканный эмигрант Вилли Токарев – горь-кая насмешка времени...

Каток замедлил темп, некоторые и вовсе остановились, когда впервые Вера Красовицкая звонко и задушевно выве-ла в морозной утренней ясности:

*На крылечке твоём
Каждый вечер вдвоём
Мы подолгу стоим
И расстаться не можем на миг...
Я люблю тебя так,
Что не сможешь никак
Ты меня никогда, никогда,
Никогда разлюбить...*

Эти песни были прекрасны не потому, что они учили бла-городству чувств, чести, верности, ответственности – это можно делать плохо и неумело, они были прекрасны, пото-му что были совершенны, в них не было назидательности, а звучало сильное и искреннее чувство.

И именно эти песни в своих скромных жилищах за небо-гато, но щедро накрытым столом пел народ: родственники,

друзья, подруги, люди разных поколений.

Народ принял эти песни как свои, будто он сам их сочинил, а Блантер, Мокроусов и другие лишь положили на ноты его, народа, заветную мелодию, а Фатьянов и Исаковский лишь угадали слова, созревшие в душах миллионов людей, исстрадавшихся и в войне, и в мире, и чающих радости и любви:

*Осенние листья шумят и шумят в саду.
Знакомой тропой я рядом с тобой иду.
И счастлив лишь тот, в ком сердце поет,
С кем рядом любимый идет...*

В фильме Юрия Егорова «Простая история» есть жуткая сцена – деревенские, совсем молодые еще вдовы навзрыд поют за бутылкой водки:

*Всё, что было задумано, то исполнится срок, –
Не погаснет без времени золотой огонёк!*

Мороз по коже, выть хочется.

В праздник, по памятным датам собирались не столько выпить-закусить, но спеть заветные, любимые песни.

Я не помню, чтобы звучали в застолье песни о Сталине-Ленине, партии и борьбе за советскую власть.

Но «Сормовская лирическая», «Каким ты был, таким

остался», «На крылечке твоём», «Когда умчат тебя составы», «Одинокая гармонь», «Осенние листья шумят и шумят в саду», «Милый друг, наконец-то мы вместе» пели обязательно.

И в наступившем молчании («тихий ангел пролетел, милиционер родился») чей-нибудь отчаянно высокий женский, обязательно женский голос заводил:

*Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет,
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет.
На нем погоны золотые
И яркий орден на груди,
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненной пути.*

И такая безнадежная тоска звенела в этом голосе: милого-то нет, это всё пустые мечты, и ничего уже не будет, и надежды никакой не осталось, а милый ее лежит в братской могиле около некой деревни Крюково, у безымянной высоты.

А как пели! Большая часть этих домашних компаний – была готовые церковные хоры, какие голоса, какие крест-накрест перечеркнутые судьбы.

Учитывая возрастной состав посетителей, радист не забывал и про «Чибиса»: «У дороги чибис, у дороги чибис...»; и про «Марш нахимовцев», и про ветер:

*А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обширил все на свете
И все на свете песенки слышал.
Кто привык за победу бороться
С нами вместе пускай запоем.
Кто весел, тот смеется,
Кто хочет, тот добьется,
Кто ищет, тот всегда найдет!*

Иногда над катком звучал незнакомый, необыкновенно привлекательный голос: «Аникуша, Аникуша, знала бы страдания мои», так жалобно выводил незнакомый певец, или заливчатый «Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый», а знаменитый романс в неожиданном варианте был и вовсе неподражаем:

*Был день осенний, и листья грустно опадали,
В последних астрах печаль хрустальная жила.
Грусти тогда с тобою мы не знали –
Ведь мы любили, и для нас весна цвела.*

Я, конечно, не знал, что это – Петр Лещенко, певец с мировым именем, трогательный, пошловатый в меру, и бесконечно музыкальный, скончавшийся в тюрьме румынской госбезопасности в 1954 году.

Это вам не лирическая колхозная «Загудели, заиграли

провода, мы такого не видали никогда» или «На деревне расставание поют, провожают гармониста в институт» в исполнении, между тем, самого Сергея Яковлевича Лемешева.

Еще один волшебный голос и волшебная мелодия: Вадим Козин, «Осень»:

*Осень, прозрачное утро.
Небо как будто в тумане,
Даль из тонов перламутра,
Солнце холодное, ранее...
Не уходи, тебя я умоляю, -*

Кто этого не слышал именно в исполнении Козина, тот, почитай, ничего не слышал и прожил молодость напрасно.

Вообще, с нашими певчими сидельцами приключались занятные истории.

Я, конечно, имею в виду совсем не то, что великая Русланова оказалась в Озерлаге – Тайшетском филиале ГУЛАГа, потом во Владимирском центре, лучший Герман («Пиковая дама») столетия – Николай Печковский – в Инте – Лефортове – Сибири, а фантастический Козин – в Магадане, в 1950 году его освободили, но он навсегда остался в столице Колымского края.

Забавно то, что их пластинки не запретили и «остатки на базах» было разрешено пустить в розничную продажу «без излишней рекламы».

Транслировать Козина и Русланову не разрешалось, а Петр Лещенко был иностранцем, и про него никаких распоряжений не было.

В 1950 году Козина освободили «за примерное поведение» и запрет на него был отменен.

Русланову я слышал в публичной трансляции, да и вряд ли кто-то контролировал эти запреты.

Москвичка Нина Дорда, прошедшая школу мастерства в оркестре могучего Центрального Дома культуры железнодорожников под управлением Дмитрия Покрасса, блиставшая в ресторане «Москва», а в 1954 году – солистка джаза самого Эдди Рознера; Гелена Великанова с ее польско-литовскими корнями; чешка Ружена Сикора со знаменитой песней «Я тебе писать не стану...», украинка Капиталина Лазоренко – вот вполне интернациональное созвездие советской эстрады 40х – 50х годов.

Впрочем, тогда нынешнее понятие «звезда» имело несколько западный привкус и было не в чести.

Примадонной, опять же в рамках сегодняшней градации, была подлинная глыба советского эстрадного вокала – Клавдия Ивановна Шульженко, к которой я был и остаюсь равнодушен.

Лучшие свои песни она разыгрывала как маленькие спектакли: «Помню первый студенческий вальс...» – и вся жизнь помещалась в историю трех вальсов – шедевр Клавдии Ивановны.

Однажды золотым бабьим летом 1954 года я поднимался с овощными кошелками по Большому Сергиевскому переулку.

Из распахнутого эркера пятого дома я услышал нечто непонятное:

– Padam, padam, padam, – лилось из окна на багряные кле-ны школьного двора, – Padam, padam, padam, – это не нуждалось в переводе – сколько боли, отчаяния и воли к жизни было в этих мучительных звуках.

Я остолбенел.

Песню пела актриса на чужом языке...

Она пела по-французски, четко и твердо произнося звук «р», голос был сильный и настолько необычный, что сразу приобрел надо мной необъяснимую власть.

Тогда я, понятное дело, не знал, что такое пение называется «на разрыв аорты».

Я опустил сумки на землю и стоял, оцепеневший, и после того, как кончилось невыносимое пение.

«Padam, padam, padam», – звучало во мне и перехватывало горло.

Я хотел войти в подъезд, разыскать квартиру с этим чертовым эркером и спросить, кто это у вас там поет так, что у мальчиков на улице происходит головокружение.

Моя стеснительность и отсутствие воспитания не позволили мне это сделать.

«Так воспитаньем, слава Богу, у нас немудрено блеснуть» – это явно не про наше поколение.

Мои скудные навыки по этой части сводились к тому, что нельзя пукать в компании, и еще, когдаходишь в помещение, надо здороваться, а чавкать, наоборот, не надо, о чем я постоянно забывал.

Сморкаться в занавески и вытирать о них жирные руки мне и в голову не приходило, потому что вокруг меня никто так не поступал.

Но вот как войти к незнакомым людям, как с ними заговорить («обратиться к ним с разговором приличным»), куда встать, куда девать руки, – все это такая мука, если тебя с младых ногтей не приучили, как положено это делать.

Это отсутствие твердого навыка правильного поведения очень долго мешало мне жить.

Теперь, когда церемонии исчезли, манеры упростились, а пороки стали нравами, воспитанные люди перевелись или стали так редки, что вовсе не делают погоды.

Нашему поколению отнюдь не помешали бы уроки хорошего тона с первого класса начальной школы, но где же было найти учителей светских манер и этикета, их почти всех перебили.

Вот и получалось, что выйти в туалет в гостях становилось неразрешимой задачей, и лучше уж было перетерпеть.

Я много раз специально ходил мимо этого дома, этого эркера, где прозвучало необычайное пение, но лишь однажды я еще раз услышал душераздирающее: «Padam, padam, padam»...

Что он Гекубе, что ему Гекуба, а вот, поди ты – как поразила она меня.

Это было мое сокровенное знание: есть на свете такая певица, которая не похожа ни на кого, которая непостижимым образом вывихивает твою душу так, что хочется плакать, хотя разводить сырость меня отучали с младенчества.

Я угадал, что она не может быть похожа на других эстрадных певиц и когда, по прошествии лет я увидел по телевидению кадры её триумфального выхода на сцену, я был поражен: нечто такое я себе и представлял – нахохлившийся воробышек...

Но какая непобежденная сила и какая пронзительная боль!

Другое мощнейшее музыкальное переживание детства – Концерт для фортепьяно с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского.

Я очень рано понял, что этот концерт написан обо мне, о моей душе, о моей судьбе, и в течение жизни только все глубже убеждался в этом.

Я не знал даже того, что можно купить пластинку с «Первым концертом», вокруг меня никто не слушал симфонической музыки.

Я не пропускал музыкальных передач по радио, но для детей там звучал неизменный «Петя и Волк» Сергея Прокофьева, который меня не трогал.

Рассказы о том, как Бетховен разочаровался в Наполеоне, и что из этого вышло – довольно неуклюжие попытки пере-сказать музыку словами, не могли помочь мне преодолеть мое музыкальное невежество.

Были абонементы для детей и юношества в Консерватории и в Колонном зале, но я об этом ничего не ведал, да и откуда.

Иногда я слышал по трансляции сильные, волнующие звуки, но это все было отрывочно и в систему не выстраивалось.

Когда на Первом конкурсе Чайковского в Москве в 1958 году лауреатом стал американец Ван Клиберн, появилась реклама пластинки с «Первым концертом» в его исполнении, я отправился в Петровский пассаж и был несказанно удивлен тем, что божественная музыка стоила всего 7 рублей.

Вот так же Омар Хайям поражался тому, что виноторговцы продают вино, вместо того, чтобы выпить его самим.

В «Первом концерте» для меня навсегда остался невыносимо болезненным тот момент, когда рояль не может выговориться, преодолеть затруднение – то ли он сам боится правды, того, что хочет и робеет сказать, то ли ему мешают, и вдруг мощно, полной грудью вступает оркестр.

Так бывает, когда мысль уже родилась, но не нашла ещё достойной словесной оболочки, так бывает, когда уже хо-

чешь писать, но боишься первой строки, так бывает, когда мучаешься от удушья, от невозможности свежего дыхания, и вдруг голая суть прорывается через все спазмы, через страх, через отчаяние – и дышится, и пишется, и так легко, легко.

Я и по сей день слушаю симфоническую музыку только в полном одиночестве.

Я не хочу, чтобы кто-то видел мои слезы, моё смятение, моё потрясение и умиротворенную усталость, почти предсмертную истому.

Как-то я случайно наткнулся на телепередачу, где Тимур Кибиров и Лев Рубинштейн, вспоминая свою советскую молодость, стебаясь и выделываясь, пели песню:

*Мне хорошо, колосья раздвигая
Сюда ходить вечернею порой.
Стеной стоит пшеница золотая
По сторонам дорожки полевой.*

Мне стало смешно и грустно – вы чего так стесняетесь, литераторы?

Того, что вы русские?

Так это судьба.

Того, что вы советские?

Да, мы советские, но мы в КПСС не вступали, в КГБ не наушничали, мы даже посмели противостоять власти, а она не была склонна миндальничать.

Спевшемуся за бутылкой водочки дуэту, скорее всего, не впервой случалось исполнять в охотку советские песни, и было видно, что пение доставляет друзьям немалое удовольствие, и все же их отчего-то ломало и крючило:

*Всю ночь поют в пиеннице перепелки
О том, что будет урожайный год.
Еще о том, что за рекой в поселке
Моя любовь, моя судьба живет.*

Перепелки смущают?

Так они и во Франции перепелки...

Истории нашей стыдно?

Да какая уж есть, она уже случилась, и другой не будет.

История не может быть плохой или хорошей, она может быть великой и трагической, а бывает серенькой и благополучной.

Из стыда за нашу историю проистекают два равно пакостных следствия – желание ее подправить, подкрасить, что-то из нее изъять, похерить, вырвать страницы и забыть, чем постоянно занимается российская власть, и советская и буржуазная.

Другое, не менее мерзкое занятие – удел части нашей на глазах умирающей гуманитарной интеллигенции – напялить рубище, расчесать коросты и кликушески вопить о том, что мы, русские, – ужас мира, стыд природы, укор мы Богу на земле.

И то, и другое проистекает из недостатка мужества и поврежденной нравственности, от близорукости или дальности исторического зрения.

И всё это – неправда. Постыдных страниц в нашей истории хватает, но их не больше, чем в прошлом США, Англии, Германии, Франции или Китая. И в чем-то мы – стыд природы, а в чем то – её украшение. И о том и другом надо помнить.

История России – это моя личная история. Я в ней как в своем доме, на родном пепелище.

Наши либералы любят вспоминать фразу Пушкина, сказанную им в сердцах: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом».

Но в письме к П. Я. Чаадаеву, обдуманном и взвешенном, Александр Сергеевич утверждает: «Клянусь честью, ни за что на свете не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю кроме истории наших предков, такой, какой Бог нам её дал».

Что ж, здесь не прибавить, не убавить...

Двадцатый век был веком мировых войн, великих революций, грандиозных свершений, а что мы видим ныне – слякоть, трусость, фальшивую толерантность и, конечно, торгашество и стремительный технический прогресс, который и правит бал.

Простившись в 1957 году с родным пепелищем, я вско-

ре расстался и с катком «Динамо», ездить было далеко и неудобно, в январе 1959 года открыли долгожданную станцию метро «Университет», и с Ломоносовского проспекта стало легко добираться до Лужников, где заливали овал вокруг Большой спортивной арены.

В Лужниках не было ни засилья местной шпаны, ни тенистых аллей Сокольников и парка Горького; каток был относительно безопасный, а лед – сносный.

Мощные репродукторы гремели музыкой, но она потеряла свою интимность и четкое звучание катка «Динамо», и мое музыкальное образование приостановилось.

Старый Новый год компания родителей всегда отмечала у нас, несмотря на то, что было отчаянно тесно.

Мероприятие называлось «складчина», все участники скидывались по определенной сумме, равной с мужского носа, и – поменьше с женского.

Послабление женщинам объяснялось тем, что они якобы не пили водку, но это только так считалось, потому что начав с «красенького», большинство дам (но не мама), задав для приличия риторический вопрос:

– Как она, родимая, под селедочку? – переходило на «белую головку».

Впрочем, выпивали всё, до доньшка, до последней капли. Сбрасывались, самые стойкие отправлялись в «Гастроном», и через минут 20-30 пир шел коромыслом.

Еду, кроме холодных закусок, приносили с собой – холодец, мясной, с чесноком и хреном, был за Носиковскими, Борисом Моисеевичем и его женой, тетей Паней.

Борис Моисеевич, наборщик-виртуоз, был по происхождению молдавский еврей, он, вместе с Бессарабией, достался румынской короне, затем шпионил по части Коминтерна в Германии.

Когда Носик почувствовал слежку гестапо, он ушел в Польшу, а летом 1939 года с годовалым сыном и женой Лией, членом польской секции Коммунистического Интернационала, перешел советскую границу, и тут он очевидного маху дал.

Ему надо было куда-нибудь в Швецию уплыть, но коммунистические убеждения, как правило, не совместимы со здравым смыслом.

Лия была очень скоро арестована и расстреляна как неизвестно кто, потому что объявить ее шпионкой дружественной Германии даже шутники с Лубянки не решились бы.

Польша, «это уродливое детище Версальского договора», уже прекратила свое историческое существование, Америка была слишком далеко от польской еврейки, оставалась, правда, Англия.

Но Бориса Моисеевича, невесть почему, не тронули.

Во время войны он добровольцем пошел в армию и служил диктором МГУ – мощной громкоговорительной установки, при помощи которой наше командование тщетно пы-

талось разложить войска противника. Немцы стали поддаваться нашим призывам сложить оружие только в 45 году, да и то неохотно.

Однако, румыны в декабре 1942 года, после страстных призывов Носика, обещавшего им трехразовое питание, горячую пищу, теплый и чистый лагерь для военнопленных, то есть то, чего у нас и для самих себя в помине не было, сдавались толпами.

Надо сказать, что маршал Тимошенко, своей волей отпустивший итальянских пленных восвояси, убил своим великодушием армию Дуче, которая вообще перестала воевать, и Гитлер согласился с графом Чиано, что для всех будет лучше, если «римские непобедимые легионы» вернутся домой.

Борис Моисеевич довоевал до победы, был тяжело ранен, имел боевые награды. Вернувшись домой, он разыскал сына и женился на чувашке, вдове солдата, у которой тоже был сын, родившийся перед войной.

Так что семья Носиковских была сборная, как и многие брачные союзы, возникшие после войны.

Мама варила картошку – горячее блюдо, Шпигельштейны приносили здоровенный шмат сала с одесского привоза, и наладчик линотипов, «инструктор», великан и здоровяк дядя Миша Шпигельштейн неизменно пояснял:

– Мы, евреи, очень любим сало.

Он, душа компании, умер, не дотянув до сорока – прилег отдохнуть и не проснулся.

Царица стола – селедка. Каспийский залом, пузанок, дунайская или королева сельдей – полуметровая жупановская сельдь, прозрачная от жира. Под колечками репчатого лука, щедро политая маслом, сельдь; шпроты, салат оливье, любительская колбаса, сыр, сало, холодец, заливная рыба, капуста провансаль, огурчики соленые и грибы соленые и маринованные; нам, детям, намазывали от души бутерброды с икрой – на столе места свободного не оставалось.

Синдром военного голода и блокады, впрочем, съедали почти всё, жены не забывали напоминать мужьям:

– Ты закусывай, закусывай, вот сала возьми...

Застольные беседы, градус которых был значительно повышен обильными возлияниями, никогда не касались политики, ни внутренней, ни внешней.

Словно и не полыхала война в Корее, не был арестован министр госбезопасности В.С. Абакумов, не примучивали власти население каждый год займами восстановления народного хозяйства.

Говорили, преимущественно, о работе, о житейских передрягах в семьях знакомых и родных, об удачных покупках – каждая обновка – пальто, платье, туфли – событие, и были достойны обсуждения.

Чем выше был градус выпитого, тем громче становилась беседа, но невидимые, но строгие границы она никогда не переходила.

И, конечно, украшение праздника – застольное пение.

Подвыпивший Носиковский требовал без конца одно и то же – «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...», он вообще был большой любитель русской народной песни, а дядя Миша Шпигельштейн, одессит, родившийся у «самого синего в мире» Черного моря, всегда просил «Голубку»:

*О, голубка моя,
Будь со мною, молю,
В этом синем и пенном просторе,
В дальнем родном краю.*

И линотипистка Нина Панюшкина, молодая красивая вдова, своим чудесным русским грудным голосом вела хор.

С нашей стороны был жених, приемный сын двоюродного брата бабы Мани, Антона, неудачник Георгий.

Георгий учился в техникуме телефонной связи, когда ему предложили службу в МГБ.

Что могло быть завиднее подобной стези?

Георгий спал и видел себя лейтенантом с золотыми погонами; он был так уверен в своей карьере, что на радостях даже женился на девушке, с которой встречался уже год.

Но молодая жена оказалась поповской внучкой, что она тщательно скрывала от жениха, и в МГБ Георгия не взяли, как человека с сомнительными родственниками, торговавшими вразнос и распивочно опиумом для народа.

Несостоявшийся офицер развелся с обманщицей, запил

по-черному, и уехал в город Кишинев, где в мертвецки пьяном состоянии женился на молдаванке с двумя маленькими детьми.

Но новая жена в скором времени присела на пять лет за спекуляцию ширпотребом, детей забрали в детдом, а Георгий второй раз развелся и вернулся к родителям в Москву.

Теперь все женщины компании вознамерились женить его на молодой вдове.

«Зачем он ей, такой нужен?», – недоумевал я – Георгий был большой любитель выпить, но хмелел быстро, тогда как все остальные участники застолья могли выпить много, а, честно говоря, очень много, что и делали неукоснительно.

Я лазал под столом, поражаясь тому, какие затейливые кренделя выделывали ноги взрослых под скатертью.

Впрочем, флирт был самый невинный, жены зорко следили за мужьями, при тогдашнем избытке женщин и малочисленности мужчин, муж был ценным движимым имуществом.

Георгия все же женили на Нине Панюшкиной, у них родилась дочь, но троеженец пил все сильнее, и когда узнал, что уже два года как по амнистии 1953 года вышла на свободу его вторая жена, он опять уехал в Кишинев, где и сгинул окончательно.

Но чаще складчины устраивали у четы Носиковских, которые жили в большой коммуналке неподалеку от нас, в Уланском переулке.

У них была комната площадью 27 квадратных метров, что позволяло даже танцевать под патефон.

У нас танцы устраивали во дворе, электрик Коля Хлоп выводил переноску на шесте, нашу радиолу «Рекорд» ставили на венский стул, и медленное танго «Брызги шампанского» собирало желающих потолкаться на пяточке, о чем вспоминал Юрий Визбор:

*Да, вот это наше поколение –
Рудиментом в нынешних мирах,
Словно полужесткие крепления
Или радиолы во дворах...*

Сводные братья Носиковские были прибалтненной шпаной, между собой они жили дружно и по отношению ко мне выступали наставниками.

Они научили меня курить, подарили мне историю древнего мира, где статуе Геракла, опирающегося на палицу, был чернильным карандашом пририсован половой член, размерами значительно превышающий неслабую палицу.

– Вы возьмите Юру и погуляйте на Чистых прудах, – говорила сыновьям тетя Паня.

Пиво на Чистых прудах мне решительно не понравилось – горькое и от пива начинала болеть голова.

В кинотеатре «Современник» братаны со своей теплой компанией скупали билеты и потом продавали их по двойной цене.

Так что однажды не они меня, а я их привел домой, они были совсем пьяненькие и норовили заснуть на улице.

Был чудесный зеленый май, у метро «Кировская» гремел духовой оркестр, дети на Чистопрудном бульваре бегали с кустарными вертушками и красными флажками, фланировали разряженные парочки, трамвайные звонки звучали празднично, вечером расцветал салют, я был счастлив возле Сретенских ворот, и жизнь была прекрасна.

После осенних каникул 1953 года мы пришли в школу № 238, нашу наконец-то поставили на капитальный ремонт.

Колька Фиолетов лишился своего коронного номера.

238-я школа располагалась за Сретенским монастырем, в кельях которого, уютившихся в монастырской стене, еще теплились последние остатки иноческой жизни.

Пожилые люди в странных черных одеждах старались быть как можно незаметнее, а мы бегали за ними и кричали:

*Гром гремит, земля трясется,
Поп на курище несется.*

Однажды на Ваганьковском кладбище неверующая баба Маня пошла в храм Воскресения Словущего поставить свечку за упокой, а я решил обойти церковь.

Я залез на довольно высокий могильный камень и в за-решеченное окно увидел, как толстый поп с огненно-рыжей

бородой считал деньги, пачки которых лежали на столе с какой-то церковной утварью, и бросал сосчитанное в огромную корзину.

Он делал это так смачно, что выдавало в нем бывалого картежника, что я сразу понял – вот где она суть.

В церкви накурено ладаном, горят свечи, торжественно звучит зауспокойное пение, слышны приглушенные рыдания, а как результат всех манипуляций – рыжий мошенник слюнит пальцы и лихо сдает купюры в корзину.

Сама идея посредничества между Богом и верующим до сих пор кажется мне вздорной и нечистоплотной.

Религия и сейчас не имеет никакого значения для жизни практически всех людей, как тех, кто не верует, так и для тех, кто считает себя верующими – эти исполняют обряды, но живут вовсе не по христианским заповедям, а по обстоятельствам, понятиям и, реже всего – по закону юридическому.

Нашу школу растасовали по разным по району, Мария Александровна осталась с нами, чему я был искренне рад.

Ходить в новую школу было недалеко: по Сретенке, через Сретенские ворота и два шага по улице Дзержинского (Большой Лубянке).

Был и еще один ход – через каменный забор на Рождественский бульвар, а там по проходным дворам, через Печатников переулок – и дома.

Второй путь был короче, но перелезть забор со стороны бульвара было трудно, поэтому – в школу через улицы и монастырь, а восвояси – через бульвар.

6 марта 1953 года этот путь должен был стать для меня последним, но я сохранил хладнокровие, и спас нашу компанию из четырех человек, но об этом позже.

В 1954 году вернули совместное обучение: никто из мальчиков не пожелал сидеть за одной партой с девчонкой, а я легко согласился.

Мария Александровна не приказала, а предложила нам выбрать себе соседку, так я оказался рядом с рыжей Бертой.

Я знал, что она живет в конце нашего переулка; ее отец был художник-оформитель витрин различных магазинов; он помогал нам рисовать стенную газету – я опять попал в редакторы.

Берта была отличная девчонка, настоящий друг, и чтобы глупости какие – ни-ни.

Одно было плохо – она млела в моем присутствии и в отсутствие, наверное, тоже.

Она стала вдруг завивать локоны, ее мама, домашняя хозяйка, тетя Циля, всё замечала и всё понимала, но вида не подавала и не вмешивалась в наши отношения, меня она всячески привечала и закармливала.

Вообще у них была хорошая, дружная семья, Берта была единственным ребенком, а отец семейства, дядя Наум, не пил, совсем не пил, он был вторым после Коли Хлопа, со-

вершенно непьющий взрослый мужчина моего детства.

У родителей Берты были две большие смежные комнаты, просторно стояла старая мебель.

Особенно мне нравились толстые наборные стекла серванта и шкафов, с медной окантовкой, с косыми фасками, на которых иногда вспыхивала радуга – это было красиво, солидно, нарядно.

В шкафах, кроме классиков издания Брокгауза – не дешевых приложений к «Ниве», а тех мощных томов энциклопедического формата в черной коже – Пушкина, Гёте, Шиллера, Шекспира, Байрона, покоились еврейские книги с их непривычным алфавитом.

Никто, кроме меня, их не раскрывал, а я в них, естественно, ничего понять не мог, но мне нравилась потертая кожа их переплетов – когда-то они были в ходу: их читали в еврейский шабат, затворив ставни, возжегши менору и накинув на плечи черно-белый талес.

Дед дяди Миши Шпигельштейна был раввином, и инструктор наборного цеха любил наряду с еврейскими анекдотами рассказывать забавные истории из быта синагоги – «Мелочи архиерейской жизни» в своем роде.

Мы ходили с Бертой на каток, но она едва стояла на коньках, иной раз гуляли по бульварам, где не было засилья шпаны, ходили любоваться витриной магазина «Охотник – рыболов» на Неглинной; Берта охотно провожала меня в марочный магазин на Кузнецком мосту, хотя сама марки не со-

бирала.

Иной раз мы совершали дальние прогулки всё по тем же бульварам, но я относился к Берте как к другу, как к сестре, и все её завлекалочки – завитые локоны и другие женские хитрости били мимо цели.

Осенью 52-го года со мной стало происходить нечто странное: я просыпался среди ночи и произносил страстные, но неуместные или непонятные речи.

Я то уверял, что льдина треснула, и нам нужно срочно переносить палатку, то предупреждал, что немцы идут по домам и ищут подпольщиков.

Мама повела меня к врачу, мы посетили трех врачей: одного с молоточком и забавной просьбой следить глазами за движениями его руки, последним был районный детский психиатр.

Так состоялось мое первое знакомство с советской психиатрией, тогда еще не карательной.

Врач с буйными кудрями, тронутыми ранней сединой, мне показался тихо помешанным – это свойственно многим душеведам, долго беседовал со мной, потом выслал в коридор, закоулок был пуст, и никто не мешал мне подслушивать.

Я узнал, что я – мальчик необычайно впечатлительный, с повышенной возбудимостью.

Врач сказал, что я опережаю возрастное развитие, что у меня богатая речь и явные задатки оратора – все это было

весьма лестно.

– Надо контролировать чтение сына, его галлюцинации имеют очевидное книжное происхождение. Я пропишу ему успокаивающие препараты – никакой химии, настойки трав. Постарайтесь вообще ограничить умственные занятия, пусть больше гуляет, занимается спортом. Старайтесь создать дома спокойную, благожелательную обстановку. Я дам ему освобождение на один дополнительный выходной от школы день, который он будет выбирать сам, по желанию.

Радости моей не было предела – я сразу оценил богатство открывающихся передо мной возможностей.

Я тут же стал прикидывать, как половчее запутать семью и школу, какой именно у меня день свободный, а какой – табельный.

«Теперь я психический, и справку дадут – рассуждал я, – и связываться со мной многие поостерегутся. Теперь можно поджечь гараж Миши-спекулянта из 24-го дома – мне все равно ничего не будет».

Дома мама отобрала у меня книгу о покорении Южного и Северного полюса и выдала «Корейские народные сказки».

В школе Мария Александровна, прочитав мою справку-освобождение, посмотрела на меня сочувственно, и я понял: руки у меня развязаны.

Известие о том, что я – психический, разнеслось неведомым образом со скоростью молнии по всей школе.

Я купался в лучах славы, на меня приходили посмотреть

не только нянечки и завхоз, но и учителя.

Я высока, снисходительно, но терпеливо отвечал на вопросы профанов:

– Слюна у меня не ядовитая, смирительной рубашки на меня пока не надевали, припадки бывают редко, но такие, что мама не горюй – всё кругом в дымящихся развалинах, так что меня лучше не доводить; видения бывают разные, в том числе и Тихвинской Божьей матери (этот вариант специально для нянечек), предсказывать будущее мне запрещено, в полнолуние я по крышам не гуляю – надоело, да и какие это крыши – не выше пятого этажа, нам, лунатикам, меньше десяти этажей интереса нет.

– Я такой же, как и вы, но особенный, исключительно впечатлительный и нервный, – объяснял я, стараясь быть скромным.

Мой дополнительный выходной произвел на одноклассников такое ошеломляющее впечатление, что они верили каждому моему слову – было, где разгуляться.

Разумеется, я говорил, что мне вообще врач предложил ходить в школу один раз в неделю, но я сам сказал: два свободных дня и баста.

Под строжайшим секретом я поведал приятелям, что мои необычные способности изучаются в одном совершенно закрытом почтовом ящике и, возможно, они, способности, имеют важное оборонное значение.

Нетрудно догадаться, что один день превратился в два –

я ссылался на забывчивость и рассеянность чрезвычайную, что было встречено с пониманием, сочувствием и потаканием.

Ума хватило – я не перестал вовсе ходить в школу, но чувствовал себя необыкновенно вольготно.

Свободное время я делил зимой между катком и запойным чтением.

Под руководством папы я в начале учебного года обертывал учебники в плотную цветную бумагу и наклеивал этикетки: арифметика, русский язык.

Так что обмануть бабу Маню ничего не стоило – обертка с «Родной речи» надевалась на «Тома Сойера» или «Всадника без головы», и я долго радовал родителей усердием в учебе и отсутствием галлюцинаций.

Но сколь веревочке не виться...

Весной наша компания совершала обязательное паломничество на хозяйственный двор Рижского вокзала. Там была огромная площадка, куда привозили металлолом промышленных предприятий, и к ней вело множество тайных троп.

Площадка не охранялась, нас иногда шугали рабочие, которые при помощи мощного электромагнита грузили лом черного металла и отправляли его на переплавку.

В этой свалке приходили копаться взрослые мастеровые люди с набором инструментов. Они изымали из индустриального хлама какие-то узлы, отдельные части, отрезали ка-

кие-то трубки, цилиндры.

Нас интересовали, прежде всего, подшипники, но случались и неожиданные находки: как-то раз я наткнулся на заготовки каких-то вилок и не сразу понял, что это – идеальные рогатки, только ручка коротковата.

Металлическая рогатка насаживалась на деревянную рукоять, такого совершенного оружия не было ни у кого в округе.

Другой раз кто-то из нашей компании нашел россыпь стальных полированных некондиционных шариков – идеальный боеприпас к идеальному оружию.

Сколько же всякого металлического хлама мы приносили на себе, трудно представить; причем большая часть этого лома не имела никакого практического применения.

Здоровенные конусообразные цилиндрические подшипники пристроить было решительно некуда, но они так грозно блестели, были так совершенны, что побороть соблазн не было сил.

И мы везли неподъемные сумки на троллейбусе, а потом, пыхтели от Сретенских ворот до дома, где ненужные узлы и механизмы надолго оседали в сарае, пока осенью, после покупки дров, отец не выносил мои ценности на помойку.

Другим поставщиком металлических изделий был завод сельскохозяйственных машин, что был расположен в Петровском монастыре.

Вход на предприятие со стороны Крапивенского переуллка

с его замечательным узорным, разноцветного кирпича, угловым домом не охранялся; жнейки-лобогрейки сомкнутыми рядами теснились во дворе, но добыча на монастырском заводе была не такой богатой, как на железной дороге.

Подшипники и то, что годилось на оси и крепления, было основой дворового самокатостроения.

Самокат – это неполноценная замена велосипеда, хрустальной мечты каждого уличного мальчика.

Самокат становился опасным видом спорта – если на крутом уклоне Сретенского холма на полном разгоне вылететь на бульжник: раздавался отчаянный визг стали и начинались дикие скачки и кульбиты, руль с дикой силой норовил вырваться из рук; иной раз подшипник со звоном разлетался на части.

Но мне везло, я отделялся ушибами и ссадинами.

Тщетно я доказывал отцу, что смогу прекрасно кататься на «Орленке»; все время находилось что-нибудь более необходимое семье, чем мой велосипед.

Я вообще очень критично относился к тому, как родители тратили деньги.

Я подсчитал, что нам по карману была и картошка с рынка, и телевизор КВН-49, и чудесный «Орленок» шауляйского производства, который я давно присмотрел в Петровском пассаже.

Отец получал 1200 рублей, мать – 900, бабушка – 210, плюс к тому отцовская халтура и темные дела с Ромкой-та-

тарином.

Я проследил за отцом и Ромкой: они время от времени таскали какие-то тюки на Пятницкий рынок, где татары покупали конину, и на Зацепу.

Там они сдавали поклажу неким явно сомнительным личностям и получали деньги.

Впоследствии выяснилось, что в тюки были уложены женские душегрейки, крытые плюшем, цветущим яркими ядовитыми цветами – самые модные в деревне.

Эти душегрейки в Москве никто не носил, поэтому их можно было отоварить без лимита в тех привилегированных учреждениях, где еще сохранялось снабжение по талонам.

В нашем дворе было два поставщика товаров повышенного сельского спроса – мой отец и Николай Ферапонтович из подвала 16-го дома, он служил шофером на Лубянке.

Роман-старший отвечал за поиск оптовых перекупщиков на татарских рынках – Пятницком, Павелецком, а, может быть, и на других.

Халтура и шахеры-махеры – это еще не менее двух тысяч рублей доходов, не обложенных налогом и займами, итого в месяц 4000 рублей с хвостиком, да с таких доходов «Москвич-401» можно было купить, не то что картошку с рынка и велосипед.

Наш переулок был славен двумя диковинами: первая – зрелище, подобного которому не было, наверняка, во всей

Москве.

Дом 18, небольшой квадратный двор которого, обнесенный двухметровым каменным забором, по существу был маленьким аулом, с саклями, лепившимися к стенкам, и конюшней на пять лошадей.

Женщины в летнее время вели домашнее хозяйство во дворе: стирали, варили на кострах в больших котлах баранину, проветривали бурки на бельевых веревках, громко брались на каком-то гортанном языке.

Главой шумного семейства был отставной генерал, низенький, щуплый, лысый и кривоногий. Он в любое время года делал в своем ауле зарядку, оставаясь при этом в одних трусах.

Время от времени молодые стройные джигиты в черкесах с серебряными газырями – его сыновья и племянники – выводили в переулок лошадок на променад.

Они вели их под уздцы, а генерал в галифе с лампасами, в кителе с орденскими планками сановито шел по тротуару и иногда что-то кричал джигитам на своем гортанном наречии.

Великолепные породистые кони, вороной, гнедые, серый в яблоках, вышагивали, приплясывали, вытанцовывали штуки и так звонко били подковами по булыжной мостовой, что ужасно хотелось вскочить в седло и умчаться аллюром три креста (Гайдар, «РВС») невесть куда.

Иной раз джигиты с безупречной посадкой, уезжали на-

рядной кавалькадой, покачиваясь в седлах и о чем-то весело переговариваясь.

Сначала мы думали, что они выступают в цирке на Цветном бульваре с джигитовкой или же они – акробаты на лошадях, но они через Самотеку направлялись в парк ЦДСА, и чем там занимались – нам было неизвестно.

Случайные прохожие застывали в недоумении, увидев строй всадников – не мираж ли это.

Еще одной достопримечательностью Колокольниковова была девочка с двумя сердцами, во всяком случае, так о ней говорили.

Она была нашей сверстницей, отличалась нездоровой полнотой и каждый день прогуливалась с бабушкой по одному и тому же маршруту: на Цветной бульвар и обратно.

Зимой и летом – одним цветом: девочка была в любой мороз одета в короткое платьице с коротенькими рукавчиками, иногда она выходила в одних трусах – говорили, что ей всегда жарко.

Люди с такими отклонениями от нормы обычно долго не живут, судьбы ее я не знаю.

Почтовые марки после войны собирали многие мальчики, сейчас это увлечение забыто, филателия, как периферия духовной культуры, умирает вместе с ней.

Марки попросту вклеивались в школьную тетрадь; советский канцелярский клей клеил плохо, но марку он портил

раз и навсегда.

Я любил ко всему подходить по-научному, поэтому мама принесла мне книги о коллекционировании марок, одна была познавательной-занимательная и читалась в захлеб, как детектив Льва Овалова, творца непревзойденного майора Пронина, успевшего посидеть «за разглашение методов оперативной работы».

Захватывающие дух истории про десять черных пенни, желтый трескилинг, голубой Маврикий и перевернутую Дженни – о, марки, вы мир...

Не то, чтобы я надеялся, что около магазина на Кузнецком мосту я куплю второй экземпляр желтого трескилинга, но крохотная надежда на неслыханную удачу всегда живет в сердце коллекционера.

Вот я чудовищно обогащусь, приобрету все возможные в СССР марки, велосипед «Орленок» шауляйского завода – с фарой и маленькой динамо-машинкой...

Роскошные бамбуковые трёхколенные удочки в магазине на Неглинной – без них не жизнь, две коробки капсулей жевело – 400 штук каждая, надувную лодку, пионерский горн, резиновую подсадную утку и еще много других, непонятно зачем нужных мне вещей.

Зачем мне далась и утка и изящные деревянные манки; я и сам не знал, кого я собирался подманывать и с какой целью?

Вторая книга была практического направления, и я почерпнул из нее массу полезных сведений, в частности то, что

марки нельзя приклеивать к тетрадному или альбомному листу – использовались для коллекции и альбомы для рисования. На маму слова «для школы нужно», которые я произносил угрюмо, с подчеркнутой обреченностью, действовали магически, и деньги на школьные траты выдавались безоговорочно, чем я научился бессовестно пользоваться.

Папа тайком от матери финансировал мои марочные приобретения.

О, чудо! В магазине на Кузнецком мосту нашлись прозрачные клейкие полоски, их надо было складывать пополам и одним концом приклеивать к листу альбома, а другим – к марке, которая, таким образом, оказывалась как бы на ножке; о клементашах, прозрачных пакетиках, в которые укладывали марку для помещения в альбом, чтобы ее можно было рассмотреть с лица и изнанки, мы в СССР еще не слышали.

Советские кляссеры были, как правило, плохого качества, целлофановые полоски, за которые вставлялись марки, лопались, скотча не существовало, и чем мы только эти держатели не чинили.

Кляссеры производства ГДР стоили непосильные для меня деньги. Как и очень многие серии марок, которые с рук продавали жучки.

Мода диктовала собирать «колонии».

Они считались нами более редкими, а потому более ценными, чем отечественные или марки соцстран, хотя по срав-

нению с ними выглядели чаще всего неказисто.

Выбор марок капиталистических стран был скудным, в основном это были знаки почтовой оплаты стоимостью одного франкированного письма: французская Марианна, орел ФРГ, итальянские с чеканной женской головкой, королева Елизавета II, так что это был материал, малопригодный для привлекательного собрания.

Среди жучков, что паслись возле магазина, выделялся Шишка, прозванный нами так за здоровенный желвак на шее, как раз в том месте, куда принято было щелкать пальцем, обозначая известную слабость.

Шишка существовал вполпьяна, трезвым я его не видел, но и пьяным – никогда, одет он был небрежно, но марки у него водились самые разные, к нему обращались серьезные люди, но и нами, мелюзгой, он не пренебрегал и давал нам поблажку в цене.

Однажды я видел, как Шишка уважительно, но без подбострастия, разговаривал с дамой в мехах, вылезшей из ЗИМа:

– Найдена в Ленинграде. Состояние отличное, полная по каталогу, верный человек смотрел. Не извольте беспокоиться, завтра «Красной стрелой» доставят.

Дама протянула Шишке изрядную пачку сотенных банковских билетов:

– Ваш аванс.

К моему удивлению, Шишка торговли не прекратил и об-

мывать аванс не пошел.

Он нигде не работал, обзавелся какой-то липовой инвалидностью, как Александр Иванович, и милиция его не трогала.

Иногда он заходил в соседний с магазином подъезд, где и велось большинство сделок, в компании с местным участковым.

Жучков и покупателей как ветром выметало из подъезда, а Шишка, выходя из него, осуждающе качал головой, и я догадывался, что он не одобряет алчность участкового.

Иногда Шишка снисходил до разговора с нами:

– Колониями интересуетесь? Не тащите в альбом все, что попало, подбирайте две-три страны, чем полнее коллекция, тем она интереснее. Видели даму в соболях? Так вот я ей нашел полное собрание марок вольного города Данцига, вы, поди, и не слышали о таком?

Он показывал нам каталоги: знаменитый французский «Ивер и Телье», британский толстенный «Скотт», дотошный немецкий «Михель» с бесчисленными портретами Гитлера всех мыслимых цветов.

Нам оставалось только облизываться – каталог был несбыточной мечтой.

– Вот, извольте видеть, Данциг, все марки по каталогу, и хоть бы один зубчик битый, в Питере прежде серьезные собиратели водились...

Я возвращался домой и тут же открывал энциклопедиче-

ский словарь: что за Данциг такой?

В тридцать седьмом – тридцать восьмом году многих филателистов посадили «за связь с границей».

Принятая во всем мире практика получения гашеных и чистых марок из-за границы в обычных письмах в годы ежовщины превратилась в шпионаж, остальных филателистов уморила блокада, и в послевоенном Питере по рукам ходили весьма ценные коллекции и раритетные библиотеки.

– Завтра, огольцы, в Главпочтамте гашение первого дня. Купить целые листы вам не по деньгам, но хоть посмотрите, что это такое.

Я какое-то время собирал страны Гвинейского залива: Берег Слоновой Кости, Гану, Того, Бенин, Нигерию.

Я прочитал все, что можно было найти об этих странах, об Африке вообще – истории ее освоения европейцами и колонизации.

Но источники мои были очень скудны, в школе не было ни Большой, ни Малой Советской энциклопедии, за каждой справкой нужно было ходить в детскую библиотеку на Сретенский бульвар, где я так замучил библиотекаря своей любознательностью, что меня допустили до полок, и я мог пользоваться справочниками самостоятельно; наконец мама подписала на Советский энциклопедический словарь в трех томах, и уж я его – от доски до доски.

Я презирал тех, кто собирал, скажем, Камерун, а где он

находился – и ведать не ведал, и на карте показать не мог.

Со временем я поменял направление собирательства, стал покупать грошевые наборы по 50 гашеных марок советских знаков почтовой оплаты и из них формировать тематические подборки: Великая Отечественная война, корабли, паровозы, воздухоплавание, автомобили, а остальное менял.

Постепенно упорядочился обмен, появились постоянные партнеры. По воскресеньям, всегда в одно время приходил на Кузнецкий с мамой чистенький аккуратный мальчик в очках с толстыми линзами, мы шли во дворик на Рождественке (тогда – улице Жданова), усаживались на скамейке, и начинали неспешную мену.

Его мама в марках ничего не понимала, но деньги у нее водились, впрочем, я ничего не продавал, но менял с большой для себя выгодой, как я ее тогда понимал.

В Главпочтамт я влюбился с первого взгляда.

Огромный гулкой операционный зал, в котором, однако, люди разговаривали тихо и только предостерегающие крики грузчиков-татар с груженными тележками нарушали благоговейную тишину.

Галереи второго, служебного, этажа на металлических колоннах, с узорными ограждениями, были таинственны и безлюдны.

Почта, вообще, дело серьезное, а в тоталитарном государстве – чрезвычайно важное.

Как верно говаривала М. И. Цветаева: «Так писем не

ждут, так ждут письма...»

Письма из тюрьмы, армии, ссылки, из отдаленных мест оргнабора: «Гольцы высокие, края далекие... места без курева, житья культурного, за что забрал, начальник, отпусти».

Письма из больницы, из экспедиций, с рыбных заводов на Курильской гряде, из ЗАТО (закрытые административно-территориальные объединения – секретные города, военные городки и т.п.), из Группы советских войск за границей, да мало ли еще откуда.

Марка, погашенная специальным штемпелем «Premier jour» ценится выше, чем чистая или гашеная обычным штемпелем, так как только ничтожная часть тиража проходит через гашение первого дня.

Время продажи никогда не объявляли, очередь собиралась то у одного, то у другого окошечка, наконец, проносился слух: «Привезли!»

Министерство связи то разрешало, то запрещало продажу марок целыми листами – это тоже было предметом волнения.

Но вот шелест и трепет – из окошка извлекается первый целый лист с драгоценными штемпелями.

Свежие, только с печатного станка, марки, из-за наличия клеевого слоя, пахнут иначе, чем другая полиграфическая продукция.

Запах марок стоял в магазине на Кузнецком мосту. Он был крохотный, в один тесный зал.

Витрина напротив двери и правая витрина – собственно марки, слева – аксессуары: альбомы, кляссеры, лупы, пинцеты, конверты с марками гашения первого дня, почтовые открытки и другие цельные вещи, клейкие бумажки для помещения марки в альбом. . .

Но вот каталогов никаких не бывало никогда.

Советские «Каталоги марок СССР» издания 1948 и 1951 года были неполными и вышли таким мизерным тиражом, что мы их и не видели.

Вполне социалистическую лейпцигскую «Липсию», наследницу «Каталога Зенфа», который нам из своих рук давал посмотреть Шишка, Советский Союз не покупал, и узнать, сколько реально стоит тот или иной знак почтовой оплаты для нас, начинающих огольцов, было невозможно.

Увлечение марками прошло как-то само собой после расставания с родным пепелищем.

Однажды промозглым вечером в начале ноября 1979 года я зашел в магазин «Союзпечать» на Ленинском проспекте, неподалеку от «Лейпцига», где был относительно большой отдел филателии, и в тамбуре любители ожидали счастливого случая.

Я был на мели, а выпить было нужно позарез.

У меня с собой был пакетик с моими детскими марками военных лет, я носил их давно, но добросовестного покупателя так и не встретил.

– У вас есть, что предложить? – спросил меня белобры-
сый субъект, видимо, мой ровесник, с явным немецким ак-
центом.

– Великая Отечественная война, – отвечал я без всякой
надежды на успех.

Но он заметно оживился и сразу же решил скрыть свой
интерес, что выдавало в нем опытного собирателя.

Марки у меня были в хорошем подборе и состоянии,
немец предложил мне полсотни за все.

– Вообще-то, это стоит 200 рублей, – сказал я наобум, –
но я спешу и отдам за 150.

– Сто двадцать, – я понял, что дальнейший торг бесполе-
зен.

– Вы правильно поняли, я собираю Вторую мировую вой-
ну, но русских марок у меня мало, к тому же каталога поче-
му-то нет.

– Ohne ordnung – kein brot (Без порядка – нет хлеба
(нем.)), – согласился я и отправился мимо магазина «Лейп-
циг» в микояновский «Гастроном», где, я точно это знал, бы-
ли стограммовые мерзавчики «Московской», самая удобная
дробная тара, чтобы вынуждено не хватить лишку.

С дошкольной поры у меня образовалось немалое собра-
ние диафильмов.

Диафильм – это пленка для узкоплечного фотоаппарата
с размером кадра 24 на 35 мм.

В диаскопе, аппарате для просмотра диафильма, он крепился на две катушки, что позволяло поворотом ручки протягивать пленку и смотреть отдельные позитивы по очереди.

Родители покупали сказки: А.С. Пушкина, братьев Гримм – незабвенный «Храбрый портняжка», Шарля Перро, «Балладу о Робин Гуде» и любимейший доселе «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова, народные, назидательные: «Не пей Ваня, козленочком станешь!»...

Так ведь не послушался я совета разумного.

В моих странствиях по центру Москвы я находил много удивительного, интересного и полезного.

Так мною был обнаружен в Столешниковом переулке, между роскошным меховым магазином и «Российскими винами», где всем желающим предлагали освежиться бокалом «Советского шампанского», магазин «Диафильм», чего только в нем не было!

Сказки, рассказы советских писателей, учебные ленты по всем предметам, спортивная тематика, но особенно меня заинтересовал раздел истории Великой Отечественной войны.

Диафильм стоил 3 рубля 50 копеек – цена пленки для ФЭДа, «Смены» или «Зоркого», в то время в ходу еще были широкоплечные фотоаппараты – «Любитель» (6х6 см), «Москва» (6,5х9 см) «Фотокор» (9х12 см) и другие.

Иногда я за месяц покупал два-три диафильма.

Дома я безотлагательно вставлял пленку в диаскоп и прищипывая глаз, пытливым оком к окуляру, в который была вставлена

лупа, она-то и позволяла рассмотреть кадр во всех подробностях, а я был дотошный зритель.

Обратив заднюю стеклянную матовую стенку диаскопа к источнику света, я неспешно изучал Московскую битву, битву за Кавказ, оборону Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинградское и Курское сражение, падение Берлина.

Собирал я и учебные фильмы: Древний Египет, Греция, Рим, Киевская Русь, историю искусств – всё это было необыкновенно интересно и очень прочно укладывалось в моей голове – великая сила наглядности.

Фильмотеку свою я хранил в коробках из-под отцовских штиблет чехословацкой фирмы ЦЕБО.

Почему-то наши коробки делались из хлипкого серого картона, а у ЦЕБО тара была разных цветов, аккуратная, из очень плотного и прочного, как фанера, картона, долго держала форму и служила мини-сундуками для моих сокровищ.

Папа говорил, что раньше все предприятия ЦЕБО принадлежали обувному королю по имени Томаш Батя, у которого был (невозможно себе представить!) личный самолет.

Даже паровые яхты не впечатляли меня так, как этот самолет, в котором, впрочем, Батя вместе с пилотом упал на собственные заводские строения, что, заметьте, было предсказано каким-то писателем.

Вообще-то я не мечтал о богатстве, но был не против найти клад, как Том Сойер, уж я бы нашел достойное применение серебряным долларам.

Грезы о домике на берегу Волги и прочие золотые миражи отнюдь не носили систематического характера.

В своих галлюцинациях (о, как я ошибался, полагая, что каток «Динамо» избавил меня от них навсегда!), так вот в моих горячечных видениях я никогда не был богатым человеком – я замерзал во льдах, воевал с немцами, освобождал угнетенные народы...

Я заметил странный и устойчивый интерес отца к людям, сколотившим очень крупные капиталы: он рассказывал мне то про Томаша Батю, то про Генри Форда, Савву Морозова, Корнелиуса Вандербильта, владельца заводов, газет, пароходов... И множества паровозов! Он мог залезть на любой из них и покатить, куда глаза глядят со скоростью в сто двадцать километров в час (я прочитал книжку о паровозах), но он почему-то этого не делал.

И откуда отец только добывал сведения обо всех этих акулах империализма? Что-то я не помню, чтобы советские издательства распространяли подробности их жульнических биографий.

Еще больше меня удивляло то очевидное уважение, с которым папа относился ко всем этим сомнительным личностям.

Из постоянного чтения Максима Горького папа извлек вовсе уж невероятные вещи – крупные русские капиталисты: купец-волгарь Николай Бугров, мебельщик Николай Шмидт, текстильщик Савва Морозов давали деньги на рево-

люцию! И деньги немалые.

Это разрушало мою примитивную, но стройную и марксистскую, как я полагал, картину мира, где было два цвета: наш, красный и их белый, он же – черный, черные дела эксплуататоров привели их в контрреволюционный лагерь белых.

Диафильмы порождали другой вопрос, не уместившийся в мое стройное героическое представление о войне: мы везде и всегда били проклятых гитлеровцев, мужественно защищали свои города...

Но ведь и Одессу, и Севастополь, и Киев мы сдали, Ленинград оказался в блокаде, это как?

Конечно, вероломное нападение, внезапность...

Но какая внезапность могла быть в 42-м году?

А тут еще несносный Федор Яковлевич...

Наступал долгожданный час, звучала знакомая, навсегда волшебная мелодия, библиотекарша Мария Павловна и ее помощница Катюша уже заперли дверь книгохранилища и отправились домой, и раздались заветные слова:

*В шорохе мышином, в скрипе половиц
Медленно и чинно сходим со страниц,
Шелестят кафтаны, чей-то смех звенит.
Все мы капитаны, каждый знаменит.*

.....
Мы полны отваги, презираем лесть,

Обнажаем шпаги за любовь и честь.

«Свистать всех наверх!» – началось заседание «Клуба знаменитых капитанов».

Телевидение моего детства делало первые шаги, новые фильмы выходили редко, и радио развлекало нас умно, интересно и мастерски.

Полагаясь (и нисколько не ошибаясь в этом!) на безудержную фантазию ребенка, «Клуб знаменитых капитанов», располагая только звучанием, переносил меня в иные времена и страны.

Мы, благодарные и преданные слушатели, оказывались в эпицентре захватывающих приключений, в опасных и безнадежных ситуациях, но мы знали, наши капитаны выходили победителями из самых страшных бурь и штормов.

Мудрый и благородный Немо, мастер выживания Робинзон Крузо (неизменно великолепный Ростислав Плятт), мужественный подросток Дик Сенд, пятнадцатилетний капитан (неувядаемая Валентина Сперантова), наш, советский, Саня Григорьев и вальяжный Тартарен из Тараскона (Осип Абдулов).

Я недоумевал, кого это угораздило привести в столь славную компанию хвастунишку, фанфарона и далеко не храбрца – буржуа из Тараскона. Но потом я догадался: здесь работал приём контраста, а Тартарен временами бывал уморительным, что добавляло красок «Клубу знаменитых капита-

НОВ».

Вот доктор Гулливер, другое дело – сколько диковинного он повидал, где только ни побывал! Лилипуты, великаны, гуингмы, лапутяне!

Или романтик и умница Артур Грей, как он глубоко понял мечтательницу Асоль, которую недалекие люди считали умалишенной – алые паруса никогда не померкнут в душе:

*Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.*

Именно так, и тогда, и ныне, и до самой смерти...

Радиожурналисты Климентий Минц и Владимир Крепс, авторы «Клуба знаменитых капитанов» были незаурядными мастерами своего дела, и передача умерла только вместе с ними, в 70-е годы.

*За окошком снова прокричал петух,
Фитилек пеньковый вздрогнул и потух.
Синим флагом машет утренний туман.
До свиданья, Вашу руку, капитан.*

Литературный журнал «Невидимка», прообраз нынешних интеллектуальных игр, предлагал и легкие, и трудные вопросы и загадки на темы детской и подростковой литературы – поначалу я мог ответить на два-три, уже в 1956 году редкая передача могла поставить меня в недоумение. Но, если такое

случалось, почему-то непрочитанная книга немедленно оказывалась у меня в руках, и я яростно стирал позорное белое пятно.

Конечно же, все книги о знаменитых капитанах были проштудированы, а «Невидимка» вела за собой, стремительно расширяя круг чтения.

Редакция «Невидимки»: В.А. Каверин, Л.А. Кассиль, К.Г. Паустовский и, разумеется, вечный спутник моего детства – С.В. Михалков, имена сами за себя говорят.

«Научный радиотеатр» рассказывал о драматической истории русских изобретений и открытий.

Вот когда я возненавидел косность и скупердяйство царского режима – даже радио не сумели оценить!

Хорош и А. С. Попов – некогда было ему заглянуть в патентное ведомство – вот и отдал русский приоритет не в меру шустрому итальянцу Гуельмо Маркони. Любопытно, что в споре о приоритете в изобретении радио имя Генриха Герца упоминалось как-то глухо.

Научную проблематику озвучивали корифеи МХАТа – А. П. Кторов, А. Н. Грибов, М. П. Болдуман...

Привлекали меня и концерты-лекции, концерты-загадки. Но, увы, по музыкальной части полный швах, хорошо, если хоть что-нибудь отгадывал, и то не всегда.

К этим передачам примыкала «Музыкальная шкатулка», не пропускал я и «Почтовый дилижанс» – на адрес передачи можно было написать письмо и получить ответ, но я не стал

корреспондентом «Почтового дилижанса» – стеснялся, да к тому же предпочитал самостоятельно искать ответы на все вопросы.

В 1949 году в радиоспектакле «Золотой ключик» все роли исполнил Николай Литвинов – блеск!

Николай Владимирович стал мастером именно радиовещания для детей – «Судьба барабанщика», «Дальние страны», «Угадайка», «Радионяня», сказы П.П. Бажова («Ну, что, Данила-мастер, не вышла твоя чаша?»), и, моё любимейшее, – «История о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Замечательные рассказы Николая Носова «Мишкина каша» и «Огурцы» я знал наизусть.

Мне исполнилось 10 лет, когда в 54-м году начала работать познавательная передача «Мир, в котором мы живем», о Вселенной, об атоме, о технологии производства самых разных вещей.

Где-то я прочитал, что Юлий Цезарь умел одновременно читать, писать, слушать донесения и отдавать приказы, да еще, между делом, и Клеопатрой нехстати увлекаться – это уже мой ехидный комментарий, не мог я простить великому полководцу того, что он Александрийскую библиотеку сжег.

Юлий Гай мог, а Юрий Гаврилов? Читаю, пишу, поддерживаю беседу, слушаю радио и даже смотрю телевизор – всё одновременно – годам к 12 я был уже опытен и весьма поднаторел в этом умении.

Вот и «Радиоклуб юных географов» особенно хорошо шел под физическую географию, но и чтению «Двух капитанов» не мешал.

«Театр у микрофона» – Атлантида советской культуры, ныне сокрытая от нас водами Леты.

Коснусь сей темы эскизно, иначе придется бросить «Родное пепелище» и засесть за фундаментальный труд «Театр у микрофона».

«Олеко Дундич» – вполне бездарная, но уж очень героическая пьеса, поставленная в театре Моссовета мастодонтом и помпадуром сталинской школы – Юрием Завадским; главную роль отважного серба играл Михаил Михайлович Названов, бывший зек Ухтпечлага, лауреат трех Сталинских премий.

До сих пор помню команду головорезов Олеко Дундича: Дундич, Палич, Драгич, Ходжич.

Черт знает что такое, вот ведь намертво в голове засело!

Михаил Названов – Король Клавдий в «Гамлете» Григория Козинцева – каково было таким мастерам ходить в Дундичах.

Но не Дундичем единым был жив радиотеатр, а прежде всего классикой, мировой и тем, что считалось советской классикой.

Я больше любил «Плоды просвещения» нежели «Власть тьмы» – спиритизм был мне очень любопытен; спектакли по Чехову мне были интересны, но когда Игорь Ильинский чи-

тал рассказы Антона Павловича – «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Сирена» – это было объединение...

Чарльз Диккенс – «Посмертные записки Пиквикского клуба», Ричард Шеридан «Школа злословия», Виктор Гюго, Оноре Бальзак, Фредерик Стендаль, Лопе де Вега, Бронислав Нушич – «Доктор философии», его часто повторяли, чтобы показать, что мы ненавидим не сербов, а клику Тито.

Про русских классиков я уж и не говорю: «Недоросль», «Горе от ума», «Маскарад», «Ревизор», пьесы А. Н. Островского, А. П. Чехова я знал практически наизусть и любил поразить слушателя, сказав что-нибудь вроде: «Какой реприманд неожиданный!».

Пьесы Горького, трилогия Н. Ф. Погодина – «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты», «Третья – патетическая»...

Погодин был обласканный большевиками апологет советской власти, а спектакли получились хорошие, живые; чего стоил еврей-часовщик, агент Эзопа, который, в свою очередь, оказался агентом Антанты.

Или «Шторм» Билл-Белоцерковского, дешевая агитка, но в записи спектакля «Театра имени Моссовета» спекулянтку Маньку играла Фаина Раневская – это был маленький шедевр, десяти минутный «шурум-бурум»...

Радиотеатр приучил нас к образцовой режиссуре и великолепной игре актеров, каждый второй из которых был явлением и школой, а отсутствие сцены раздражало воображе-

ние, делало его изощренным.

Кучер Пиквика, мистер Самуэль Уэллер – в исполнении Анатолия Кторова – визитная карточка «Театра у микрофона», лучше не бывает, потому, что лучше нельзя.

Оперетта! Классика! Лёгкий жанр. Остроумие, канкан, вальс, чардаш и бессмертные мелодии Штрауса, Кальмана, Оффенбаха, Легара, Дунаевского.

«Сильва», «Летучая мышь», «Веселая вдова», «Граф Люксембург», «Фиалка Монмартра», «Баядера», «Цыганский барон», «Продавец птиц», «Белая акация»...

Незабываемый шедевр: «Принцесса цирка», дуэт величественной Гликерии Богданой-Чесноковой с маленьким, толстеньким, лысеньким и уморительно буффонадным Григорием Марковичем Яроном – это восхищало и навсегда врезалось в память, хотя глазами мы всё это увидели только в 1958 году, когда на экраны вышел сногшибательный «Мистер Икс».

Который я смотрел, не отрываясь, неделю без перерыва в соседнем кинотеатре «Прогресс», решительно предпочитая легкий жанр школьным урокам.

Оперетта оказалась для меня необходимой ступенькой восхождения к опере.

Мы были слушатели непосредственные, мы переживали сценическое действие сильнее, чем иные наши жизненные реалии.

Как я негодовал на Эдвина Воляпюка – подумаешь, мама с папой не разрешают жениться на любимой девушке. Вот я женюсь только на той, на которой я захочу и родителей слушать вовсе не стану!

Как в воду глядел.

Григорий Маркович Ярон занимал мое воображение уже тем, что по намекам взрослых, я догадался: он был гомосексуалист. О наличии подобных странных мужчин я знал, глухонемые в клубе на улице Хмелева специализировались на продаже порнографии, в том числе гомосексуальной, так что тайны не было, но недоумение оставалось – зачем они это делают?

А у кого спросить? У родителей, классного руководителя, старшей пионервожатой Зои?

Подворотню как источник информации я давно не принимал всерьёз – мало ли что наплетут бывалые люди, которые слышали звон, а у самих – семилетка на троих...

Кроме того, я знал, что за мужеложество сажают, а про Ярона всем всё было известно, но его никто не сажал.

И правильно, думал я, грех небольшой – он не убийца, не грабитель, а отправь его на кичу, кто будет так залихватски распевать с мадам Каролиной?

«Белая акация» Исаака Дунаевского, о сыне которого ходили сомнительные слухи – якобы он устраивал оргии золотой молодёжи на отцовской даче (посмотрел слово «оргия» в энциклопедическом словаре – да, ничего хорошего), так

вот «Белая акация» транслировалась часто.

Ну, и как прикажете строить коммунизм с такими типами, огорчался я – один слаб на задок, другая на передок, третий – с блудными девками валандается, а их только в нашем дворе целый косяк: подороже – Мирра и Фейга из шестнадцатого дома, подешевле – Галька из татарского флигеля.

Или, скажем, спекулянт дядя Миша из 24-го дома – ворочает себе драповыми делами, а гараж для своей кофейной «Победы» построил в нашем дворе, в котором и так повернуться негде – не помогло, все равно разоблачили, посадили и статья с фотографиями в «Огоньке» напечатана была.

Надо сказать, что себе я легко прощал и антрацит, который я тырил в соседних котельных (так ведь ещё на выбор брал!), и махинации со свободным днем, и торговлю очередями и другие, не очень благовидные поступки.

Так вот, песня из «Белой акации» стала гимном Одессы, а моим любимцем – Михаил Водяной (Вассерман), Яшка-буксир, одесский говорок, одесский шарм и блеск с легким блатным оттенком.

Водяного насмерть затравили товарищи по легкомысленному цеху под руководством партийных организаций.

После его кончины от инфаркта обвинения признали клеветой и повесили мемориальную доску в память замечательного артиста.

А вы говорите: буффонада...

И уже всходила звезда блистательной Татьяны Ивановны

Шмыги.

Понимаю, что увлекся, но не могу пройти мимо «Утренней зарядки» – мастер спорта Николай Гордеев – командный голос без особого нажима, лапидарное музыкальное сопровождение: «На зарядку становись!»

Не знаю, каких вершин достиг Николай Лаврентьевич в спорте, но его передача связана с незаживающей душевной раной...

Сколько раз я начинал ставить «ноги на ширину плеч» и «переходить к водным процедурам», но так и не хватало воли годами просыпаться на призыв «На зарядку становись!», и благие порывы уступали желанию поспать лишних полчаса.

Вадим Синявский, воистину всенародный любимец. Во время войны он вел репортажи с поля сражения, из горящего танка, потерял глаз в осажденном Севастополе. Неповторимый голос, манера говорить, интонация, скороговорка, захватывающие футбольные баталии: Федотов, Бесков, Хомич.

Отец моего школьного приятеля шпионил в Японии и привез оттуда транзистор, о которых в СССР никто и не слышал, и уж, конечно, не видывал.

Мы взяли маленький приёмничек с собой на стадион.

Игра была на редкость скучная, вялая, но я был в восторге от репортажа, который впервые слушал на трибуне.

Ровно ничего, из того, о чем повествовал Синявский, на

поле не происходило. Он увлеченно, но сдержанно (стиль – это человек, уважаемый читатель), рисовал картины стремительных проходов по краю, хитроумных финтов, опасных навесов, могучих ударов в штангу...

А куда еще, ведь нудная игра-то кончилась нулевой ничьей.

Верный человек рассказывал мне, что когда Синявский прилетел в Стокгольм вести репортажи о встрече нашей футбольной сборной со шведами, выяснилось, что его чемодан по ошибке отправили в другой город.

Горе знаменитого комментатора было неопишимо.

Он был вынужден признаться посольским: в чемодане было средство, необходимое и незаменимое, чтобы вести репортаж на высоком идейно-художественном уровне – «Московская особая».

Дипломаты успокоили знатного гостя – в посольстве запасы именно «Московской особой» просто не поддавались исчислению, так что Синявский выступил с привычным блеском.

Еще до школы мама, если она выходила во вторую смену, брала меня с собой на работу, дабы я не болтался на улице.

Разумеется, я находился не в наборном цехе, а либо гулял во внутреннем дворе типографии на Цветном бульваре, где любил смотреть, как разгружают машины с ролами – огромными цилиндрами бумаги для газетной ротации. Либо стре-

лял из рогатки, установив цели возле бетонного забора, или поступал под попечение тети Доры, заведующей справочной библиотекой «Литературной газеты», где у нее была единственная подчиненная, смешливая девочка Оля.

Справочные библиотеки формально существовали для проверки цитат и разных фактических сведений в материалах, публикуемых в издании, но библиотека «Литературки» имела и обычный абонемент, которым пользовались, в основном, родители школьников.

Я хорошо знал три ведомственные библиотеки: «Литературной газеты», издательства «Известия» и Центрального дома литераторов.

Это были очень хорошие библиотеки, составленные путем грабежа замечательных частных собраний, которых в дореволюционной России было множество.

Библиотека ЦДЛ была сборной, основу ее философского отдела составляли книги из собрания известного русского философа Н. О. Лосского; на моих стеллажах стоит два десятка томов в любительских переплетах, на кожаных корешках которых светятся еще не потускневшие тисненные буквы (натуральное сусальное золото!): Н.О.Л. – Николай Онуфриевич Лосский.

Я считал, что если большевики присвоили книги высланного из России Лениным на «Философском пароходе» мыслителя, а советские писатели за 50 лет так и не удосужились заглянуть в сборники «Новое в философии», книги неокан-

тианцев или Ницше, так уж лучше я их прочту и на свою полку поставлю.

Читатель, конечно, догадался, что страсть к книге и жесточайший книжный дефицит со временем превратили меня в книжного вора, я даже из армии посылал домой бандероли с ворованными книгами.

Увы, это так, и не всегда набеги на чужие полки я мог оправдать благими намерениями, но из песни слова не выбросишь.

Тетя Дора вручала мне несколько книжек с картинками – читать я не умел, и приступала к своей работе: курила, читала, часами говорила по телефону и принуждала нерадивую Олю заниматься бесконечной библиотечной писаниной.

Запах старых книг – какая там «Шанель» №5!

Читать я учился по книжным корешкам.

Я мог беспрепятственно передвигаться по библиотеке, уставленной мебелью прошлого века – книги забирали вместе со шкафами, антресолями и лестницами, наверху которых была площадка с перилами, чтобы можно было полистать книгу, не спускаясь.

Однажды в больших плоских ящиках под полками я нашел французские эротические альбомы конца XIX – начала XX века – время я определил по появлению автомобилей, которые, наряду с купе поезда, стали интерьером пикантных сцен.

Я несколько вечеров рассматривал занятные картинки,

пока меня за этим времяпрепровождением не застала тетя Дора с неизменным «Казбеком» в зубах:

– Ну, что же, губа не дура, – похвалила она мой вкус; в результате все ящики были заперты на ключ.

Я еще не догадывался, что книги станут одной из сильнейших привязанностей в моей жизни.

С начальной школы я не переставал читать нигде и никогда: ни в глубине сибирских руд, ни в мрачных пропастях запоя. Я читал в больницах, клиниках, госпиталях, где я лежал много больше обычного, урывками – на работе, в четырех дурдомах, где чтение почиталось за занятие подозрительное и нежелательное; в многочисленных поездках в иные города, на взморье или в лесную глушь...

И отовсюду привозил книги.

Я – не книжный червь, но я – человек книжной культуры, и мне больно видеть, как она жухнет, скукоживается, угасает.

Аудиокнига, чтение с экрана монитора – все это жалкий эрзац общения с книгой во плоти, книга любит человеческие руки, она отзывается на ласку, оживает.

Я люблю книгу не только как инструмент и символ духовной культуры, но и как источник эстетического наслаждения.

Пушкин, в восьми томах, «Просвещение», 1896 год. Издательский тканый переплет, уменьшенный формат, веленевая бумага «без примеси древесной массы», что специально оговаривается, ручной набор, экономная верстка, шрифто-

вые выделения: на страницах – ни пятнышка, вот что значит тряпичная бумага!

Прелесть несказанная!

А немецкий Ницше в любительском переплете, заголовок – готическим шрифтом, текст – гражданским, на слоновой бумаге, с удивительно нарядным и строгим форзацем, в идеальном состоянии, изящное произведение еще XIX века – какво?

А какой это омут – периодика девятнадцатого – начала двадцатого века на незабвенном чердаке святой Исторической библиотеки в Старых Садах, рядом с лютеранским кафедральным собором Петра и Павла, где в советские времена находились кинотеатр, а затем – студия «Диафильм».

Здесь в Старосадский переулок впадает Петроверигский (одно название чего стоит!), сюда, утомившись от библиотечных трудов, мы ходили выпивать в бывшие общежития бывшего КУНМЗа.

Ага, никто не знает, с чем это едят! Коммунистический университет национальных меньшинств запада имени Юлиана Махлевского.

Причем в этой замечательной альма-матер к национальным меньшинствам, кроме прибалтов, евреев и молдаван, были причислены не только финны и поляки, но отчего-то даже немцы и итальянцы.

Пламенный революционер Мархлевский умер своей смертью на итальянском курорте в 1925 году, университет

раскассировали перед войной, но общежития не опустели, и в них бытовали правильные люди, которые всегда были не прочь подкрепиться.

Употребив под закуску граммов по триста-четырееста водочки на сотрапезника, мы возвращались к заждавшимся книгам, журналам, газетам.

Бывало, даешь себе клятвенное обещание: никаких объявлений на последней полосе не рассматривать, по сторонам не глазеть, судебной хроники и фельетонов Дорошевича не читать, а выписывать в тетрадь только то, что непосредственно относится к земским и городским съездам, но куда там!

С первой же подшивки газет пускаешься во все тяжкие – тут лакомый кусочек, там – еще привлекательнее, а припасенная тетрадь сиротливо лежит втуне...

Гознак на особенной, видимо, хлопковой бумаге выпускал чудесную серию – сказки Пушкина и русские народные с иллюстрациями Ивана Билибина; издательство «Детской книги» отпечатало «Слово о полку Игореве» с гравюрами В. А. Фаворского на мелованной бумаге, «Золотое руно» – древнегреческие мифы с замечательными иллюстрациями, «Дикие лебеди» – энциклопедический формат, роскошные цветные картинки во весь формат на каждой четной странице – такими были мои первые драгоценные тома.

Книги имеют свою судьбу и определяют судьбы людей.

Я не могу сказать, что всем хорошим и плохим в себе я

обязан книгам, но то, что многие мои идеалы и воззрения сформировались при участии книг – это очевидно.

Вначале мое чтение носило хаотический характер: летом, после второго класса, я вместе с «Лесной газетой» Виталия Бианки и «Лисичкиным хлебом» Михаила Пришвина прочитал «Разгром» Александра Фадеева, книгу для меня рубежную, потрясшую меня и заставившую задуматься о совсем не детских вопросах.

Я всегда стремился в чтении обогнать свой возраст, но это вовсе не означало, что я остыл к сказкам или не мог уже читать какой-нибудь «Васёк Трубачев» Осеевой или стихи про дядю Степу.

Советская власть, надо признать, создала мощнейшие издательства, работавшие на детей и подростков.

Издательская культура в СССР, и это неоспоримо, была на удивление высокой.

Талантливые люди, не имея возможности высказывать свои мысли, изучали и комментировали чужие.

Выходили полные собрания сочинений, снабженные мощнейшим научным аппаратом; вездесущий А. М. Горький заложил несколько серий, не имеющих аналогов в мировой практике: «История заводов и фабрик», большая и малая «Библиотека поэта», «Литературное наследие», «Литературные памятники».

Продолжив дореволюционную традицию, Горький предложил издать серию «Жизнь замечательных людей», про-

светительское значение которой трудно переоценить; после войны начала выходить «Библиотека приключений», каждый том которой я ожидал с трепетом.

Тома издательства «Academia», расцвет которого пришелся именно на те годы, когда директором «Academia» был матерый заговорщик и кровавый убийца – Лев Борисович Каменев (Розенфельд), до сей поры являются признанными шедеврами издательского искусства, и высоко (ну, уж очень высоко!) ценятся книголюбями и особенно – продавцами.

Именно на этих книгах выростала и зрела интеллектуальная элита нашего поколения, не нашедшая себе достойного применения в империи времени упадка и ушедшая в сторожа и кочегары, унесенная в могилу алкогольным ураганом.

В этих книгах мы вычитывали правила, по которым собирались жить, из этих книг мы брали канву для наших игр.

*Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем,
Значит, нужные книги ты в детстве читал.*

Это Владимир Высоцкий о своем и нашем поколении.

Мы, разумеется, не понимали того, что хорошие книги сделают нас в какой-то момент беззащитными перед жизнью, устроенной отнюдь не по книжным правилам.

Но, с другой стороны, хорошие, главные и необходимые, книги сделали нас, книгочеев, более устойчивыми перед

разъедающим действием пошлости, безразличия, обыденности, грубости и жестокости быта коммуналок, бараков и казарм.

Книжная прививка не позволила нам превратиться в одномерных членов общества потребления.

Книги давали пищу для раздумий, обостряли и углубляли мучительные вопросы, поднятые самой жизнью, или наводили на то, о чем я еще не задумывался.

Но вот беда – вопросы задавать мне было решительно некому. Я помню, что уже говорил об этом, но фантомная боль и ужас умственного одиночества до сей поры не умерли во мне.

В седьмом классе я начал было читать «Науку логики» Гегеля. И ничего в ней не понял, ни единого слова.

Господи, какое отчаяние охватило меня!

Я решил, что я – круглый дурак, а это было хуже смерти! Я испугался, что достиг своего потолка, а я-то верил, что мне еще расти и расти...

Я попросту глуп – отчаивался я, и мне никогда не понять самых главных книг, доступных только по-настоящему умным людям, а я – так, всего лишь не меру впечатлительный мальчик.

Если бы у меня был наставник, он указал бы мне на толкователей Гегеля – Куно Фишера или Вильгельма Виндельбанда, но я был обречен шарить руками вокруг себя в полной темноте; вот тогда я научился ценить ссылки и отсылки,

примечания, послесловия и предисловия.

Но, с другой стороны, может быть, я так нежно люблю Виндельбанда, потому что сам его нашел, откопал среди сотен томов словесной руды.

И, не дай Бог, никто не должен был знать о «миллионе терзаний», о моих мучениях и сомнениях, о «Науке логики» – скажут: по программе надо книги читать, Гегель – в каком классе? Или вовсе засмеют и пальцем повертят у виска.

Главные книги моего детства времен начальной школы: сказки, народные, Пушкина, Андерсена и «Аленький цветочек», книги о природе – Аксаков, Пришвин, Бианки, Чарушин и Сетон-Томпсон.

«Разгром», Том Сойер, мифы и легенды древней Греции, «Школа», «Судьба барабанщика» и весь Аркадий Гайдар.

Вы не верите, что Гайдар умел писать о любви – прочитайте «Голубую чашку».

«Пакет» и «Честное слово» Леонида Пантелеева, «Капитанская дочка», «Кортик» Анатолия Рыбакова; «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров» Жюль Верна, «Два капитана» Вениамина Каверина, всё зачитано до дыр. Понятно, что полный список просто невозможен.

Главное, все эти книги – на всю жизнь.

Необъяснимым образом меня волновали пушкинские стихи о природе.

Колдовские строки до сей поры вызывают у меня восторг и умиление, трепет и восхищение такое, что щемит душу и замирает сердце:

*Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыхание,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.*

Сам Пушкин казался мне мощным ветром, свежим дыханием, без которого не может быть полной жизни и любви.

В детстве у меня было ощущение Пушкина как стихии, я уже догадывался, что он будет со мной всегда:

*Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!*

Вы будете смеяться, но я в десять лет думал точно так же и мечтал ровно о том же.

Читатель, конечно, помнит, как Сергею Леонтьевичу Максудову, тому самому, из «Театрального романа», от постоянного чтения оного стало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь,

шурясь, Максудов убедился в том, что это картинка. И более того, картинка эта не плоская, а трехмерная... Видно: горит свет, и движутся фигурки...

Представьте, со мной происходило то же самое, точь-в-точь.

Едва я начинал читать, как появлялась объемная картинка и наша комната превращалась в Гранитный дворец колонистов на таинственном острове.

Конечно, я любил, чтобы дома никого не было: родители на работе, Лида в школе или гуляет, баба Маня ушла к своей приятельнице из двадцать четвертого дома, про которую она говорила со значением: «в министерстве служит». Та действительно работала машинисткой в здании Центрального телеграфа на улице Горького, где и донныне помещается Министерство связи.

Стакан холодного чая, коробка рафинада и городская, французская, как называла её по старинке баба Маня и другие московские старухи, булка, сибирский кот Барсик и том Жюля Верна – что еще надо для блаженства...

Если баба Маня оставалась дома, я, силою воображения, превращал её в какой-нибудь второстепенный персонаж – негра Юпитера и даже в обезьяна Юпа, прости меня, Господи.

Вот пиратский бриг, ведомый дружками Айртона, входит в пролив; тут можно съесть пару кусочков сахара, отщипнуть булки и запить всё это чаем – книга читается в пятый раз.

Боковым зрением я видел, как из-под дивана вышла мышь и осматривается, а сибарит Барсик смотрит на мышь равнодушно и вовсе не собирается её ловить или даже припугнуть.

«Совсем обленился», – привычно отмечаю я, но в это самое время бриг бросил якорь.

Сейчас, когда я пишу эти строки, цветная трехмерная картинка комнаты стоит перед моим взором, и обнаглевшая мышь сидит в ней посреди пола, просевшего в центре.

Лето 1953 года я провел в пионерском лагере Совинформбюро недалеко от Подольска.

Совинформбюро не прекратило своей деятельности с окончанием войны, оно с потерями пережило крушение своего шефа Соломона Лозовского, сгинувшего в омуте по делу Еврейского антифашистского комитета, выстояло во всех передрыгах последних сталинских лет. И просуществовало все в том же здании на Рождественке (с 1948 года – улице Жданова) до января 1961 года, хотя последняя сводка Совинформбюро о судьбе немецких военнопленных и прозвучала аж 15 мая 1945. Совинформбюро было преобразовано в январе 1961 года в Агентство печати «Новости», которое своей лживостью с лихвой переплюнуло предшественника.

Но это так, лирическое отступление.

Местоположение лагеря было живописным, неподалеку неспешно струилась река Мбча, приток Пахры. Название реки было основанием для бесконечных упражнений в остроумии урологического направления.

Нам только что объявили, что в воскресенье – родительский день, и я отправился в лес, поискать какой-нибудь подарок для мамы, она-то уж точно должна была приехать.

Лагерь был обнесен забором, выходить без сопровождения за его пределы нам строго запрещалось, как и многое другое: добираться до московской трассы или же заходить туда, где стояли столбы с белыми табличками и черными надписями на них: «Запретная зона! Осторожно, мины!» За этими предупредительными столбами была протянута колючая проволока, но, видимо, давно, потому что она обветшала, кое-где лежала на земле, а кое-где была порвана.

Конечно, после войны повсюду были произведены разминирования, но, скорее всего, подростки, которые занимались за буханку хлеба смертельно опасным делом – поиском и обезвреживанием мин, какие-то немецкие и наши подарки пропускали.

В первую смену на немецкой прыгающей мине подорвалась корова, ее вывозили на телеге, и нас выстроили вдоль дороги, чтобы мы могли наглядно убедиться, что бывает с неслухами: у коровы всё брюхо и круп были рассечены осколками, из живота выпирали сизые внутренности.

Я пошел в лес, недавно проверенный саперами, куда нас выводили вожатые – погулять или поиграть в военные игры. Скоро я нашел чудесное семейство подосиновиков и стал соображать, как бы мне его сохранить до родительского приезда. Так ничего не придумав, я устроился поудобнее на теп-

лом свежем пне и начал читать книгу.

Это был «Разгром» А. Фадеева, который библиотекарша отказывалась мне выдавать:

– Читать надо по программе.

Но я поведал ей, что уже читал Мопассана, а «Декамерон» знаю почти наизусть. Бдительная библиотекарша, напуганная моим намерением исполнить Декамерон на память, и потрясенная моим опытом книжного разврата, выдала-таки мне повесть для восьмого класса.

Про Мопассана и «Декамерон» я наврал; я, конечно, слышал об этих запретных книгах, которые должен был прочитать всякий, желающий как можно скорее повзрослеть, но из «Декамерона» знал только невинную новеллу о трёх перстнях – прочитал в какой-то хрестоматии, случайно попавшей мне в руки.

Я начал главу «Страда», и скоро весь солнечный мир померк вокруг меня.

Вместе с Мечиком я подслушал разговор командира партизан Левинсона и врача отряда Сташинского.

Они сговаривались убить своего товарища, тяжело раненого бойца Фролова!

Убить своего!..

Они придумывали себе оправдания: надежд на выздоровление никаких, Фролов все равно умрет, тащить его с собой непосильно, оставить нельзя – японцы будут мучить и все равно убьют...

Я с ужасом понимал, что эти резоны – неоспоримы.

Я всем своим существом ощутил, что попал в смертельную и невыносимую ловушку, из которой нет выхода.

Я должен был согласиться с Левинсоном, но я не мог этого сделать, я не мог перешагнуть через себя.

Левинсон приказал дать яд немедленно, но так, чтобы никто не догадался, и прежде всего сам Фролов.

Но Фролов все понял и спокойно принял яд из рук своего боевого товарища.

Гвозди бы делать из этих людей, но отчего-то решение Левинсона не вызвало у меня восхищения.

«Революция должна нести свободу, радость и новую жизнь», – напряженно размышлял я, даже не подозревая, что почти дословно совпадаю со старым евреем Гедали, – «А какая же радость убить своего товарища, только потому, что он ранен, и его тяжело тащить? Как потом жить?»

Меня раздавила безвыходность положения – куда не кинь – всё клин.

Я понимал – это проверка. Или я, как Мечик, не гожусь для революции или я должен протянуть Фролову мензурку с ядом.

Я нехотя догадался, что кровь бывает разная – алая, яркая, праздничная, когда героически гибнешь в открытом бою, на миру и смерть красна.

А есть кровь страшная, черная, липкая, один раз запачкаешься – и вовек не отмоешься.

Мрачные предчувствия охватили меня.

Как и большинство моих сверстников, я был готов погибнуть в жарком бою, но добивать своих...

Чего-то я недопонимал, но ощущение бездны, разверзшейся под ногами, ни с чем не спутаешь.

Так получилось, что первой книгой, вплотную поставившей меня перед вопросами, на которые ответов нет или есть, но крайне нежелательные, оказался «Разгром», а, вслед за ним, через три года «Идиот» – сочинения совсем уж разноразмерные, но мучился я этой главой «Страда» очень долго, и даже сейчас мне это вовсе не смешно.

Мне, честно говоря, было несколько не по себе и оттого, что я сочувствовал Маше Мироновой и Гриневу, а Пугачев мне совсем не нравился, а уж Швабрин, перебежавший к восставшим, и того хуже.

Я понимал, что должен быть всегда против царей, королей и других угнетателей народа и их прихвостней, но – сердцу не прикажешь, да и запутался я основательно.

Неспроста Пушкин поместил перед своим сочинением слова «Береги честь смолоду»...

Гринева остался верен присяге, его полюбила замечательная девушка, Маша Миронова, а приятели Пугачева – все были сплошь бандиты, да и он сам – горазд лишь кровь лить попусту.

Вообще, занимала меня «Капитанская дочка» необычай-

Я догадывался, что это другая, совсем другая словесность, нежели, скажем, любимый мной Гайдар.

И тулупчик заячий не шел из головы, и проигрыш Петруши на бильярде – как ловко все это было сшито.

Меня озадачивала неразрешимость жизненных коллизий и пугала очевидная случайность главных в жизни встреч и разлук, поворотов судьбы.

И совсем уж дикие вопросы приходили в голову: а где я, собственно был до зачатия, и куда я уйду, когда умру.

Невыносимо было думать, что я могу умереть, прежде чем прочитаю самые главные книги – и Мопассан и «Декамерон» здесь были ни при чем, с этими я как раз успею познакомиться.

Теперь я спокоен – судьба дала мне шанс прочитать почти все главные книги моей жизни, что же, значит я жил не зря.

«Идиот» я начал читать осенью 57-го года.

Я пошел в седьмой класс, а семилеткой исчерпывалось образование многих моих сверстников.

Я чувствовал, что детство и отрочество заканчиваются, и меня ждет иная, мучительная и радостная пора.

Ни одна книга за всю мою жизнь не доставляла мне столько страданий, как роман Ф. Достоевского об идеальном человеке.

Не в силах терпеть пытки, не в силах справиться с отчаянием от нелепых и непрактичных поступков князя Мышки-

на, страдая приступами ненависти к Федору Михайловичу, к себе, к Епанчиным и уж, конечно, к Настасье Филипповне, я с остервенением швырял книгу в угол. И клялся никогда больше не брать её в руки и забыть всё, что придумал мучитель Достоевский, но через четверть часа она опять жгла мне ладони и выворачивала наизнанку.

Как я хотел ему счастья, несуразному Льву Николаевичу, но уже после того, как Ганя грохнулся в обморок, так и не протянув руки к сгорающим ста тысячам, я догадался, что ничем, кроме ужаса, эта история кончиться не может.

Я примерял всех героев на себя: нет, я, конечно, не Лев Николаевич, не Ганя, не Парфен Рогожин.

По возрасту мне более всего подходил Коля Иволгин, и мне он нравился, но казался, представьте себе, наивным.

Это, несомненно, объяснялось тем, что я жил уже после того, как свершились такие злодеяния и такое растление миллионов людей, о которых и помыслить не могли герои русской классики в девятнадцатом веке, разве что Родион Раскольников в своих пророческих снах.

Вот с вами что происходило, когда вы читали, как лошадь секут по глазам?

Да, после этого жить нельзя, как нельзя жить и после «Скучной истории» – нечем и незачем, как нельзя жить после Блока и после слов другого поэта:

И глазами бессмысленно хлопать,

*Когда всё пред тобой сожжено,
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.*

Но я говорил себе: «Иди и смотри! Ты – совопросник века сего, и, если даже ты остался один такой, ты должен идти и смотреть, открывать том за томом и исследовать человека – это твоя участь.

Потом я заметил, что мне все герои XIX столетия кажутся простодушными; мне, четырнадцатилетнему, Свидригайлов казался наивным, а вот Порфирий Петрович, напротив, был мой современник, если бы не словоерс.

После «Идиота» я покинул родное пепелище и уже на Ломоносовском запоем, в каком-то бреду, прочитал всего Достоевского – в это время он стал для меня чем-то вроде наркотика.

Из «Преступления и наказания» я выполз искалеченный, изломанный на философской дыбе – я понял, что этот роман – главный нерв и главная болевая точка последнего столетия; спокойнее всего я пережил «Братьев Карамазовых» и «Униженных и оскорбленных».

Получив несколько извращенное удовольствие от «Села Степанчиково», я раньше времени упокоился, и тут на меня обрушились и раздавили «Бесы» в издании «Нивы, так как советская власть этот роман не издавала и изъяла его из обычных библиотек.

Всем сердцем и умом я поверил и понял, что та самая правда, которая абсолютная истина – это то, что пишет проклятый эпилептик, безжалостно разрушающий мою вселенную, мое и без того пошатнувшееся, покосившееся мироздание, мою революцию и мою советскую ойкумену.

Сейчас, когда и пишу эти строки, я время от времени смотрю в окно шестнадцатого этажа: чернеет Тимирязевский лес на дальнем берегу замерзшего пруда, того самого, неподалеку от которого в полуразрушенном гроте был убит студент Шатов (Иванов), где случилось первое кровавое жертвоприношение русской революции.

Через сорок шесть лет Владимир Ленин, духовный наследник Сергея Нечаева, откроет шлюзы, и кровавый потоп уничтожит тысячелетнее государство, и нам никогда уже не оправиться от этой чудовищной катастрофы.

Революция всегда основана на лжи и тайне, подлинные цели революции всегда разительно отличаются от провозглашаемых для простаков. Во главе революции всегда стоят беспощадные фанатики, преступники по природе своей или ставшие таковыми в ходе переворота, или же корыстные пройдохи, которым под лозунгами свободы, равенства и братства удобнее проворачивать свои аферы.

Революция – всегда чума, всегда мор, всегда бессудное насилие, всегда разруха – и французская, и октябрьская, и оранжевая, и та, к которой зовет Москву психопат Сергей Тютюкин, он же Удальцов.

Нынешний пингвин, всё такой же глупый, как и прежде, уже не прячет тело жирное в утесах, он смело рассекает по бульварам, выступая в защиту интересов США по любому поводу.

Потом бегают по посольствам за подачками и инструкциями, и его нимало не заботит, что революция – это движение обездоленных масс, которые никакой симпатии к Соединенным Штатам не питают.

А как именно массы во время судороги бунта обойдутся с глупыми пингвинами, легко представить, тем более что массы уже не раз это проделывали в разные времена и разных странах.

Это – мои нынешние мысли, но выросли они из чтения «Бесов» в далеком 1958 году.

«Дневниками писателя» в издании «Нивы» завершил я чтение Федора Михайловича с тем, чтобы возвращаться к нему вновь и вновь, и меня долго не оставляло ощущение, что я проглотил нечто большее по объему, чем я сам, и оно, поселившись во мне, ворочается, сокрушая ребра и заставляет быстро расти.

Достоевский потребовал Льва Толстого, «Анна Каренина» поразила невозможностью свести концы с концами в мучительно сложной жизни и беспощадной правотой эпитафия, «Войну и мир» я воспринял как «Илиаду».

Толстой, в свою очередь, указал на Тургенева – не люблю ничего, кроме «Записок охотника» и «Отцов и детей», но я

до сих пор плачу над твоей участью, Евгений Васильевич, русская головушка, заплутавшая в трех соснах; и Лескова с его изумительными повестями и трогательными «Соборянами».

Герцен, «Былое и думы» – вселенная мысли, страстей и заблуждений; Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, а каким интересным оказался «Клим Самгин» Максима Горького – вы представить себе не можете.

Особняком в этом ряду стоят две тени милые, два данные судьбой мне ангела во дни былые.

Н. В. Гоголь и М. Ю. Лермонтов.

«Хороши ангелы, – усомнится иной читатель, – один – сумасшедший, другой – мизантроп».

Лермонтовым обязан переболеть каждый читающий подросток.

Многим подросткам, зеленым юношам и девушкам мир кажется враждебным: родители не понимают, что он – больше не ребенок, его мнение в грош не ставят, его мысли, глубокие и оригинальные, взрослым кажутся незрелыми. А его чувства – несерьезной блажью, и это – страшнее всего. И вообще весь мир смотрит на него насмешливо и иронически, не спуская малейшей оплошности, а он сам знает, что неловок, лишен светского лоска, наряжен отнюдь не по последней моде. А если к этому добавить, что в «Науке логики» он ни бумбум, словом, хорошо хоть прыщей нет. Но борода проклятая не хочет расти, да и усы тоже.

А девушки – создания загадочные. Приходят в отчаяние от отвратительной формы носа, и чем больше они этот нос в зеркале рассматривают, тем ужаснее он им кажется. А еще эта застенчивость проклятая, и все-то на тебя пялятся, как будто смотреть больше не на что.

И хочется подростку сказать миру нечто гневное, облитое горечью и злостью, но своих слов у него пока нет, а наболело и накипело.

И тут в руки страдальца попадает томик М. Ю. Лермонтова, и там юноша читает:

*Гляжу на будущность с боязною,
Гляжу на прошлое с тоской.
И, как преступник перед казною,
Ищу кругом души родной.
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей.*

Вот он – бальзам на душевные раны подростка, а дальше еще интереснее:

*Поведать, что мне Бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.*

Бога я понимал как псевдоним судьбы, каким именно мо-

им пламенным надеждам он прекословил, я бы затруднился сказать, но я чувствовал, что, безусловно, прекословил, а мир против меня, и всё, написанное Лермонтовым – обо мне.

Моё грядущее в тумане...

Да он просто провидец, этот Михаил Юрьевич, да еще в каком густом тумане.

*Зачем не позже иль не ране
Меня природа создала?*

Думал я над этим, думал, думал, да ничего не придумал.

*Я будущность мою измерил
Обширностью души моей.*

Да, душа моя широка, тут некоторые считают, что лучше бы её сузить, но я решительно против этого. Беда в том, что о безмерности моей души знают только двое – Лермонтов и я.

С тех пор Михаил Юрьевич стал моим другом, а когда я повзрослел, то увидел и что-то иное, кроме обиды на человечество: «Есть речи, значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно»... Каково! Или: «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить», – это последние, предсмертные слова поэта, обращенные именно ко мне.

А безумец Гоголь, между делом, научил меня эстетическому отношению к тексту и тому, как важен порядок слов.

Согласитесь, что никто не расставляет слова столь причудливо и непредсказуемо, как Николай Гоголь, Андрей Белый и Андрей Платонов.

Но Белый делает это согласно своей теории ритмической прозы, а Гоголь и Платонов совершенно естественно располагаются в своем тексте.

Когда я только начинаю читать: «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие...», – и еще не добравшись до глубокомысленного замечания цирюльника Ивана Яковлевича, в котором явно виден огромный жизненный опыт героя, – «Ибо хлеб – дело печеное, а нос совсем не то», – я начинаю внутренне повизгивать, поскуливать и постанывать и даже похрюкивать, что есть верный признак острейшего удовольствия.

А как вам вот это: «...дверь в столовую хрипела басом, но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: «батюшки, я зябну».

Вот такое чтение и называется «выковыривать изюм певучестей из жизни сладкой сайки».

Разумеется, не вся русская проза напичкана изюмом, хотя при известном навыке, певучести можно наковырять даже из Федора Михайловича, но из двоюродных братьев Успен-

ских или какого-нибудь Ключникова мне так и не удалось извлечь хоть что-то похожее на изюм.

Так, гурмански, должно читать «Недоросля», «Горе от ума», «Капитанскую дочку», «Историю села Горюхина», словно нарочно для этого написанную; «Фаталиста», почти всего Гоголя.

«Козьму Пруtkова», «Запечатленного ангела» и «Войтельницу» Н. С. Лескова, многие рассказы А. П. Чехова, так должно читать, за известными исключениями, М. А. Булгакова, И. Э. Бабеля, М. М. Зощенко, Ильфа и Петрова, «Четвертую прозу» Мандельштама, «Фро» и «Джан» Платонова.

Таков мой, далеко не полный список.

Из тома «Идиота» выросло во мне неколебимое убеждение – я должен прочитать всю русскую литературу, от «Повести временных лет» до писателей – современников, иначе я, как человек не состоялся, иначе жизнь пройдет впустую.

Во многом со временем я разуверился, переменились взгляды, изменилось восприятие, но одно всегда оставалось и остается неизменным: русская литература, русский язык и русская история – содержание моей жизни и мне никогда с ними не скучно.

И еще одна книга в конце жизни на родном пепелище перепыхала меня, говоря словами Владимира Ильича.

Он-то имел в виду «Что делать» Чернышевского.

Кстати, роман Николая Гавриловича был мне интересен –

и новые люди, и разумный эгоизм, одно время я себя числил разумным эгоистом, пока не убедился, что в качестве эгоиста я весьма неразумен и зауряден.

Но это были дела давно минувших лет.

Книга, которая буквально обрушила меня, в ту пору имела скандальную известность.

Это был роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», книга поистине замечательная, как и второй роман того же автора – «Белые одежды», вышедший ровно через тридцать лет после первого.

И все эти тридцать лет советская власть теснила автора, мучила, испытывала его на прочность, искушала, подвергала забвению, но он выстоял.

Несвятой праведник России, он отстоял честь русских писателей.

Роман, я утверждаю это, хорошо написан. Он весь выдержан в стиле его главного героя, Дмитрия Алексеевича Лопаткина – такой же сдержанный, убежденный, честный и готовый идти до конца – да, да, до того самого, печального конца.

Словно липкую розовую пелену сдирал роман с моих глаз, он сокрушал мои убеждения и мою слепую веру в идеальность советской вселенной.

Почему же разоблачения XX съезда не произвели со мной подобной очистительной работы, а роман, фабулой которого были мытарства изобретателя, бросившего вызов монополии, случай, в общем-то, частный, обрушил меня.

Дело в том, что с разоблачениями всё мне было неясно и невнятно: как это один человек мог определять характер государства и его правовой системы, даже такая великая личность, как Сталин?

Я догадывался, что мне придется с этим разбираться долго, но и подумать не мог, что всю жизнь.

В романе Дудинцева каждое слово – голая обличающая правда, это стало для меня так же очевидно и неколебимо, как Символ Веры для христианина.

Книга эта – любимая на всю жизнь, она ответила на многие вопросы, долго мучившие меня и остававшиеся безответными.

Я понял, это советская система воспитала и расставила на руководящих постах людей, подобных профессору Василию Захаровичу Авдиеву, а те превратили должность в синекуру, в монополию, в роскошные квартиры в высотных домах, в машины и дачи.

Подлинное открытие, изобретение было смертельно опасно для них, ибо оно было, по сути, словами: «А король-то голый!»

Поэтому новатор Лопаткин был обречен на уничтожение в любой области: в автомобилестроении, в медицине, в химии...

Вот почему заграничные вещи всегда были лучше наших: отец шьет костюм из английского сукна, достает шведские лезвия; лучшие авторучки – «Паркер», а лучший ра-

диопрёмник – «Телефункен», китайские кеды не лопаются на швах, а китайские полотенца годами не ветшают и не линяют. И все вокруг норовят приобрести что-нибудь импортное, даже ненужное, даже мулине. И это было и стыдно, и обидно...

И пока взрослые, умные, образованные люди с трудом приходили к мысли о том, что Авдиевых у нас стало слишком много, и надо гнать их вон, тринадцатилетний подросток пришел к совсем другому выводу.

Не в Авдиевых дело, а в советской системе, которая их плодит, поручает им дела государственного значения, а потом силами МГБ защищает их от Лопаткиных и отправляет праведника в лагерь, а гениального Бусько – убивает.

А судьи кто?

Страной руководит малограмотный «кукурузник», и все смотрят ему в рот и аплодируют его дурацким затеям.

Разве это то, что предполагал Маркс? Ведь он говорил, что стать коммунистом можно только овладев всеми знаниями человечества.

А умеет ли читать и писать Хрущев – это еще вопрос (как выяснилось впоследствии – читать умел, а писать – нет).

Словом, я сжег всё, чему поклонялся, распалась связь времен...

Трещина мира прошла через сердце поэта – под «поэтом» я бессовестно полагаю себя.

Это было невыносимо больно, и эта боль и по сей день

жива во мне.

Я решил, что непременно стану историком и разберусь, как величайшая идея о всеобщем равенстве и отсутствии эксплуатации превратилась в черт знает что, в Воркуту, Инту, Магадан...

А через год проклятый Шигалев поселился во мне и твердил своё, клеветническое: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом».

И, обессилев в борьбе с ним, я иной раз малодушно думал: «А разве не так всё получилось?..»

Как я тогда не сошел с ума, не знаю.

Во мне сталкивались и гибли вселенные, и никто ничего не замечал.

Сверстников я обогнал, я жил с ними общей жизнью и проблемами подростков, но мысли свои им не открывал, они бы и не поняли: о чем это я?

Словом, «вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает и молча гибнуть я должна...»

Правильно говорила академик Ольга Лепешинская: от мыслей вши заводятся, но дочитался я до чертиков вовсе не Достоевским, а, смешно сказать, Лазарем Лагиным, да, да, тем самым, автором «Старика Хоттабыча»

Лазарь Лагин был из той веселой компании еврейских остроумцев, руками которых власть громила безродных космополитов.

Конечно, можно сделать козлом отпущения антисемит-

ской кампании каких-нибудь Ермиловых или Софроновых, но не они – первые скрипки.

Только очень наивный человек может думать, что Жданов на ночь читал Белинского.

Неистового Виссариона читал перед сном Зяма Паперный, который и обнаружил у русского критика безродных космополитов, беспачпортных бродяг в человечестве.

Между прочим, печально знаменитую и вовсе не безумную статью «Сумбур вместо музыки» о Шостаковиче написал Давид Иосифович Заславский, тоже совсем не великоросс.

За космополитов взялись Фиш, Штейн, Рубинштейн, Аренович, Долматовский, одни, видимо, по убеждению, другие страха ради иудейского.

Лазарь Лагин затравил Иоганна Альтмана и взялся за американский империализм и его коварные и столь же бесчеловечные научные проекты.

Лазарь стал творить на ниве политического памфлета, скрещенного с извращенной фантастикой в духе фильмов ужасов. Бронебойная изобразительная сила таланта Лазаря Лагина и изошренность его фантазии, помноженные на мою впечатлительность, подорвали мой организм.

После «Острова разочарований» и особенно – «Патента АВ» я вновь впал в буйные галлюцинации: зрительные, слуховые, тактильные, соматические, моторные и даже вкусовые.

Особенно навязчивым был вкус рома, которого я, разумеется, никогда не пробовал, но, как выяснилось впоследствии, очень точно угадал.

Для подтверждения этого удивительного предчувствия и совпадения химеры и реальности впоследствии я выпил уйму всякого рома, который только попадался мне под руку: кубинского, пуэрто-риканского, гаитянского и рома из Мартиники, венгерского и даже румынского, сильно отдававшего нефтью Плоешти, и всякий раз выходило – угадал!

Что касается галлюцинаций, дело было совсем плохо, словом: Йо-хо-хо, и бутылка рома...

До раздвоения личности мне оставался один шаг...

2011 – 2013 гг.

История первая

Занозой в памяти – два человека: дурачок Коля из соседнего двора в Колокольниковом переулке и сын поэта Рудермана, жившего в нашем доме на Ломоносовском проспекте.

Коля, мой ровесник, издавал только нечленораздельные звуки. Его руки были похожи на передние лапки кенгуру: он держал их перед собой, словно защищаясь, а ладони свисали вниз.

Его родители были люди небедные: его хорошо одевали, покупали дорогие игрушки, совершенно никчемные – он не умел играть. С ним гуляла нянька, деревенская деваха, умом недалеко ушедшая от своего подопечного. «Пусть с дитями поиграется», – говорила она и уходила в кино, в «Хронику» на Сретенке, где показывали, впрочем, и игровые фильмы.

Коля оставался на растерзание неразумным зверенышам.

Его дразнили: «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй...», толкали, пинали, а иной раз и бросали в него камни.

Ребята с нашего двора почти не принимали участия в этих забавах. Меня же он занимал чрезвычайно. Я не мог это сформулировать, но нутром понимал, что он – свободен. Природа избавила его от всех наших желаний, условностей, обид.

Позже это помогло мне проникнуть в суть русского юродства – умершего с наступлением беспощадного ко всем ком-

мунизма – народного почитания слабоумного как Божьего человека.

Он был равнодушен к любым дразнилкам, тычки смутно воспринимал как игру, он не был злобным, буйным или капризным идиотом, он был добродушен. Он никогда не сидел, но и далеко не уходил, словно привязанный невидимой бечевкой к невидимому колышку, иногда он застывал как бы в задумчивости, и мне отчего-то очень хотелось проникнуть в его мысли.

Он знал свою няньку (родителей его я не помню), нас же он не различал.

Ему не надо было учиться, он и так ведал всё, все начала и концы, а я должен был получать одни пятерки, ибо четверку моя мама рассматривала, как единицу, а уж любая другая оценка воспринималась ею, как конец света, измена Родине и глумление над светлыми идеалами.

Его не занимало место в дворовой иерархии, безразлично было мнение окружающих.

Он был первый человек в моей жизни, находящийся по ту сторону добра и зла, он просто ничего не знал ни о добре, ни о зле.

Он был другой, как покойник, но он был живой. Я не знал тогда, что век таких людей недолог.

Дитя наивного материализма и вульгарного просвещения, я был слепо уверен, что мир, безусловно, познаваем и все тайны мироздания со временем будут препарированы на

страницах школьных учебников.

Коля был живым опровержением моего оптимизма: он был Другой, и понять его было невозможно именно поэтому – он иначе видел, слышал, воспринимал окружающее.

О чем он задумывался, застыв на ходу и отгородившись от мира своими кенгурячьими лапками?

И был ли нормален я сам, в девять лет напряженно пытаюсь понять непостижимую тайну безумия.

У Коли был чудесный мяч настоящей кожи, и мы им играли в штандарт и лапту.

«Квартирка тиха, как бумага, пустая, без всяких затей», – писал Осип Мандельштам. Именно эту «квартирку» пытался отнять у Мандельштама комсомольский поэт Рудерман, автор слов знаменитой в оны годы песни о тачанке: «Ах, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса...»

«Я написал «Тачанку», а что написал Мандельштам?» – риторически вопрошал комсомольский поэт, и ответ подразумевался сам собою: ничего.

Рудерман был худ и высок, этим исчерпывалось его поэтическое содержание.

У него был сын, такой же высокий и худой, как отец. В ту пору, когда я обратил на него внимание, мне было 14, ему – 12. У него было нежное личико, пухлые губы, по-детски полуоткрытые.

Мне он напомнил Колю тем, что меховой воротник его

пальто всегда был поднят и обвязан шарфом, как у маленьких.

Сначала я думал, что он, как и Коля – дурачок.

Я не видел, чтобы он ходил в школу; рядом с домом их было две, и все мы учились кто в первой, кто – в одиннадцатой.

Может быть, его обучали дома. У нас в классе была такая девочка, она только числилась, а учителя ходили к ней домой, в школе она появлялась редко. С головой у нее все обстояло в порядке, она была сердечницей, как тогда говорили.

Каждый день отец и сын Рудерманы прогуливались по одному и тому же маршруту – внутреннему дворику нашего дома от первого до шестого подъезда и обратно. Этим они тоже напоминали мне Колю, его невидимую бечевку и невидимый колышек.

С октября по конец апреля они были одеты в зимние драповые пальто (тонкосуконная фабрика им. Петра Алексеева) с меховым воротником, у отца – каракулевым, у сына – бобрин. Шапка-ушанка сына всегда была завязана под подбородком, Рудерман-старший позволял себе поэтические вольности и завязки ушей романтически болтались по ветру, хотя какой уж там ветер в нашем дворе, со всех сторон закрытом коробками зданий.

Оба были обуты в суконные ботинки на крючках чешской фирмы ЦЕБО (бывший Батя), у меня были точно такие же (в нашем доме был расположен магазин «Мужская обувь»), это

были, по сути, бабушкины боты «прощай молодость», но на крючках и подошве с крупным протектором, что было уже поползновением на моду.

Сезон зимней формы одежды наступал для поэта позже и заканчивался раньше, чем для сына. В сентябре – мае младший Рудерман бывал выряжен в какой-то немыслимый макинтош по одесской моде 20-х годов (может быть с отца плеча) и конькобежную шапочку с тремя полосками спереди и мысиком на переносицу.

На лето они исчезали, видимо, перебирались на дачу.

Их прогулки продолжались лет пять, и за это время мне не удалось подобраться поближе. Никаких общих знакомых у нас не отыскалось, поэт-песенник держался особняком. «Тачанка» подзабылась, и он кормился литературной поденщиной на вытоптаных пастбищах воспитания молодежи в духе идеалов.

Во время прогулок говорил только отец, сын открывал рот в редких случаях и ненадолго. Мне было интересно, что вещает поэт своему спеленатому наследнику: о том, как строил в юности с тачанки «по цепи врагов густой»?

Я посмотрел по «Справочнику союза писателей», всегда жившему возле телефона Вигилянских, наших соседей по лестничной площадке, и узнал, что Рудерман родился в 1905 году и вряд ли поспел на гражданскую войну, а тачанку-ростовчанку ему могли доверить только в том маловероятном случае, если бы он был потомком биндюжников.

Может быть, он вещал сыну вечную истину Торы или же не менее вечную сагу о русском антисемитизме? Или учил его науке стихосложения?

Я много раз пытался подслушать содержание проповеди Рудермана-старшего, но поэт бубнил что-то невнятное, монотонное, незапоминающееся.

Несколько раз я разобрал упоминание о «Тачанке», о том, что она была популярнее светловской «Гренады», шведовского «Орленка» и песни «Там вдали, за рекой догорали огни», в чем я тут же усомнился. Иной раз я слышал нечто о партии и правительстве – вот и весь мой улов.

Я представлял себе Рудермана-сына (между собой мы называли его Додиком, может быть его и впрямь нарекли именем национального героя – не помню), я представлял Додика в разведке, в одном армейском строю со мной, в тайге...

При некотором сходстве фабулы: шарф, поднятый воротник, прогулки с няней, Коля-дурачок и Додик были очевидными противоположностями – Коля был абсолютно свободен, Додик – абсолютно несвободен.

Странные прогулки Рудерманов в один прекрасный день прекратились. Старшего я еще встречал изредка во дворе, Додика – никогда. И не знаю, что с ним случилось.

Первая ходка

*Залечи мою боль, залечи,
Ровно в полночь и той же отравой.
Это белой горячки грачи
Прилетели за русской славою,
Многим в левую вложат ключи,
А Модесту Саврасову – в правую.
Денис Новиков*

*Не брезгуй опытом психушки...
Здесь жизнь от пяток до макушки
свою показывает суть
и в ложь ни волоска не прячет.
Здесь только медицина врет,
а вольный дух её дурачит
и вечность переходит вброд.
Владимир Леви*

Вот он лежит у меня в правой руке, этот ключ от вагонного замка, на который запирают все двери в психиатрических больницах.

В правой – не потому, что почитаю себя за величину, равную Модесту Саврасову.

При всем восхищении чьим-либо дарованием или гением Пушкина, никогда не ощущал себя пигмеем – я сам по себе, собой стоял, собой падал; умирал, воскресал, пил мертвую,

любил, грешил, страдал и мыслил – все сам собою.

Ни с кем себя не сравнивал (не сравнивай: живущий несравним), никому не завидовал и никогда себя не жалел.

Так что в правой – просто потому что правша.

Ключ тяжелый, самодельный явно с тем расчетом, чтобы и ударить в висок можно было в случае крайней надобности.

Это – дорогой и памятный подарок старшей медсестры алкогольного отделения 15-й психиатрической больницы, статной красавицы, повидавшей в своей жизни пьяниц всех видов, мастей и достоинств.

Никакой особой ее благосклонностью я не пользовался, просто она поняла, что я не сбегу и не запью, да и устала она мне дверь открывать: я много передвигался по больнице, вполне легально, с разрешения завотделения.

– Возьмите, да только никому не показывайте, ни больным, ни медперсоналу.

Когда меня выписали (в срок, без происшествий) – она, протягивая мне больничный, бесстрастно сказала:

– Как не идет это вам...

Я пожал плечами:

– Так ведь никому не идет...

– К вам – особенно. А ключ себе возьмите, боюсь, он вам еще пригодится.

Так что спустя девять лет в больницу имени П. Б. Ганнушкина, прозванного «психиатром эпохи», я пришел со своим ключом.

Осенью 1970 года я работал во Второй школе.

И начал догадываться, что мой образ жизни как раз с жизнью никак не совместим.

Ежедневное количество потребляемого алкоголя неуклонно росло, пил я часто без закуски – не от безденежья, а оттого, что я сделал себе привычку запивать водку соками: томатным или лимонным, что изредка появлялся в Елисейском.

Закуски требовало пиво, это была скумбрия (но не ставрида!) холодного копчения или божественная хамса, иногда, если случались в продаже – миноги, жаренные или, предпочтительнее, – в желе, совсем редко – угорь; болгарская рассольная брынза, рокфор из серединки, черные маслины или просто соль, сероватая, грубого помола.

Впрочем, никто не запрещал этим же самым заедать водку.

Из всех магазинов я больше других отличал рыбные, особенно те, что в центре – на Лубянке (никогда не признавал советских названий улиц), на Мясницкой, на Арбате, на Тверской, у Покровских и Петровских ворот...

Я часто бывал на Сретенке.

Это – моя родина; Верхней Салды, где я появился на свет, не помню.

Я вырос в Колокольниковом переулке, между Трубной улицей и Сретенкой, на самом крутом из московских хол-

МОВ.

К Сретенке я обычно шел бульваром от станции метро «Кировская», делал небольшой крюк к рыбному на Лубянке – здесь частенько можно было купить поистине царскую хамсу (50 копеек за килограмм).

А запах!

Понятно, что одной хамсой дело не ограничивалось.

Затем я заходил в продмаг на углу Лубянки и Сретенского переулка, здесь в винном отделе выбор был не ахти, но что-нибудь обязательно находило отклик в душе.

И – на паперть собора Сретения Владимирской иконы Божьей Матери, где в оны годы располагалось общежитие сержантов НКВД, по преимуществу – палачей.

Вот так смешалось кислое с пресным.

В глубине двора стоит школа.

Она была построена после войны, на месте монастырского погоста, где прямо в старые могилы хоронили расстрелянных по соседству в подвалах Лубянки.

Я в ней учился, пока наша, в Колокольниковом, построенная на месте снесенной большевиками церкви преподобного Сергия в Пушкинских, была на капитальном ремонте.

К ней заново переключали коммуникации, и мои сверстники играли во дворе дома № 6 в футбол человеческими черепами.

Мои первые университеты были воздвигнуты на человеческих останках.

В пору моей учебы еще стояла та часть монастырской стены, что была обращена на улицу. В ней помещались кельи, где прятались от жизни робкие немногочисленные монашки. Почему монашки, ведь монастырь-то мужской? Впрочем, в то время церкви было не до половых различий. Может быть, они приходили к кому-нибудь?

Мы учились во вторую смену и по вечерам пугали их, и без нас замордованных властью, о чем, разумеется, мы и ведать не ведали.

И волны ностальгии по ушедшему времени накрывали меня.

Зимой или в ненастье паперть заменяла чебуречная на Сретенском бульваре, но это было уже совсем не то, чего просила память.

Водка была или «Кубанская» (лучшее сочетание цены и качества – 2 рубля 62 копейки со стоимостью посуды, с легким привкусом чачи), или «Крепкая» (56°, напиток, убийственный для рассудка, но живительный для воображения).

В поисках разнообразия я обращал свой взор в основном на горькие настойки, исключительно полезные для здоровья и богатые вкусом и ароматом.

Незабвенный «Горный дубняк» (о, где ты?) переносил гурмана под сень октябрьской дубравы:

Мы ржавые листья

На ржавых дубах...

Чуть ветер,

Чуть север –

И мы облетаем.

Чей путь мы собою теперь устилаем?

Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?

Потопчут ли нас трубачи молодые?

Взойдут ли над нами созвездья чужие?

О чем ещё можно думать в осенней дубраве?

«Горный дубняк» хорош от болей в спине, суставах и приступов оптимизма.

«Калгановая», особенно эстонского разлива, была нежна, грустна, элегична.

С ней хорошо было проводить время и на берегу лесного озера в чистой и чинной Элве, и над убитой Москвой-рекой, размышляя о Будде или Конфуции.

Просветленный учил, как достичь абсолютной свободы (я всегда сочувствовал буддизму), китайский чиновник – науке подчинения и жизни в заданных обстоятельствах.

«Калгановая» показана при маточных кровотечениях.

«Анисовая» обжигала холодком. Она неизменно бодрила и заставляла верить, что скоро жизнь наша будет – один большой солнечный луг, поросший анисом, на котором будут пастись женщины и кони.

Помните про «Горный дубняк»?

«Анисовая» – лучшее средство от кашля, даже капли дат-

ского короля ей уступают.

Не чурался я и диковин – пленительный херсонский «Кальвадос» в тени украинских черешен располагал к неге и одновременно наполнял грудь отвагой: бежит, шумит Гвадалквивир, весь я в чем-то испанском...

Побожусь, что по качеству он был лучше того, что производят где-нибудь в Андалузии...

«Кальвадос» особенно рекомендуется при алкоголизме и депрессии.

Непростые, а подчас мучительные отношения сложились у меня со «Зверобоем» и «Зубровкой».

«Зверобой» уникален по широте лечебного применения: тут и хронические колиты, и хронические гастриты, и заболевания почек, и радикулит, и невриты с миозитами...

Но! Оставляет чересчур навязчивое послевкусие, а так как подобное лечится подобным... Одним словом, «Зверобой» – это лиха беда – начало...

Ни один здравомыслящий человек не будет спорить – ничто так не помогает при лихорадке, как «Зубровка». Поэтому совсем обойтись без неё невозможно. Но легкий парфюмерный мотив (а у польской – тяжелый!) принуждает постоянно думать о несовершенстве мира. Что, согласитесь, невыносимо, и заставляет обращаться к «Кальвадосу».

В домашней аптечке, где-то между перекисью водорода и клизмой для кошки – «Перцовая», от простуды.

Это – глубокое и, увы, распространенное заблуждение!

Настойка на перце – старинное и едва ли не самое полезное изобретение человечества. Она действительно универсальна, превосходя по своим целебным качествам даже вездесущий «Зверобой». Я знал людей, которые использовали её как наружное – мазали ушибленные места, поясницу при радикулите – и всё как рукой снимало.

«Перцовая» – первое средство при диабете: страдающим сахарной болезнью нельзя сладкого, «Перцовка» – самая горькая из настоек, своеобразное противоядие. У меня был приятель – он день начинал «Перцовкой» и заканчивал ею же, и даже ночью несколько раз прикладывался. И знать не знал, что такое диабет, с чем его едят. Правда, алкогольная эпилепсия тоже не подарок. Но так всегда: одно лечишь – другое калечишь.

Нет аппетита – «Перцовая» и только «Перцовая», есть аппетит – она и тут не помеха.

«Перцовая» уместна при любых жизненных обстоятельствах:

*Она выпила «Дюро», а я – «Перцовую»
За советскую семью образцовую!*

Понятно, что перечислить все замечательные целебные горькие настойки, к которым я, человек слабого здоровья, частенько обращался, я не в силах.

Но не упомянуть о «Померанцевой» я, право, не могу.

*Коробка с красным померанцем –
Моя каморка.*

Померанец – горький апельсин, благородный вкус, аромат, а «Померанцевая» просто необходима для понимания поэзии Бориса Леонидовича Пастернака.

И, на прощанье. Если вы хотите безнадежно заблудиться в лабиринте неясных мыслей и скомканных впечатлений – «Рижский бальзам» пополам с «Московской особой». И не вздумайте заменить «Московскую» чем-нибудь иным, всё испортите. И строго пятьдесят на пятьдесят, только так можно пройти лабиринт до конца и увидеть в центре – кого бы вы думали?

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное.

...

Блаженны ... жаждущие...

Рискованный это напиток – «Рижский бальзам», слишком много трав, ягод, почек и корней. Один имбирь чего стоит.

А вы говорите: наливай, да пей. Не так всё просто.

Жомини да Жомини!

А об водке – ни полслова!

Об этом мало кто помнит, так что я чувствую прямо-таки нравственную обязанность сохранить этот факт для грядущих поколений.

Было два сорта водки, разливавшейся малыми тиражами.

Надо полагать, для избранных питако́в, обладавших развитым эстетическим чувством и стремлением к измененным состояниям сознания: 50-градусная и 56-градусная.

И та, и другая практически всегда были в наличие в «Елисеевском» (я работал наборщиком в двух шагах – в типографии «Известия»), но на витрине всегда выставлялись где-нибудь сбоку, повыше или пониже, так, чтобы не бросались в глаза.

Я примелькался в винном отделе еще в те золотые времена, когда мои аппетиты (если я был один) не простирались более чем на две пол-литровые бутылки «Самтрестовского» №23, чудесного сухого белого столового вина или терпкого, как сама жизнь, мутноватого «Кахетинского» № 8.

А хмель! Хмель именно этих вин – легкий, светлый, радостный, чистый, пахнувший речной кувшинкой. . .

В нем не было ни печали, ни вздыханий, но жизнь вечная и неземной восторг.

Погубитель жизни моей сказал: сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен. Так вот, уродство мира, «случайные черты» ничем, кроме того чудесного хмеля, стереть было нельзя, но хмель тот краток и неповторим – вот в чем беда.

Беда была и в том, что я никогда не был один.

На работе сложилась устойчивая компания собутыльников: Слава Голубчиков, Саша Мартинес, Гоша Климов, Валера Черников.

Это были надежные, проверенные люди: они не бросали товарища в беде; выручали друг друга, прикрывали перед начальством; никто из этого алкогольного братства не спился с круга, хотя пили много и часто; я в этом содружестве был самым тяжелым больным.

С переходом во Вторую школу старые связи ослабели, а потом и вовсе прервались, мужские, но не женские.

Начиналась пора моих скитаний по Москве, вечерних, иногда и ночных.

Мои спутницы твердо усвоили истину: путь к сердцу мужчины лежит через бутылку.

Замечу в скобках, что ни одну из них я не приучил к вину. Странные у нас были отношения.

*Так знай: я ангел во плоти,
Я в клеточку тетрадь
Ты можешь сквозь меня пройти,
Но берегись застрять.
Там много душ ревет ревя
И рвется из огня,
А тоже думали – брехня,
И шли через меня.*

Мои спутницы были застрывшие, по выражению поэта, души.

Причем, я не обманывал их, никогда не говорил им, что я ангел во плоти, честно предупреждал, что все может кон-

читься очень плохо и очень болезненно, но они не верили...

Ну, да кто не спрятался, я не виноват.

Подробности мы опустим.

Но есть одна сторона, которую я вынужден разъяснить: пьянство требовало денег и не малых.

Свою зарплату я никогда не пропивал, она принадлежала семье, и это было святое.

Мы жили в материальном отношении так же, как люди нашего круга.

Было нормальное домашнее хозяйство, каждое лето и на школьные каникулы мы куда-нибудь выезжали: южная Эстония, Украина, Белоруссия – Днепр, Припять, Коктебель, Никитский ботанический сад, Каспий, Ленинград, Ясная Поляна, рижское взморье, Батум, Дон, Волга, Заволжье, Весьегонск...

Женя, хвала небесам, была не франтиха, обновки появлялись тогда, когда они были действительно необходимы, а не потому, что модны; и страданий у нее я по этому поводу не замечал.

Я тратил деньги на книги, но тоже в разумных пределах.

Ларчик, впрочем, просто открывался.

С семнадцати лет я давал уроки истории, обществоведения, литературы, русского языка, правоведения, политэкономии...

Я написал уйму курсовых и дипломов, в том числе по эко-

номике театра и другим экзотическим дисциплинам.

Были ученики, с которыми я учился со школы и до окончания вуза; с одной девицей я битый год обсуждал планы её замужества за адъютанта папы генерал-полковника. И выдал успешно.

Бывали и другие, куда менее забавные случаи.

Урок стоил 10 рублей за два академических часа. Иногда платили дороже. К генеральской дочери я доставлялся на черной «Волге», меня ждала бутылка «Цинандали» или «Гурджаани», легкая закуска и 25 рублей в конверте.

Не обо всех моих уроках знала жена.

Отсюда и деньги...

Осенью 70-го года у меня было несколько нелегальных уроков: один в доме, где жила Инесса Евгеньевна – с двумя юношами (20 рублей) и два двойных (по 3 академических часа) с одной девочкой, застрявшей во мне навсегда.

Эта история кончилась трагически, и до сих пор причиняет мне сильнейшую душевную боль. Не вспомнить о ней, против воли, я не смог, но возвращаться к этой истории больше никогда не буду.

Сначала мы по три часа гуляли по улицам, а зиму пересидели в «Кафе-мороженное» на Ленинском проспекте рядом со Второй школой; следующий сезон провели в гостеприимных и всегда пустых залах музея Карла Маркса и Фридриха Энгельса...

Весной мы вернулись на Университетский проспект; Бо-

же, что это была за мучительная весна...

Итак, деньги: в месяц набегало 250 рублей, это больше, чем я получал в школе (сто бутылок «Кубанской» без стоимости посуды).

Литр 666 граммов в день – этого даже я выпить не мог.

По времени мое бытие укладывалось так: у меня было 20 часов в выпускных классах, я заканчивал в 13.30. Домашние уроки начинались в 17 и 18 часов, а два попадали на субботу и воскресенье (некая Нина Яковлевна, которой я никогда не знал и в глаза не видел, снабжала меня учениками в избытке, и это был далеко не единственный источник отроков и дев, жаждущих знаний).

Так что я все успевал, да еще и не забывал побродить по Москве.

Но пьянка стала мне не по силам.

Одно дело – добраться от Ломоносовского проспекта до наборного цеха на площади Пушкина; держась за стальной бортик талера перестоять обход начальства, а там уже лечиться доступными методами.

Начальство смотрело на это сквозь пальцы.

Самое разумное было пойти в раздевалку ротации, принять контрастный жесткий душ (почти Шарко), выпить в буфете бутылку-другую «Будвара» под килечку и подремать в укромном уголке или прямо на рабочем месте, уподобляясь Александру Михайловичу Булычеву, всю жизнь проведше-

му на роковом распутии между водкой и лошадами.

Выйдя на пенсию, он окончательно утвердился в лошадках и в рабочее время отсыпался за все свои предыдущие запои, что ему, бедолаге, так и не удалось – запоев было много, а остаток жизни – слишком куцом.

Я несколько раз ходил со стариком и его сыном, тяжелым алкоголиком, на ипподром. Не лошади или молодой забулдыга Миша Булычев, а брат Александра Михайловича влек меня туда.

Петр Михайлович был лакомый кусок – заслуженный папач в отставке, он расстреливал людей и на Бутовском полигоне, и в подвалах Лубянки и Бутырки, словом, где скажут, там и стрелял: в лоб, в затылок, приходилось – и в сердце.

Он был тертый чекистский калач и развязал язык, только выпив в один присест три бутылки 56-градусной.

«Работали на износ, себя не щадили, а сволочи этой самой стало только больше», – твердо заключил он свой занимательный рассказ и доверительно добавил интимную подробность:

– Лично я предпочитал «наган».

Однако, эго, куда меня занесло.

Совсем другое дело – школа.

Учитель истории в школе – самая страдательная фигура.

Самый трудный школьный предмет – литература, но литератор, в крайнем случае, может придумать какую-нибудь

самостоятельную работу, а историк, особенно такой неопытный, каким в ту пору был я, это – театр одного актера.

Мало того, что сам по себе предмет скользкий, как намыленный, так еще и с бодуна можно утратить контроль над собой и сболтнуть такое...

В любую погоду я открывал настежь окно рядом с собой и говорил без умолку – речь была нитью Ариадны, держась за нее, я двигался по лабиринту действительности, не ведая, Впрочем – я от Минотавра или к нему.

Но, боже мой, какая мука... После утренней нечеловеческой перегрузки организм требовал разрядки: сказка про белого бычка.

Женя начала планомерную осаду меня. Сначала я был вынужден признать, что без лечения не обойтись, потом согласился на стационар, под разными видами отодвигал больницу, но ноябрьские каникулы я провел так лихо, что пришлось предоставить Жене свободу рук.

В нашем доме жил Виктор Николаевич Ильин, да, тот самый лубянский пастух пестрого писательского стада.

Владимир Войнович изобразил его весьма сатирическим образом, многие другие тоже отметились; видимо, было за что.

С самим Ильиным я вовсе знаком не был и никаких дел не имел, но сердобольная жена чекиста взялась нам помочь.

Так возникло имя Алла Вениаминовна и психбольница им. З. П. Соловьева (ныне клиника неврозов), что по сосед-

ству с Донским монастырем.

Мне это сразу не понравилось: именно в этой больнице амбулаторно лечился мой отец. Он честно принимал выданный ему под подписку антабус прямо в буфете Донских бань, запивая его именно водкой, может быть потому, что пива папа вообще не употреблял.

Я рассказал Жене об этом безрезультатном опыте, предположил, что я унаследовал от отца не только тягу к алкоголю, но и устойчивость к антабусу.

Но она была непоколебима...

Алла Вениаминовна (а кто из пьющих московских писателей ее не знал, а кто из московских писателей не пил, кроме Георгия Николаевича Мунблита?) – мне понравилась.

Она охотно вошла в мои обстоятельства: я хотел использовать зимние каникулы для лечения – курс длился месяц.

Алла Вениаминовна сказала, что решительно нельзя ложиться куда попало, и она устроит место у своего знакомого, хорошего врача и порядочного человека.

«Там вам напишут все, как надо», – пообещала она, а я, по первобытной своей наивности, не обратил внимания на эти слова.

Я уже встречал Новый год во мрачных пропастях земли и на больничной койке, так что мы договорились: новогоднюю ночь я без всякого усердия провожу дома, а четвертого января с двумя запечатанными бутылками водки (обязательное условие врачей) я направляюсь в приемный покой 15-й пси-

хиатрической больницы.

Слова «больница» и «приемный покой» меня не пугали, я был битый больничным волк.

Осенью 65-го года я два с лишним месяца пролежал в госпитале и был комиссован.

В декабре 65 – январе 66 года я неплохо проводил время в Институте ревматизма на Петровке, 25; там же я был в мае-апреле и в октябре 1968 года, после Праги.

Мне поставили красивый диагноз: «усталое сердце (cor lassum)».

И это была горькая правда:

*Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни довелось.*

В январе-феврале 69-го я лежал в инфекционной больнице на Соколиной горе, где проходил под кодовым обозначением «горшок № 15» – так и к телефону зовут, а вовсе не по фамилии.

Там было много занятного: телескоп, который вам вставляют в зад со словами: «открой рот, а то ничего не видно». Или ароматические клизмы из масел благородных растений – мечта пассивного педераста – после них анус благоухает персиком; я участвовал в уникальной оперативно-розыскной работе – поимке вора, похищавшего из моего номерного

горшка мой качественный стул.

Исчерпав на работе все законные методы отлынивания от общественно-полезного труда, я решил «закосить», пошел в поликлинику с жалобой на диарею, через три дня был отловлен скорой помощью прямо во время игры в футбол, и за моей спиной щелкнул вагонный замок двери инфекционного отделения.

Очень скоро врачи сказали мне, что дизентерии нет, но я должен пройти двухнедельный карантин...

Вор похищал мой здоровый стул, чтобы поскорее выпиться, мы с лечащим врачом сидели в засаде и поймали рецидивиста – злоумышленником оказался бывалый уголовник, видимо хроник.

Так что у меня был разнообразный больничный опыт.

Вернемся к тому, что работа в школе в корне изменила мою алкогольную ситуацию.

Я был белой вороной – единственным пьяницей в учительской.

Шило в мешке не утаишь – это сказано о пьянстве.

А какие усилия я прикладывал к тому, чтобы утаить.

Накануне рабочего дня я старался (часто – тщетно) не вываливаться за пределы нормы, а если получалось, совсем не пил; ну, разве только сталинскую норму: «150 с прицепом» в хрущевском варианте – на троих и две кружки пива.

Подобная доза проходила без всяких последствий.

По утрам, если вечер был томным, я закапывал в глаза лекарства, вызывающие сужение сосудов, употреблял нашатырный спирт (15 капель на полстакана воды); чтобы прийти в себя, пил рассол (соленую воду с добавлением небольшого количества растительного масла), чтобы восстановить солевой баланс, полоскал рот зубным эликсиром – были и другие, столь же наивные и, подчас, небезопасные для здоровья уловки, целью которых было все то же – утаить пресловутое шило...

Ничего не помогало.

Как тяжело ходить среди людей и притворятся не погибшим...

Администрация смотрела на меня косо, но, видимо, я не переходил каких-то последних границ приличия, и ситуация была оставлена на мое усмотрение.

До сих пор не понимаю, как я дотянул до конца полугодия – во время ноябрьских каникул я упал на эскалаторе, спускаясь с Воробьевского шоссе к метро «Ленинские горы».

Я пролетел почти всю лестницу-чудесницу, сохранил в целости две бутылки «Ахашени», а как не сломал шею и не разбился насмерть – это поразило даже выдавшую виды дежурную по эскалатору.

Как говаривал канцлер Отто Бисмарк, Бог бережет дураков, пьяных и Соединенные Штаты.

В понедельник 4 января 1971 года, правильно похмелив-

шись, в настроении скорее глумливым, нежели покаянным, я вступил под своды дома скорби.

Врач в приемном покое показала на объявление, висевшее у нее за спиной – «Больной обязан прибыть ТРЕЗВЫМ...» и решительно сказала: «Мы вас не примем!»

Я отвечал, что этим она, во-первых, убьет мою жену, человека, безвинно страдающего за мои грехи; во-вторых, убьет во мне веру в гуманизм людей в белых халатах и, в-третьих, совершит акт черной дискриминации: разве от больного раком требуют, чтобы он оставил свою опухоль дома?

– И, кроме того, – заметил я, впрочем, безо всякого вызова, – я не вижу полноценно трезвых людей среди новоприбывших: между ними есть люди с жестокого бодуна, которые в силу врожденной деликатности не похмелились и вот-вот умрут, вижу более-менее бодрюю группу правильно поправившихся и нескольких джентльменов, либо крепко спящих, либо уже окончивших свое земное поприще.

Померив мне давление, врач дружелюбно поинтересовалась, самоубийца ли я, я ответил, что лучше от водки, чем от простуд, и был отправлен с конвойной нянькой в отделение.

Лязгнул вагонный замок, и я стал лицом, состоявшим на учете в психоневрологическом диспансере; официальном идиотом, – сказал бы Швейк.

Это был первый минус стационара – тебя автоматически ставили на пожизненный учет, который закрывал путь за

границу, лишал права водить машину, но не запрещал учить детей.

С другой стороны, в какой-либо скользкой ситуации учет мог сыграть роль спасательного круга: и власти, и обыватель смотрели на это дело так – мол, что с него взять, он на учете состоит.

Диссидент из ПНД заведомо попадал не на зону, а в специальную психбольницу, впрочем, неизвестно, какое из этих двух зол было лучше.

В 1992 году я получил комнату умершей соседки только благодаря льготе ветерана ПНД и стал жить в отдельной квартире прямо накануне перехода всех нас в инобытие липового капитализма с лицом А. Б. Чубайса и Е. Т. Гайдара.

Советская психиатрия была карательной не только по отношению к инакомыслящим, она была карательной по отношению ко всем, кто попадал в сферу ее деятельности и власти.

Здесь придется прервать плавное течение сюжета и вступить на сомнительный путь лирических отступлений и рассуждений без гнева и пристрастия.

Мое глубокое убеждение заключается в том, что такой науки и отрасли медицины, как психиатрия, нет и быть не может.

Вы когда-нибудь задумывались, в чем состоит разница между душевнобольным и сумасшедшим? Если мы призна-

ем наличие душевнобольных, то должны предположить и существование души.

Что-нибудь кому-нибудь о душе точно известно (кроме попов, ну, да они не в счет)?

То-то!

Вот с теми, у кого крыша поехала – с теми, наверное, проще: ну, лишился человек ума – с кем не бывает. Но, говорят, что весь ум уместается в мозгу. Но мозга-то сумасшедший и не лишается, и крыша его физически находится на месте.

Стало быть, для того, чтобы лечить безумца, надо знать, как устроен мозг. А вот этого-то как раз никто и не знает!

То есть книг написано много, как и мозгов: головной, спинной и даже продолговатый.

Мы все знаем про мозжечок, лобные доли, кору, подкорку и функциональную асимметрию полушарий.

Но даже мозговеды-оптимисты согласны с тем, что человек использует возможности своего мозга хорошо, если на 5 процентов (и как они эти проценты вычисляют, если 95 процентов потенциала интеллекта никак себя не проявляют?). Даже о тех 5%, что вроде бы нам открыты (а так ли это?), идут ожесточенные и непримиримые споры.

А тут еще большие фантазии самих эскулапов, бред сексуального маньяка, извращенца и несостоявшегося гипнотизера Зигмунда Фрейда и вера психиатров в неограниченные возможности химии.

Психические болезни – суть болезни Психеи-души (смот-

ри выше).

Если вы внезапно осознали, что душа проходит, как молодость и как любовь, и вам от этого стало невыносимо больно, так больно, что жить не хочется, поздравляю вас, вы – душевно больной.

Если вам нестерпимо одиноко, страшно, скучно, стыдно, плохо – просто так, без повода; если вы не понимаете, зачем живете и вы всё чаще поглядываете на крюк – вы в хорошей компании...

Вы – душевно больной.

И упаси вас ангел-хранитель хвататься за бутылку!

Гораздо правильнее заняться спортом, культмассовой работой, поверить в Бога.

Но сказал же один пронизательный богослов: бывает такое состояние души – не вериться, как не спиться, не пишется, душа нема.

Тогда «Горный дубняк» и конюх с московского ипподрома.

Конюх откроет вам тайны бегов, а «Горный дубняк» нашепчет: Бог с ней, с душой, и без неё люди живут. И хорошо живут.

Ну, проходит, ну, падаешь под душой, как под ношею, с кем не бывает, пустяки, дело житейское.

*Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку ...*

А лучше две.

Больше семи за вечер, к чести моей могу признаться, я никогда не пил – умеренность и аккуратность.

Простенькая характеристика: «ненормальный» совсем не так проста, как кажется.

Ну, хотя бы потому, что ее, по большому счету, можно отнести к каждому (кроме доктора Владимира Николаевича Прокудина).

Кроме того, сразу же возникает ехидный вопрос о психической норме: существует ли таковая вообще?

У Жени была школьная подруга, Наташа А. Теперь она достигла степеней большой учености, а в 1966 году, когда я вернулся из армии, она была начинающим нейрофизиологом в институте Бурденко и занималась как раз вопросами пресловутой нормы. Научные наставники Наташи придумали некие параметры, а молодежь эти предположения проверяла. Испытуемых поставляла Военно-воздушная академия.

Молодые офицеры, совершенно физически и психические здоровые, исключительно политически грамотные и морально устойчивые люди, которым родина доверяла сверхзвуковые летательные аппараты и ядерное оружие, поголовно в норму не вписывались! У них начались неприятности по службе, и они отказались проходить непредусмотренные уставами и инструкциями сомнительные процедуры.

Возникла осязаемая нехватка подопытного материала, и Наташа предложила мне узнать, насколько я далек от нормы.

Институт был обшарпанный, в коридорах плохо пахло; меня посадили в какую-то круглую будку – все это не впечатляло. На голову мне поместили датчики, некоторое время я сидел в полной мгле, потом потусторонний голос приказал вычитать из 108 по 13. Пока я считал, несколько раз вспыхнул яркий свет, раздавались громкие щелчки, мне на голову пролилась холодная вода (до сих пор не ведаю: так было задумано или просто что-то протекло).

Позже Наташа сообщила нам, что именно я и попал в самую сердцевину нормы...

Ну, и что прикажете думать о подобной науке?

Я вовсе не нигилист по части медицины. Патологоанатомы ошибаются реже других, за что и нелюбимы коллегами. Ну, кому приятно услышать: «Как это вы, батенька, аденоиды перепутали с внематочной беременностью?»

Хирург хотя бы видит, что он режет, у пульмонолога есть палочка Коха.

При помощи примитивных отмычек психиатры пытаются открыть устройство, про которое никому не ведомо: открывается ли оно вообще. Наш мозг, наша психика – вовсе не черный ящик, как пытаются это представить мозговеды, а вещь в себе.

Методом тыка вливают в больного какой-нибудь галопе-

ридол, который якобы что-то лечит и заведомо калечит человека, употребление галоперидола может привести к неизлечимому слабоумию; при помощи аминазина превращают пациентов в овощи, истязают электрошоком и, как средневековые алхимики о философском камне, мечтают об «эликсире правды» или какой-нибудь панацее, вроде лекарства от страха.

Охранники при ключах, необходимые обществу в том же качестве, что и тюремные надзиратели, психиатры – единственные должностные лица в нашей стране, кому до сих пор законом разрешены пытки: печально знаменитая «сульфа» и многое другое.

Вот что пишет психиатр С. Ф. Глузман: «сульфозин (в просторечии «сульфа») является таким же психиатрическим лекарством, как палка: боль в месте введения адская, температура до 40 градусов, а коль не помогает одна инъекция, сделаем четыре, две под лопатки и две в ягодицы, чтобы ни рукой, ни ногой...».

Применяется до сей поры «по согласию пациента»...

Кто же тогда психиатры?

Это амальгама из немногих энтузиастов, пытающихся помочь кустарными средствами страдающим непонятно чем людям; из многочисленных корыстных шарлатанов. Из врачей-чиновников, регистрирующих больных и берущих их на учет, выписывающих рецепты (по большей части, бесполез-

ные или вредные). Но у нас уже так повелось: если пациент пьет таблетки, он вроде бы при деле и находится под наблюдением врача.

С таким же успехом можно наблюдаться у районного патологоанатома.

Самая худшая часть пестрого племени мозговедов – это сверхличности, презирающие свой ущербный контингент с недостижимых высот своего всезнания и всемогущества.

Вот среди них-то и встречаются такие самородки, как садист Виктор Столбун и ему подобные.

Мерзавцы без чести и совести, подручные Лубянки вроде пресловутого Даниила Лунца из института Сербского, многочисленные нынешние квартирные мошенники, грязные развратники с использованием служебного положения (доктор Рудаков, больница Ганнушкина образца 1979 года).

Недобросовестный или неквалифицированный врач способен свести пациента в могилу; любой заштатный психиатр может с легкостью необыкновенной переломить человеческую судьбу диагнозом, который практически невозможно опровергнуть.

Жаждал ли я избавиться от алкогольного бремени?

Хотел, но, видимо, недостаточно сильно и недостаточно искренне.

В моем настроении была некая двойственность: я хотел избавиться от страданий близких, я категорически не желал

больше думать – красные ли у меня глаза, несет ли перегаром, заметно или не очень, сколько я уже выпил; от сознания постоянной и постыдной неполноценности хотелось куда-нибудь забиться, спрятаться, стать невидимкой.

Но представить собственную трезвую жизнь я не мог. Никак не мог, при избыточно богатом воображении.

Это выдавало всю бессмысленность затеи со стационаром. Дело было даже не в стереотипе существования, рефлексе собаки Павлова: кончился рабочий день, прозвенел последний звонок – надо выпить, уже выделяется желудочный сок.

Дело было в том, что нужно было изменить мотивацию поведения. Если из жизни уходил такой мощный стимул, как алкоголь, его надо было чем-то заменить, возместить, залатать прореху.

А чем?

Любовь? Это у меня было.

И сын был, и я им занимался, может быть меньше, чем нужно, но мы играли, ходили в зоопарк и зоологический музей, за грибами на даче, я учил его фотографировать и печатать карточки, ездить на велосипеде, мы обсуждали прочитанные книги и разные события.

Книги? Но я постоянно читал и покупал отборные книги («застрявшие души» выручали).

Беда в том, что мотив нельзя создать искусственно, высосать из пальца.

Я жил в музеях, приобщая «застрявшие души» к высоко-

му, прекрасному и вечному, там же и пил принесенное с собой и шампанское в буфете...

И на футбол, и на хоккей.

Но не в театр и не в мюзик-холл – не любил и вкуса в том не находил.

А в кино – обязательно, и ведь было, что смотреть...

Чем заткнуть душу?

А там сосет, а она болит, её выстужает, и ничего в качестве вьюшки, затычки, кроме винной пробки, она принимать не желает...

У меня было подспудное убеждение – я должен пострадать. Поделом вору и мука.

Черная зековская телогрейка с номером отделения на плече, дворницкая метла, коробочки, которые собирали дрожащими руками мои однокорытники – все это указывало, до чего я опустился...

В отделение я прибыл как раз к обходу, и заведующий пригласил меня на доверительную беседу.

Надо сказать: я намеренно не прочитал никаких книг о лечении алкоголизма. Чтобы не расхолаживать себя, потому что догадывался, что я там прочту.

До сих пор есть два основных способа лечения от пьянства – суггестия (внушение: словесное, гипноз) и антабус (тетурам) во всех его модификациях.

Суггестией я сам владел виртуозно и однажды едва не

склонил первого секретаря Свердловского райкома КПСС города Москвы к вступлению в «Союз меча и орала».

Относительно папы моего и антабуса я уже говорил.

Антабус (в СССР его стали применять в 1954 году, а на Западе – сразу после Второй мировой войны) нарушает процесс окисления алкоголя, что ведет к резкому накоплению уксусного альдегида, и, как следствие, получаем жар, стеснение в груди, нарушение дыхания и сердцебиения, рвоту, страх.

На страхе смерти держится, собственно, все лечение, хотя летальный исход – весьма редкий случай.

Но врачи уверенно лгут: будешь пить – умрешь!

Не умер, однако.

Заведующий отделением был грузным пожилым человеком вполне медицинской национальности.

«Как спирт и сахар, тек в окно рассвет» – так потекла наша беседа и я сразу же, с первых слов, начал врать.

Боже, как я любил тогда лгать, а сейчас совсем не лгу, что говорит о полной утрате интереса к жизни.

Зачем я начал сочинять всякие туры на колесах и отводить глаза почтенному мозговеду – я и сам до конца не понимаю.

Скорее всего, я боялся, что он узнает обо мне больше, чем ему положено, то есть – ничего. Я знал, что «врачи» будут ломиться в мой запретный город и начал искать способы их туда не пускать – никогда и ни при каких обстоятельствах.

И первым рубежом обороны была многоуровневая, многослойная, хитро сплетенная ложь.

Ложь, как известно, бывает очень разная.

Ложь Хлестакова или Ноздрева была мне органически не свойственна, художественные приемы и фантазия в расчет вообще не берутся, остается ложь, как средство защиты и ложь для сокрытия неблагоприятных поступков, которую я снисходительно прощал себе как неизбежность.

Хотя и утверждал глубокий знаток и практик всякой неправды Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, что, не прилгнувши, не говориться никакая речь, я всегда старался быть по возможности правдивым.

Я презирал мошенников, облапошивающих доверчивых сограждан; но пьяница по природе своей лжив и изворотлив.

Так многое надлежит скрывать: нужно постоянно выдавать черное хотя бы за серое, заматывать следы, прятать деньги, алкоголь, избавляться от тары, смещать события во времени – всего не перечислишь.

Ложь требует отличной памяти, воображения, актерских способностей и искренней веры в то, что все, тобою произнесенное – сущая истина.

Лжи, то есть прямой неправды в версии должно быть ничтожно мало. Подлинные детали, обстоятельства, реальное место действия, если это возможно; привлечение к созданию легенды всего жизненного опыта, использование мнимых событий (был на экскурсии, т.е. действительно был в том месте,

где проводилась экскурсия, но занят был совсем другим) – нет, положительно, научить этому высочайшему мастерству нет никакой возможности, обманщиком надо родиться.

Почтенному психиатру я рассказал о Второй школе (сущая правда), доверительно поведал, что пишу учебник по собственной новаторской методике: отдельно политическая история, отдельно история культуры и отдельно история экономических отношений.

Для учебника составляю подробнейшие синхронистические таблицы мировой истории (был у меня и тот, и другой замысел, не получившие никакого практического осуществления) – все это было нарисовано широкими мазками, но кистью реалиста, склонного к импрессионизму, а la Константин Коровин.

Я пожаловался на крайнюю усталость и истощение нервной системы, из-за чего стал прибегать к алкоголю, сначала изредка – и помогало, потом все чаще и чаще – и помогать перестало, а теперь гублю себя, мучаю близких – и ничего поделать не могу. Очень хочу избавиться от непосильной зависимости, но уже есть устойчивый образ жизни, который называется порочным кругом.

Мой страстный монолог длился больше 2-х часов: исповедальная проза, жуткие подробности, запоздалое раскаяние...

Доктор предложил мне выполнить какие-то тесты. Я их не помню, кроме одного, видимо, по мнению психиатров, ужас-

но коварного: он протянул мне лист бумаги, где была начерчена вертикальная шкала. Верхняя часть графика изображала различные степени здоровья человека – от абсолютного к «практически здоров»; потом шли различной степени тяжести заболевания. В самом низу помещались неизлечимые недуги с летальным исходом.

Мне было предложено карандашом пометить свое место в этой вертикали жизни и смерти. Я уверенно поставил крестик чуть-чуть повыше летального исхода. Свой пессимизм я объяснил тем, что моя болезнь очень тяжелая, она плодит массу трудноизлечимых патологий; неизвестно, удастся ли мне от нее избавиться: если нет – я погиб.

Моя обреченность оставила приятное впечатление – Жене завотделением сказал: «Это не наш пациент» (если бы!).

Он определил меня, как бедолагу, который заблудился в трех соснах: перенапряжение, истощение сил и опрометчивое обращение к алкоголю.

Мне был предоставлен для вечерних занятий кабинет медсестры, где, помимо прочего, находились шкафы, набитые водкой, приносимой пациентами – весьма наивная провокация, и было разрешено самому избрать поприще трудотерапии.

Трудотерапия в нашем отделении – яркий пример идиотизма советской психиатрии.

Мы собирали коробочки для пломбира за 48 копеек.

Чем могло увлечь и излечить матерых пьяниц нехитрое и монотонное занятие, понять решительно невозможно.

Возглавлял это загадочное направление медицины отставной подполковник конвойных войск («И горжусь этим», – любил говаривать он), классический «хрипун, угнетенник, фагот».

Меня он возненавидел с первого взгляда.

Неожиданно для него, для себя и для всех окружающих, я выбрал поприще дворника.

Я вставал в шестом часу утра и шел разметаться. Пустынный двор, тишину которого изредка разрывали отчаянные вопли из корпуса малолеток и, издалека – крики электрички:

*Когда кричит ночная электричка,
Я не могу волнения сдержать.
И я кричу: замолкни, истеричка!
И умоляю дальше продолжать.*

Больницу окружал мощный забор, где я тотчас обнаружил дыру в укромном месте – вот она, постылая свобода! – но мне она была без надобности.

*Надмирно высились созвездья
В холодной яме января.*

«Звездное небо над головой!» – поражался один мыслитель, которого некий поэт намеривался упечь на Соловки.

Это, признаюсь, мой любимый мыслитель.

Ничто мне так не напоминает о смерти, как звездное небо над головой и ничто так не примиряет с неизбежностью конца. Все суетно и тленно, и даже это завораживающее зрелище не вечно: какие трагедии происходят в бесстрастном безмолвии, какие там сталкиваются, возникают и гибнут миры! Быть может, там, в непостижимой дали, уже случились события, которые обрекли нашу хрупкую жизнь, нашу сиюминутную цивилизацию на исчезновение.

Гомер, Данте и Пушкин, каждый из которых сам по себе – космос, бесследно канут в холоде и огне вечности... И никто никогда не узнает о нас, и никто никогда не вспомнит.

Я упивался трезвостью, одиночеством и легким дыханием.

«Раззудись плечо, размахнись рука», зима была мало-снежная, так что широкая лопата, окантованная дюралем, «движок», как его называют профессионалы, стояла у меня без применения. Я управлялся метлой, и мое усердие было отмечено высоким начальством.

Как хорошо думалось морозным утром, и как не веселы были мои думы.

Я ясно сознавал, что обречен.

Завотделением, тем не менее, считал, что я занимаюсь не своим делом, и предложил мне работу в архиве больницы.

В тесном и душном хранилище скорби меня встретили,

как родного, а узнав о моем высшем историческом образовании, привлекли к квалифицированной работе с историями болезни.

Вы помните, каким путем заведующий внутренним порядком «Независимого театра» Филипп Филиппович Тулумбасов стал тонким психологом и знатоком человеческих душ?

Самым простым: «перед ним за пятнадцать лет его службы прошли десятки тысяч людей. Среди них были инженеры, хирурги, актеры, женорганизаторы, растратчики, домашние хозяйки, машинисты, учителя, меццо-сопрано, застройщики, гитаристы, карманные воры, дантисты, пожарные, девицы без определенных занятий, фотографы, плановики, летчики, пушкинисты, председатели колхозов, тайные кокетки, беговые наездники, монтеры, продавщицы универсальных магазинов, студенты, парикмахеры, конструкторы, лирики, уголовные преступники, профессора, бывшие домовладельцы, пенсионеры, сельские учителя, виноделы, виолончелисты, фокусники, разведенные жены, заведующие кафе, игроки в покер, гомеопаты, аккомпаниаторы, графоманы, билетерши консерватории, химики, дирижеры, легкоатлеты, шахматисты, лаборанты, проходимцы, бухгалтеры, дегустаторы, маникюрши, счетоводы, бывшие священнослужители, спекулянты, фототехники».

Представьте себе, что все эти персонажи плюс несостоявшиеся убийцы товарища Сталина, поджигатели Третьяков-

ской галереи, шпионы всех стран мира, включая Эфиопию и Сан-Марино, врачи-вредители и просто вредители, подсыпавшие толченое стекло в компот стахановцам, узники гестапо, SS, Архипелага Гулаг, а также сидевшие и у Сталина, и у Гитлера; ссыльные, активированные, спецпереселенцы, завербованные по найму, стрелки вохры, лица, проживавшие на временно оккупированной территории и перемещенные лица прошли передо мной, и все они были сумасшедшие, душевнобольные, пьяницы или симулянты.

О, если бы я был писателем!

Какие бы сюжеты я накопал! Какие романы, посильнее «Фауста» Гете, написал бы!

И издательство «Художественная литература», не говоря уже о «Роман – газете» с радостью напечатало бы каждый сотысячным тиражом...

О, зачем я не писатель! Но бодливой корове бог рог не дает, а ведь многомиллионные гонорары упущены...

Я был направлен к дантисту, мне был показан душ Шарко и еще какая-то физиотерапия – в отделение я приходил к завтраку и к обеду.

Архив заканчивал в пять пополудни, старшая медсестра – тоже.

И я отправлялся в отведенный мне кабинет.

В палате на восемь коек я только спал.

Народ в палате собрался неинтересный.

Когда я туда вселился, там лежал летчик – Герой Советского Союза.

Но он мог произносить только одну фразу, правда, с большим неподдельным чувством: «Меня сбивали три раза», и впадал в прострацию.

Воспользовавшись его кратковременным просветлением, я спросил, не боится ли он, что у него украдут Золотую звезду.

– Она бронзовая, – просто отвечал Герой, – золотая у жены, а мне один алкаш за литр кучу медалей наточил. Сколько раз снимали.

Но услышать от него что-нибудь о войне так и не довелось.

На вопрос моего неделикатного соседа:

– За что Звезду дали? – летчик ответил жестко и внятно:

– Меня сбивали три раза, – и впал в прострацию.

Через два дня за ним приехали из Комитета ветеранов войны и увезли в госпиталь.

Один мой сосед, Петрович, был мастером по ремонту пишущих машинок.

Он починил все «Ундервуды» в отделении и его выпустили гулять по больнице – все старались воспользоваться оказией. На пользу это ему не пошло.

– Халтуры – во! – он проводил ребром ладони по горлу, описывая свою жизнь на воле. – Деньгами – само собой. Но там нальют, тут добавят – и вот я здесь.

Второй мой сосед, высокий жилистый старик, статью и голосом вылитый актер Лапиков, был почтальоном отделения.

После ужина он принимал деньги и записывал в тетрадь пожелания клиентов: курево, газеты, зубная паста, расчески и прочая мелочь. У почтальона был постоянный пропуск из больницы, и он делал закупки в киосках и магазинах рядом с метро «Каширская». Покупать и приносить какие-либо жидкости ему категорически запрещалось, а вот конфеты, сливочное масло, колбасу – пожалуйста.

Я как-то спросил его, нет ли соблазна разговеться. Старик оценивающе посмотрел на меня и тихо сказал:

– Да я ее в рот не беру. Никогда не баловался. А в дурку ложусь раз в два года – пенсию сберегаю – на новый телевизор коплю.

Напротив меня лежал Володя Монин, молодой человек, который, как говаривал Райкин, пить, курить и говорить начал одновременно. Диагноз «хронический алкоголизм» ему поставили (с большим запозданием) в одиннадцать лет.

Был Монин человек одутловатый, с кирпичным румянцем, редкой проволочной щетиной и визгливым голосом, существо мелочное, скарредное и надоедливое.

Он всегда талдычил одно и то же:

– Как только выпишусь, сразу возьму литр беленькой, две бутылки красенького и шесть бутылок пивка, «Рижского» – чем обрыднул всем смертельно.

Именно с Володей связан мой громкий провал в самом начале пребывания в доме скорби.

В первый же день вечером я отправился в курилку, т.е. в уборную; ну, да для людей, привыкших пить и закусывать в общественных туалетах, это была привычная обстановка.

Общество собралось довольно представительное, так что многим приходилось стоять.

Все слушали сбивчивый монолог Монины (все речения Володи даются в моих записках в переводе на обиходный русский язык).

Он предлагал прорваться за ограду, взять беленького, красенького и пивка, устроить знатный сабантуй, а там хоть сульфа и электрошок.

Я, по сути дела, классический интроверт, но с задатками народного трибуна.

Не знаю, что на меня нашло – утренний коньяк должен был уже перегореть, новизна обстановки меня не возбуждала, но я глаголом сжег немудреные сердца своих товарищей по несчастью.

Я призвал их захватить 15-ю психиатрическую больницу и водрузить над ней черный стяг, который не есть лишь флаг флибустьеров, но есть знамя ее Величества Чумы, о чем эскулапам хорошо известно.

Я гарантировал немедленно признание нашей экстерриториальности со стороны Эмнести Интернейшел и ЮНЕСКО. Президентом пира во время чумы мы тут же единогласно

избрали Владимира Мони́на и, говорят, он этим несказанно гордился до конца своей короткой жизни.

«В каждой палате, – вещал я утробным голосом гипнотизера, которого слышал днем, – будут установлены три крана: беленькая, красненькое и пивко. Краны с рассолом будут установлены в умывальнике.

Перед административным корпусом будет бить фонтан водки высотой в 21 метр в честь любимой игры контингента.

Уклоняющихся от дневной нормы в один литр беленькой, двух бутылок красненького и шести бутылок пивка («Рижского», – капризно потребовал Монин) будут наказывать сульфой, электрошоком и антиалкогольным эликсиром на основе медного купороса (такой или ему подобный, существовал в действительности).

У входа в больницу будут установлены две гигантские статуи из нержавеющей стали наподобие «Рабочего и колхозницы» Веры Мухиной – философа Георга Вильгельма Гегеля и гениального врача Авиценны – двух беспробудных пьяниц. Причем в руке у Гегеля будет бутылка, а у Авиценны – стакан. Они будут вечными аллегориями тому, что философствовать об абсолютном духе и сострадать больному можно только в нетрезвом состоянии.

На территории больницы будет разбит регулярный парк с мраморными статуями великих алкоголиков и художественно оформленными фанерными шалманами типа «Голубой Дунай».

Аkkордеон и скрипки будут исполнять душераздирающие мелодии на стихи Сергея Есенина: не жаль мне лет, растроченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь..., а также: не зови того, что отмечталось, не волнуй того, что не сбылось...

Для интеллигентов актер театра и кино Иннокентий Смоктуновский будет декламировать Блока: «уж не мечтать о нежности, о славе, все миновалось, молодость прошла...», и «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, «Аи».

Из тех, кого я видел, трое плакали.

«И всюду будут стоять бочки с солеными огурцами и хамсой. Вазы с фруктами и диковинными плодами, серебряные корыта с ананасами в шампанском...»

Через четверть часа в сортир набилось все отделение.

Накурили так, что щипало глаза.

Орали, как резаные, многие производили впечатление пьяных.

Предложение об установке отдельного крана для коньяка было отвергнуто, а вот относительно самогона прошло. Возникла фракция любителей плодово-ягодного и аптеки, причем приверженцы «Тройного» и «Шипра» тут же перегрызлись между собой.

С наступлением отбоя сестра не без труда разогнала народное вече.

Наутро меня потянули на ковер.

Собрался весь синклит мозговедов, они были настроены мрачно и решительно.

«Выгонят», – подумал я.

– Вы нас огорчили, – мягко сказал заведующим. – Конечно, это сатира с вашей стороны, шарж и карикатура, но наши больные понять этого не могут. Труды моих коллег вы пустили прахом. Монин, положим, неизлечим. Мы держим его здесь из человеколюбия, чтобы семья от него отдохнула. Мы наблюдаем его с нежного возраста, и его данные послужат науке. А вот в отношении некоторых других вы уничтожили с трудом созданный позитив. Вы пародировали приемы врача-гипнотизера, а это недопустимо.

Гипнотизер уставился на меня испепеляющим взглядом, но никакое самое дьявольское внушение не может одолеть той невинности Швейка, что я изобразил на своем лице.

– Вы – исключение, потому что у вас не снижена критика (помогла вертикаль жизни и смерти), и вы должны сделать соответствующие выводы.

С чем я и был отпущен.

Заведующим так точно и обильно меня цитировал, как будто читал стенограмму или слушал магнитную запись.

И я умолк, и напрасно контингент дождался второго отделения концерта.

В бурных спорах палаты – чем выводить из организма антабус: помогает ли лимонный сок или желудочный предпо-

читательнее, действительно ли эскулапы вшивают «спираль» или это фуфло, и есть ли средства против «торпеды» или надо ждать и мучиться – я ровно никакого участия не принимал.

Лишь однажды, на вопрос, пью ли я через шарф, я кратко ответил, что у меня не бывает тремора (дрожания рук и других членов), но не сдержался и похвастал своим глазомером: разливаю, мол, грамм в грамм на любое количество стаканов...

Пить через шарф (ремень, пояс) придумали те страдальцы, руки которых по утрам ходят ходуном, и людям решительно невозможно похмелиться, потому что они буквально проносят мимо рта или вовсе расплескивают драгоценное лекарство...

Поистине изумительна изобретательность пьяниц: в оном прискорбном случае надобно на запястье правой руки завязывать петлю, перекидывать шарф, а лучше ремень или пояс от женского платья через шею и подтягивать стакан ко рту плавным, но быстрым движением. Один виртуоз, у которого и в трезвом состоянии руки выделявали отчаянного трепака, учил желающих бриться при помощи этого замечательного метода.

Меня упростили показать свое искусство. Мне выставляли произвольное количество любых одинаковых стаканов, кружек, чашек, и я разливал по ним воду, но из водочной бутылки. Результат неизменно приводил зрителей в восторг.

Я в полной мере познал обременительность всенародной славы. Поток жаждущих узреть чудо не иссякал, и каждый второй был Фома неверующий и норовил вложить персты, то есть проверить результат мензуркой, после чего раздавалось восторженное: «Грамм в грамм!»

Наконец, в дар, ниспосланном мне свыше, пожелали удостовериться врачи. Гипнотизер толкал меня своим мощным взглядом под руку, но у него ничего не вышло. Он признал мою победу словами: «Вы – очень опасный человек!»

Никто, кроме Аркаши Чернова, и думать не хотел вылечиться.

Впрочем, и я надеялся выздороветь, но очень уж неуверенно.

В углу у самой двери лежал мой сверстник, Виктор Буряков. От него исходил мощный поток энергии именно алкогольного безумия.

Он был сыном милицейского генерала, давно махнувшего на него рукой; но мать и, насколько помнится, старшая сестра не отступились от него.

Виктор успел посидеть по замечательной статье «притонсодержательство» на двоих с сыном известного профессора, проходившего в оны годы по делу врачей-вредителей и знакомого мне по дачному соседству.

Буряков лечился в одиннадцатый раз и был уверен, что

рано или поздно умрет в психушке, и это его ничуть не огорчало.

Он рассказывал, что у него транспортный психоз, напираясь, он садился на поезд (самолет, пароход) и перемещался в пространстве в неведомом направлении. Самое интересное, уверял очарованный странник, оказаться в совершенно незнакомом городе без копейки в кармане и выпутываться из щекотливого положения.

На совместном с Витей опыте я убедился, что это – совсем не интересно и уж точно не так весело, как было обещано.

После завтрака он, если не был занят на процедурах, лежал на койке, повернувшись лицом к стене и изредка подавал голос, участвуя в ученых диспутах:

– В денатурат надо класть творог и активированный уголь, держать сутки, пропускать через марлю и только потом пить, а то ослепнешь к бебене матери, – авторитетно советовал он, уткнувшись лицом к стене.

Мне он признался, что все время думает об Анджеке Девис и страстно хочет ею обладать.

После обеда он собирал коробочки для пломбира, а вечером играл в карты – умно и расчетливо.

В Средней Азии он с лучшим другом пролежал на кошмах два месяца. Между ними стояло постоянно пополняемое ведро с водкой и миска с вяленой дыней.

– Из чего пили? – поинтересовался я.

– Из ковша. А водка эта ашхабадская такая вонючая – сил

нет. А с Василенко мы с тех пор расстались, слишком долго вместе молчали...

– Такая история описана Достоевским, – напомнил я, но он равнодушно ответил:

– Не знаю. Не читал.

В Крыму он с подругой жил в лозунге «Слава КПСС!».

На 50-летие Октября на перевале было установлено это назидание из огромных объемных букв, сколоченных из фанеры, окрашенной в верноподданнический цвет. Вот в первой букве «С» они и жили все лето, перебиваясь случайными заработками и мелкими кражами.

Буряков был женат пять раз, и со всеми женами сохранял любовные отношения.

«Вот и брожу меж ними, как пастух по деревне».

Еще один лежачий обосновался в противоположном углу у окна.

Он поступил через неделю после меня.

В общественной жизни он участия не принимал, молчал, вставал только в уборную, ел много что раз в день, и принимал лекарства под надзором медсестры.

Он обосновался на животе и время от времени рыдал, уткнувшись лицом в подушку.

Иногда он садился на краешек койки и, уставившись в одну точку, заученно произносил: «Она меня не простит! Я потерял ее навек! Бедные дети...»

Это был тщедушный, можно сказать, мужчина тридцати двух лет, по виду явный подкаблучник, лишенный права голоса, личной свободы, собственного мнения и самоуважения...

Но! Он был непревзойденным мастером склейки фарфора, работал в Доме быта: отсюда бакшиш, автомобиль «Москвич», модная стенка и в серванте сервиз «Мадонна» производства ГДР.

Жена его, товарищ Парамонова, десять лет проработала в райисполкоме бесплатно (т.е. ее зарплату забирал кто-то из начальства), за квартиру.

Отсюда трехкомнатные палаты недалеко от метро «Каширская» и место в гараже.

Понять: строила жена его в две шеренги потому, что он пил, или он пил, оттого, что она его строила днем и ночью – уже не представлялось возможным.

Словом, родила эта образцовая советская семья двух отпрысков и особенно не тужила, а напротив, умножала благосостояние.

Если папа приползал домой совсем уже никакой, мама привычно полоскала его в ванной и укладывала спать рядом с супружеским ложем на раскладушке.

На Новый год товарищ Парамонову наградили путевкой в Чехословакию.

Дети отправились в зимний лагерь, товарищ Парамонова – в Злату Прагу, а теща, срочно вызванная из города Буй

для контроля к выдающемуся склейщику фарфора, слегла в последний момент в жестоком радикулите, и заменить ее было решительно некем.

Построив мужа для острастки в три шеренги и забрав на всякий случай все семейные деньги, товарищ Парамонова устремилась в Европу, а предоставленный впервые за много лет сам себе Сеня Парамонов совершил роковую оплошность.

Дело в том, что по причине своей субличности, употреблял он только портвейн высших сортов и особенно налегал на «Хирсу», напиток действительно достойный мастера.

Взявши полный портфель (девять бутылок) «Хирсы», он решил, что наконец-то выпьет дома в полной безопасности, под сваренный женой замечательный холодец, который он очень уважал с хренком и солеными огурчиками.

И тут-то и прозвучал первый тревожный звонок: выяснилось, что пить одному совсем не в кайф: после «Хирсы» требовалось поговорить.

И он пошел в гараж и пригласил гостей...

*А жена моя, товарищ Парамонова,
В это время находилась за границею...*

Когда товарищ Парамонова вернулась домой, потрясенная зрелищем пражских магазинов и утомленная посещением этих капищ, чем она занималась все свободное от экскур-

сий по ленинским местам время, она была несколько озадачена отсутствием входной двери.

Вид квартиры окончательно поставил ее в тупик, и даже заставил подумать, не ошиблась ли она дверью.

Но двери-то как раз и не было, как не было и ровно никакой мебели, ковров, сервиза «Мадонна», серебряной грузинской чеканки, хрусталя баккара и коллекции фарфора. Не было золотого наперсного креста – все свое золото Парамонова надела на себя, а крест постеснялась – все же член партии. Не было ничего, даже люстры, умывальника в ванной; со шкафами исчезли и все вещи.

Из обстановки остался только унитаз, газовая плита, с которой были сняты все рукоятки и муж, спавший без задних ног под батареей, на кем-то заботливо расстеленной газете.

Товарищ Парамонова поглядела на мощный крюк, где еще полторы недели назад висела замечательная, почти хрустальная люстра и зарыдала.

Видимо, она впервые задумалась о смысле жизни.

Из истории болезни я узнал номер товарища Парамоновой (она работала в бюро по обмену жилой площади, а домашний телефонный аппарат чешского производства исчез вместе со всем прочим имуществом) и представился адвокатом несчастного Сени.

– Адвокат? – переспросила она. – Так он еще убил кого-то, сволочь.

И тут я повел речи, которых она совсем не ожидала.

Я стал убеждать ее, что утраченное материальное благосостояние она может вернуть только золотыми руками мужа, что никакой другой муж, кроме Сени, которым она привыкла помыкать, терпеть держиморду не будет и начнет ее поколачивать...

Она молча сопела в трубку, но уже не так злобно.

Я объяснил ей, что идеальных мужчин не бывает – это вздорная и разрушительная женская мечта. Если не пьет – значит, гуляет, или скряга несусветный, или зануда, либо маньяк, игрок, или имеет хобби разорительное и будет покупать то «Зенит», то «Киев», то цейсовскую «Практику» и седьмой увеличитель последней модели; в ванной он оборудует лабораторию, а жену и детей погонит в общественные бани, снабдив их, из экономии, хозяйственным мылом.

А уж когда он перейдет на цветную фотографию, ей останется только отравиться проявителем...

– Сеня голодает, начал пухнуть от дистрофии, спрашивал меня, где достать веревку, – проникновенно вещал я в трубку.

Видимо, я был чертовски убедителен: товарищ Парамонова зарыдала и сказала, что приедет на свидание с грязным животным. Но пусть он по этому поводу ничего не воображает.

Через день, в установленный распорядком дня час за Сеной пришла санитарка и сообщила, что его ожидает жена.

Мы поволокли впавшего в оцепенение счастливица на ран-

деву.

Товарищ Парамонова оказалась необъятных размеров крашеной блондинкой. Она вырвала из наших мерзких лап грязное чудовище (Сеня опух от слез, оброс и выглядел, прямо скажем, неаппетитно).

– Господи! На кого ты похож, подлец! Свинья свиньей! – голосом моего ротного старшины Лысенко запела товарищ Парамонова. – Ты обо мне подумал? О детях подумал?

Она дала мужу затрещину и поволокла его в глубь отделения.

Надо ли говорить, что она тут же нашла общий язык с эскулапами, выполоскала Сеню в ванной, заставила побриться, передела в чистое, собственноручно накормила домашним – и все это, не переставая строить и причитать.

По прошествии нескольких дней, немного оправившись от шока, Сеня Парамонов объяснил катастрофу, произошедшую с ним, изменой любимому напитку.

В первый же день свободы, когда «Хирса» была сметена гаражными завсегдатаями и знатоками племенной птицы (на беду рядом с гаражом притулилась голубятня), отряжен был гонец уже за водкой – дальнейшее утонуло в пламенном чаду.

Кое-что из имущества проспавшиеся и устыдившиеся воры вернули – невероятно, но очевидно – дверь навесил на место именно тот, кто ее снял «для дачи».

Я встретил Сеню много лет спустя, в другой жизни.

Он еще больше усох, скукожился, но продолжал потрясать владельцев антикварного фарфора клеем собственного изготовления, который не оставлял никаких следов, и швы склейки можно было обнаружить только в микроскоп.

Он не пил, вернее пытался пить дома под надзором товарища Парамоновой:

– И портвейна этого залейся... Сама покупает. «Хирсы» днем с огнем не сыщешь, а ей приносят... Но не могу – в горле костью встает, а тут еще она сидит и смотрит... Помнишь как я квартиру спустил? Ну, да ты-то знаешь, а здесь не верит никто...

Странное дело, событие, о котором Сеня по его собственному признанию, ничего не помнил, кроме лихого начала и сокрушительного конца, стало самым ярким эпизодом в его тусклой жизни, где даже «Хирса» была не в радость.

Еще одним жильцом нашей палаты был Егор Ершов, местная знаменитость и человек действительно незаурядный.

Таких людей вживе я видел дважды в жизни: был Ершов ростом 2 метра 2 сантиметра, весил ровно десять пудов. И мог бы, наверное, стать в молодости знаменитым баскетболистом или олимпийским чемпионом по штанге, но ни оранжевый мяч, ни стальной гриф с насечками, ни четырехтомник Платона, ни сборный концерт во Дворце съездов – ничто не вызывало интереса у Егора, он оживлялся лишь при виде водки.

Эскулапы ставили на Ершове жестокие опыты, которые могли кончиться смертью богатыря.

Но мозговедам было интересно, сколько может выпить такой уникам – и его щедро накачивали принесенной нами водкой, львиную долю которой врачи попросту растаскивали по домам.

Егор пил какой-то антиалкогольный декохт, неодолимое и жестокое рвотное, в состав которого входил медный купорос. Но его не рвало: он медленно багровел, тело сотрясали спазмы, позывы, но таз для рвотной массы оставался пустым.

Таким образом отрабатывалась новая метода лечения: создать устойчивый рвотный рефлекс на алкоголь, чтобы при одном виде бутылки больного начинало мутить, а в лучшем случае, чтобы он с искаженным лицом сразу же бросался в туалет.

Надо сказать, что все разрушительные опыты над Ершовым проводились с полного его согласия, и про медный купорос он знал, и про ацетон, а он был вполне вменяем и даже имел склонность к философии.

«Пока я пью – я существую», – говорил Егор, а ведь это в шаге от декартовского – «мыслю, стало быть, существую». Заметим в скобках, что Декарт между философскими штудиями пил мертвую и баловался запоями.

Если большинство пьяниц ценит результат выше процесса (бешеный интерес вызвал мой рассказ о том, что японцы во время мировой войны фронтовые сто грамм не пили, а при

помощи клизмы вливали в прямую кишку – опьянение на-
много сильнее и никакого перегара), то Ершов любил имен-
но процесс, самый момент выпивания водки.

«Пьешь её родимую, и с каждым глотком все жилочки
трепещут: есть для чего жить», – вне всякого сомнения, Егор
был еще и поэт.

Мой лечащий врач, Юрий Николаевич Сударев, был че-
ловек недалекий и самодовольный. Он был уверен, что од-
но звание психиатра наделяет человека сверхъестественны-
ми качествами.

– Вот мы с вами оба интеллигенты, – разглагольствовал
он, поигрывая вагонным ключом, – только вы по ту сторону
стола, а я по эту, и у меня в руках этот чудный ключ...

Мне хотелось достать из широких штанин свою увесистую
отмычку и ударить Юрия Николаевича по голове. Кончилось
тем, что я его ключ украл и подарил Аркаше Чернову.

– А все почему? – продолжал Сударев. – Потому что я
знаю норму, а вы нет.

Я рассказал ему анекдот про Сталина и товарища Засядь-
ко, «который свою норму знает». Юрий Николаевич оживил-
ся:

– А что? Может быть, тяпнем по маленькой... С разреше-
ния врача...

И он доставал бутылку из шкафа или из ящика стола – в
таком случае она была початой (если врач сам себе разреша-

ет, то можно...)

Он хмелел от водки, собственной щедрости и безнаказанности:

– Антабуса боитесь? Так я распорядился давать вам плацебо – пустышку, а точнее папаверин с дибазолом (прописан-то мне был именно тетурам, я же читал все назначения в кабинете старшей сестры), – он доставал стаканы и соленый огурчик.

Он, видимо, действительно не понимал, что я не только пить, я для других надобностей с ним рядом не сяду...

Я отказывался, он убирал свой провокаторский антураж и пытался беседовать со мной за жизнь.

Его кургузые мысли оскорбляли меня.

Я мямлил нечто неопределенное, удивляясь его несообразительности: в кабинете старшей медсестры хранились сотни явно не считанных бутылок, и она никогда не оскорбляла меня дурацкими подозрениями или предупреждениями, что каждый грамм взвешен, размерен и учтен.

Она что-то смутно понимала из того, что со мной происходит, Сударев не понимал ничего.

Через несколько лет он стал пациентом отделения, и я искренне за него порадовался.

Ко мне прибились два тихих пьяницы: Аркаша Чернов и Володя Богомолов.

Чернов был гляциолог, в одной из экспедиций он поте-

рял левую руку по локоть, но из профессии не ушел; он был влюблен в свои льды; лихо, по словам очевидцев, водил вездеход и рвался в самые опасные предприятия.

Он был женат и имел двух дочерей дошкольного возраста.

Его жена, учительница, работала воспитательницей в том детском саду, куда ходили дети.

Это была милая, преданная и самоотверженная женщина; было видно, что мужа она любит самозабвенно и никогда, ни при каких обстоятельствах, не бросит его, но она уже была надломлена горем.

Чернов был единственным человеком в отделении, который истово хотел вылечиться.

– С риском для жизни я брал образцы воды и эти, еще неисследованные объемы я слил в унитаз, чтобы сдать посуду и похмелиться, – он чуть не плакал от сознания собственного падения.

Аркаша пропивал все семейные деньги. Дочери и жена кормились в детском саду, привыкли к нужде...

Лариса что-то перешивала, вязала, только что сапоги не тачала.

Стыд жег Аркадия, он был мрачен, немногословен, но любил помечтать, как они счастливо заживут, когда его вылетят.

Мне отчего-то вспоминался Актер из пьесы Максима Горького «На дне».

Володя был спортивным ортопедом. Его единственный

темой были воспоминания, сколько и с кем из знаменитых спортсменов он выпил.

В клинике, где он работал, их шугали, и спортсмены с доктором собирались в хозяйственном дворе «у помоечки», что привело к возникновению у Володи устойчивого рефлекса – пить у мусоросборников.

Я объяснял ему, что если он сумеет преодолеть нездоровое тяготение к мусорным бачкам и контейнерам, то сможет побороть недуг.

– Зря вы так, – обижался он, – я же медик. Гигиена прежде всего – газетку аккуратно постелим, специально две-три газеты покупал...

Он был безнадежен.

Собственно лечение заключалось в беседах с врачом и приемом лекарств.

Пациентам, подобным Монину, сестры заглядывали в рот, проверяли, проглотил ли больной свое спасение или прячет за щекой или под языком.

Меня, естественно, не досматривали.

Вообще, в любом месте ограничения или лишения свободы – в армии, в больнице, в дурдоме я стремился выстроить вокруг себя систему маленьких, но подчас очень важных привилегий.

В госпитале и институте ревматизма у меня было отдельное помещение (во вне рабочее время), в психушке я полу-

чил его безо всякого труда, как говорится, на личном общении плюс небольшое лукавство.

Как ни странно, я действительно использовал кабинет старшей медсестры для работы: я писал некий текст, пытаюсь разобраться в причинах и следствиях нашей семейной драмы.

Об этом либо позже, либо никогда...

Были еще и сеансы гипноза.

Происходили они так: в большой палате на кушетках укладывались больные, каждый со своим полотенцем и тапачком для рвоты.

Гипнотизер, демонического вида мужчина с горящим взором, погружал пациентов в гипнотический сон.

Сколько раз я пытался изведать это необычное состояние – ни разу не сподобился.

Впрочем, гипнотизеру только казалось (он сам становился жертвой своего искусства), что сон был гипнотическим.

Половина подопытных продолжала бодрствовать, притворяясь по мере сил, некоторые засыпали сном обычным, про остальных не скажу – хотя я и устраивался в заднем ряду, не все находились в поле зрения.

Потом гипнотизер начинал дико и утробно завывать: «Водка! Водка! Вас сгубила водка! Вы все умрете под забором!» – и тому подобные банальности.

– Эка надрывается, – шептал мне сосед, высокий лысый

доходяга.

Покричав, он принимался суетливо бегать по рядам и совать под нос пациентам вату, смоченную водкой.

Это должно было вызвать рвоту и другие защитные реакции организма.

Некоторые эту вату сосали.

Не помню, чтобы кого-нибудь вырвало.

Все это было так глупо и бессмысленно, что я однажды не выдержал и рассмеялся. Разгневанный эскулап схватил меня за шиворот и с нечеловеческой силой поволок к выходу. На этом мои сеансы гипноза бесславно закончились.

Вряд ли это шаманство кому-нибудь помогло.

А как еще лечить прикажете?

У меня был знакомый – великий завистник. Он запивал от приступов зависти: купил приятель дубленку – запой, приобрела свояченица финский ореховый спальный гарнитур – жестокий запой.

Когда его сосед, приёмщик утиля, приехал домой на собственном 403-м «Москвиче», знакомый мой опился и умер.

А вот его-то как раз лечить было проще простого: купил некто дубленку, моему знакомому его психиатр должен был купить дубленку и кожаный пиджак в придачу, и «Волгу» против «Москвича».

Но всякий ли врач на это способен, всякому ли хватит душевной чуткости?

Сомневаюсь.

Другой случай был гораздо сложнее: один начинающий поэт признался мне, что всегда, когда слышит музыку сфер – плачет.

Плакать ему было стыдно, а пить – нет (поэт – им самим Блоком завещано).

А музыку сфер он слышал часто, почитай каждый день.

Затычки в уши не спасали; музыку сфер отменить никто не в силах...

Его упорно лечили электрошоком, и он сошел с ума.

Тщетно пытался я понять, что же мне делать после выписки, которая стремительно приближалась.

Распорядок клиники не угнетал меня: подъем в восемь часов, ленивый, неспешный, измерение давления (оно постепенно возвращалось к норме), прием лекарств (я таки, жертвуя печению, пил антабус – это было созвучно моему настроению: испить чашу позора и абсурда до конца; тетурам я относил к абсурду – нельзя душу вылечить тетурамом).

Одной из причин моего пьянства, безусловно, было исподволь, но постоянно точившее меня сознание, что я – раб.

Я понял это еще в старших классах школы, когда убедился, что советская политическая система покоится на лжи и насилии (как и нынешняя, впрочем).

Ложь для власти была равновелика насилию даже в период больших кровопусканий и запугивания населения до со-

стояния столбняка (1929-39 годы), во времена же вялотекущей шизофрении и вегетарианского людоедства (1953-1985 годы) – ложь была важнее насилия.

В августе 68-го года семеро смелых вышли на площадь, а я прикрепил к лацкану пиджака значок с флажком Чехословакии.

Я отказался выступать на митинге в поддержку оккупации, но на площадь не вышел.

Раб КПСС, раб Средней Маши, мудрый раб, почти Эзоп, я понимал, что могу потешить гордыню, лишь сломав судьбу жены и сына.

Я – в Мордовию, Женя – из университета, а Илья через десять лет – в армию.

Я понимал, что я не какой-нибудь Владимир Буковский, который никогда ни о ком, кроме себя и своей всемирной славы не думал (все то же соседство по даче, ведь юность героя и его военные игры по обучению молодых заговорщиков в шереметевских лесах проходили на моих глазах).

Раб, сознательно, пусть вынуждено, выбравший «несвобо-ду» – самый несчастный, самый падший из рабов.

Обстоятельства бывают сильнее нас, но все же, все же, все же...

Не то, чтобы я ежеминутно чувствовал на шее ярмо с гремушками и бич на спине.

Жители 26-го Красноярска редко созерцали внешнюю зону, а те, кто не работал в шахте и других секретных объектах,

никогда не видели промышленную зону во всей ее грозной неприступности, но многие говорили, что какой-то частью мозжечка постоянно ощущают, что живут за колючкой.

Я никогда не рвался за границу, но сожаление о том, что я никогда не смогу поглазеть на собор Гауди, а после желтого дома – никогда вдвойне, тоже постоянно присутствовало в подсознании.

И мысль, что никогда я не смогу, записав тему урока в журнал (заполняя журнал, я отдыхал две-три минуты, такой вот тайм-аут) и захлопнув его, никогда не смогу сказать: ну, ладно, поваляли дурака – и ладушки, а теперь давайте попробуем разобраться, что действительно случилось с нами в «настоящем XX веке»...

Никогда не говори никогда!

Но одну ложь сменила другая, правда не столь принудительная.

В 1993 году ко мне в «Класс-Центр» пришел один родитель, дабы понять, откуда я такой недобиток взялся, и поинтересовался, не расстреливал ли я несчастных по темницам...

Я посмотрел на него равнодушно, как на пустое место, и спросил:

– Вы ведь состояли членом Коммунистической партии? Вижу, состояли, в преступлениях её, стало быть, замешаны. А я – нет. Пшел вон!

С Еленой Борисовной Козельцевой я бы в таком тоне раз-

говаривать не решился...

Свобода, однако...

Первый же проверяющий во Второй школе, с которым меня столкнули нос к носу, спросил:

– Вы – не член партии?! А почему?

Что прикажете отвечать: то, что есть на самом деле, чтобы хоть на минуту почувствовать себя свободным и подставить всех? Или согласно высоким образцам, коих на самом деле всего два: Швейк и Эзоп...

– Ленин говорил, что нельзя стать коммунистом, не овладев всеми сокровищами знаний, которые накопило человечество, – я сделал такое идиотское лицо, какое только мог скорчить.

Меня так и подмывало просвистеть зловещим шепотом: я вообще-то состою на учете в психо-неврологическом диспансере..

– Ну, эти слова Ленина надо понимать, так сказать, образно, – начал мяться проверяющий, – это, так сказать, процесс, в процессе которого... Иначе мы все в коммунисты не годимся...

– Ты сказал, – жестко отрезал я.

Через неделю у другого умника я попросил рекомендацию в партию, и он сразу засобирился в учебную часть.

Съезды, столетний юбилей, обязательное изучение классиков по списку – всю эту тягомотину и мертвечину мы проходили, обходили, извращали по мере сил...

На постоянное насилие над ней измученная душа отвечала одним – увеличением дозы.

Жизнь отделения тянулась монотонно, размеренно: пребывавшие новобранцы рассказывали, если хотели, свои нелепые истории – блески истинного идиотизма встречались редко.

Запомнился один джентльмен, которого жена, зная о его непомерной врожденной стыдливости, оставила дома безо всякой одежды, не исключая, пардон, трусов и постельного белья, чтобы не во что было ему задрапироваться.

Но джентльмен не пал духом: при помощи немудреных столярных инструментов он из одностворчатого шкафа соорудил чудесное однобортное пальто.

Он пропилил в крышке шкафа отверстие для головы, по бокам – дыры для рук, выбил днище, залез внутрь, зажал деньги в кулаке и в таком виде отправился в винный магазин, где его, нельзя даже сказать, повязали... Скорее перекантовали в чумовоз и доставили в дурку.

Герой этого происшествия был мрачен и немногословен: – Я же не шимпанзе какая, чтобы нагишом по городу разгуливать.

И наотрез отказался сообщать какие-либо подробности.

История другого, бесстыдника, была пикантнее.

Если верить ему на слово, произошло следующее:

– Иду я с ночной, встречаю знакомого, он тоже с суток – грех не выпить. Но еще не продают.

Зашли к нему. Я говорю:

– Ты пока сбегай, а я у тебя помоюсь, а то дома смеситель полетел.

Задернул я занавес, стою намыленный, и тут в совмещенный санузел влетает его баба:

– Чуть, говорит, не описалась. Я деньги забыла, хорошо вовремя хватилась, – и, между делом, хватя меня за конец.

Тот по стойке смирно.

– В кои-то веки! – обрадовалась она и ширму в сторону:

– Ты кто? – говорит.

Я отвечаю, как есть:

– Электрик.

– Пойдем, говорит, посмотрим, какое у тебя напряжение, – а сама так и тянет.

Ладно, думаю, успеем. Однако муж больно приткий оказался...

Мы-то с ним почти что мирно разошлись... А когда я ушел, он литр скушал и навешал ей горячих от души. Она заявление накатала и в милицию – я, дескать, её изнасиловал.

Это я-то!

Я говорю следователю:

– Вы разберитесь, кто кого еще изнасиловал. Когда тебя тащат, как вошь на аркане, приходится соответствовать.

И так, к слову, сообщаю, что, мол, состою на учете. Сле-

дователь мне поверил, взял подписку о невыезде...

Ложись, говорит, пока в дурдом, тем временем я с ней разберусь.

Не иначе, как опять напряжение будут проверять.

Посещала меня только Женя – так было договорено. «Застрававшие души» знали, что я в желтом доме, но адрес им был неизвестен.

Не знаю, насколько она верила в мое исцеление; наверное, надеялась – для чего-то она определила меня сюда.

В последнюю пятницу перед выпиской я, как обычно, отправился в хранилище, где архивные девушки уже всерьез стали покушаться на мою нравственность.

Утро выдалось морозное, и я решил пройти через цокольный этаж, где располагалась учебная переплетная мастерская.

Я шел между штабелями флатовой бумаги, каких-то коробок и ящиков, листов коленкора, остро пахнущих клеем – коленкор здесь сажали на картон, и делали канцелярские папки, обложки для историй болезни, большие футляры для архива, блокноты разных форматов, юбилейные адреса и что-то еще.

Я думал о своем, запьянцовском – девушкам надо сказать, что алкоголь убил потенцию (так ведь они не поверят и станут проверять!), и плохо контролировал обстановку.

В какой-то момент я остро почувствовал опасность и убедился, что окружен.

Безумные кучковались вокруг огромного резака, этакой механической гильотины с педалью. Я такого и в типографии не видывал!

Почему в больнице не организовали сборку гранат?

Ни инструкторов производственного обучения, ни медперсонала... За спиной у меня маячили три мрачные фигуры, по виду – бывалые вурдалаки.

Мне стало сильно не по себе: умереть от усекновения головы, от рук нелюдей, за попытку трезвой жизни!.. Я сделал вид, что не заметил западни, но главарь переплетчиков, бледный и злобный дегенерат моего возраста, преградил мне путь:

– Ты слишком длинный. Тебя надо укоротить.., – он с трудом шевелил обескровленными губами.

– Сначала перекурим, а потом обсудим проблемы роста, – любезно ответил я и достал нераспечатанную пачку «Camel»а.

Удивительно все сошлось – я не курил, бросил в 1969 году в честь того, что на дне рождения матери надрался так, что возжелав освежиться, полез под душ, как был – в костюме и обуви, сигареты в кармане пиджака намокли, и я выбросил их, наказав себя за свинство отказом от курения...

И я не курил десять лет.

Но накануне один товарищ по несчастью, человек совсем

молодой, но уже директор военной картины на «Мосфильме» (взрывы, пожары – из сэкономленных бревен он строил дачу в ближнем Подмосковье) получил из Франции «спираль» тамошнего производства и очень хотел узнать, что написано в инструкции, особенно срок действия.

Я устроил перевод. Срок действия чудо-пробирочки составлял всего 6 месяцев, и на радостях Марк Бердический подарил мне блок «Camel»а.

Я, хоть и не курил, взял – больничная валюта...

«Camel» произвел на безумных чрезвычайно впечатление (я нес две пачки для архивных девушек), мы закурили, настоящий вирджинский табак ударил в их некрепкие головы, и пока они делили между собой пачку, я удалился по-английски.

Странно, но меня напугала не столько возможная смерть, сколько нелепость и унижительность подобной кончины...

А на следующий день учудил Михалыч, повелитель «Ундервудов».

Он выбрался через дырку в заборе, напился, упал на улице, и милиция вернула его по принадлежности – на нем был фирменный фрак с надписью на спине «15-я психбольница» и уточнением на рукаве – «17-е отделение».

Михалыч просто вывернул ватник наизнанку, в винном магазине на него не обратили внимания, а вот опытные каширские менты быстро разобрались, кто он и откуда.

Повелитель «Ундервудов» умирал, во всяком случае, нам так казалось – он был темно-багрового цвета, хрипел, его сотрясали судороги и приступы рвоты, все вокруг было залито блевотиной. Он был без сознания.

Его уложили под капельницу на его собственное место, видимо, нам в назидание.

Смотреть на него было невыносимо.

Володю Монины, который шлялся из палаты в палату, рассказывая, как его короновали в президенты, изблщчили в подстрекательстве – это действительно он подбил Михалыча, уверяя, что эскулапы гонят туфту, нам дают какую-то дрянь, а антабус продают налево.

Володя провел в больнице полжизни, и Михалыч ему поверил.

Михалыч пообещал принести Монины беленькой и красенького, а вот теперь умирал посреди палаты.

Монины дежурный врач распорядился попотчевать «сульфой» квадратно-гнездовым методом, его уложили «козлом» – животом на клеенку в процедурной, он орал дурным голосом, но ему мало кто сочувствовал.

Склонных к побегу зафиксировали, т.е. привязали к койкам, а за Ершовым установили постоянное наблюдение, видимо опасаясь бунта.

Я, от греха, ушел в столовую, где с напарником приступил к выпуску стенгазеты, которая до меня скучно называлась

«За трезвость», а теперь: «Либо пить – либо жить».

Внимание больных и медперсонала привлекал большой кроссворд на алкогольно-лечебную тематику, карикатуры и мои душераздирающие передовицы о разных гранях порока.

Пока мой напарник, Наум Кричевский, рисовал большой граненый стакан самой непривлекательной наружности с утопающим в нём жалкого вида алкоголиком с лицом Юрия Николаевича Сударева, я начал сочинять стихотворные подписи под карикатуры.

Наум был талантливый художник, но спился, и на хлеб и водку зарабатывал оформлением витрин в магазинах: к революционным праздникам было особенно много работы – он декорировал бутафорские колбасы и сыры кумачом, художественно располагая среди пламенных складок ткани и плавленых сырков портреты основоположников и верных последователей.

Однажды, оставленный в булочной на ночь без присмотра (нельзя же напиться в булочной, но Наум напился), он создал портрет Карла Маркса из различных сортов печенья, пряников и сушек, панно неотразимой художественной силы.

Его таскали в КГБ, но директора магазинов от его услуг не отказались, и он потом выручал меня в трудные минуты.

Стакан мне понравился, особенно Сударев в нём, и я сочинил подпись под Маяковского: «Людей погибло в том стакане поболее, чем в Тихом океане».

Другая моя подпись: «Не стыдися, пьяница, носа своего –

он ведь с нашим знаменем цвета одного!» была отвергнута как политически незрелая.

Я профессионально сверстал газету: поклеил колонками машинописные материалы, оставив место для фотографий; Наум изобразил линейки, отбивки и посетовал:

– Были бы фотки – можно было бы вешать...

Помяни чёрта – а он уже здесь!

– Вы просите фото, их есть у меня!

Петя-«Лейка», прозванный так, потому что описание всех превратностей своей жизни он неизменно начинал словами: «Когда мне исполнилось двенадцать лет, отец подарил мне трофейную «Лейку»...», был хороший фотограф, но человек сомнительный, втируша и стукач.

Работал он в конторе «добрых услуг», дело было хлебное. Снимал «Лейка» (строго по прејскуранту) выпускные классы, группы детских садов, семейные торжества. Начальство ему благоволило и пускало попастись на сочных заливных лугах свадеб и похорон.

Непосредственно перед тем, как оказаться в нашей компании, Петя снимал свадьбу, которую играли уж как-то необыкновенно широко.

Когда свадьба всюю пела и плясала, «Лейку» усадили за отдельный столик и предложили выпить и закусить. Видимо, хозяева оказались чрезмерно хлебосольными...

Вернувшись к прерванной съемке, Петя неожиданно захватил микрофон у тамады.

Едва он произнес обязательную фразу про подаренный трофейный фотоаппарат, свадьба замолкла и остановилась, почуяв приближение дежурного скандала.

– Вообще-то я больше люблю снимать похороны, – мастер делился сокровенным и дал волю воображению, – как-то больше забирает. Представьте себе, что наш молодой жених лежит в гробу, а юная невеста льет по нему безутешные слезы... Драматургия! Шекспир! Панорама!...

Драку заказывали?

Петю била почитай вся свадьба, пока одна из подружек невесты, измученная завистью к роскошному белому платью и фате новобрачной до такой степени, что в ней проснулось сострадание к человеку, омрачившему торжество, не завопила истошно:

– Вы убьете его!..

И свадьба пожалела «Лейку».

Его голову шаферы долго держали под холодной водой, а потом гости стали лечить подобное подобным.

Водки различных сортов, коньяки с разным количеством звездочек, кубинский ром и английский джин, грузинскую чачу и медицинский спирт, не упоминая уж о ликерах, портвейнах, настойках, наливках и даже «Ркацители» – вот что пришлось испытать безропотному от побоев Пете...

В больницу его доставили по скорой, с острым алкогольным психозом. И он неделю лежал зафиксированный и, судя по его сбивчивым речам, воображал себя владельцем фо-

тоателе. Он часто повторял: «Мне бы свое дело, я бы завязал...».

Может быть, может быть...

Он принес фотографии лечебного процесса и Михалыча в собственном соку.

– Очень хорошо! Очень остро и правильно со всех точек зрения!– оценил наш труд заводделением. – Вот здесь сатира уместна, здесь уместна карикатура и шарж! Вы все трое взяли за ум и стали положительно влиять на контингент.

А Михалыч не умер.

Больше всего огорчился он тем, что ему теперь непременно начертят неприличное «хр».

Только теперь я понял смысл загадочных слов Аллы Вениаминовны: «Напишут то, что нужно».

Почему Михалыч безропотно чинил потрепанные больничные «Ундервуды», Олег Кривушин, «золотые ножницы», стриг женщин отделения и администрации так, что они помолодели и похорошели, Петя-«Лейка» их художественно фотографировал, а Наум Кричевский с таким мастерством рисовал несимпатичный граненый стакан?

Для того только, чтобы в графе больничного «диагноз» эскулапы написали вместо убийственного «хронический алкоголизм» лукавую и двусмысленную «псевдодипсоманию», что в переводе с древнегреческого означает «ложный запой».

Если даже в администрации или бухгалтерии учреждения

и найдется любознательный человек, умеющий пользоваться словарем, он ничего определенного не узнает.

Что значит «ложный запой»?

То ли страдающий псевдодипсоманией человек пьет запоем, но «Боржоми» или кефир? Или же он пьет все-таки водку, но не настоящим запоем... А как? Или же вообще не пьет, а только воображает, что страдает этой самой «псевдой»?

Дело в том, что «истинный запой» – это фигура речи, он вообще не встречается или случается так редко, что его никто никогда не наблюдал.

Истинный запой – неостановимый, который прекращается только по независящим от больного обстоятельствам. Например, со смертью страдальца или же с помещением его в бронированную камеру – такая вот необычная ситуация.

«Псевда» – это и есть тот обычный запой, что-то вроде привычного вывиха, но не сустава, а души, с которым мы время от времени встречаемся в повседневной жизни.

Словом, вышли мы все из запоя, дети эпохи застоя.

И пробил час освобождения.

Я получил больничный с «псевдой».

Завотделением крепко пожал мне руку и выразил желание встретиться со мной приватно за стаканом чая.

Сударев, криво ухмыляясь, сказал:

– До свидания...

Я нашел его в отделении в качестве пациента через несколько лет:

– Вы, прощаясь со мной, сказали «до свиданья», Юрий Николаевич. Вот и свиделись.

– Помните, я предлагал вам налить? И налил бы! Ей богу налил бы! А мне вот никто не предлагает и не нальет, – только-то и ответил он.

Я молча протянул ему бутылку водки, он молча взял. Лицо его озарилось светом неувечерним.

Я прошел мимо корпуса малолеток, откуда неслись привычные отчаянные вопли, показал паспорт и больничный на вахте и вышел в город.

Весь мир был невыносимо серым: снег, люди, транспорт, дома, деревья, небо...

И все безумно раздражало: уличный шум, толпа, запахи, и сразу неодолимо потянуло выпить.

Умники, в том числе из бывших пьяниц, говорят: это – переход через пустыню, это – чистилище, это надо и можно осилить.

Люди честные обязательно добавляют – если есть мотив.

У меня мотива не было.

Я искренне не хотел мучить дорогих мне людей, но это – не мотив.

Как можно жить, когда тебя все раздражает – и близкие, и далекие, и работа, и книги, и звуки?

И все вокруг серое, бесцветное, бессмысленное, пошлое и избитое.

Я прекрасно понимал, что в пьянстве тоже ничего нового нет, и пошлее ничего не придумаешь...

Я продержался две недели.

Однажды, по дороге из школы, я зашел в микояновский гастроном, взял чекушку «Кубанской» и три бутылки «Московского» пива.

Я сознавал, что совершаю преступление, и меня трясло в горячке, как Раскольникова.

Я трепетал, выбирая постылую долю, постыдную муку, страдания близких, ложь, ущербность, незащищенность, вину, гибель...

Но желание отгородиться от мира было сильнее меня.

В кафетерии ресторана «Гавана» я выпил залпом полный до краёв стакан водки и почувствовал легкий прилив жара и удушья.

Я отдышался и налил пиво, с непривычки оно сильно горчило...

*Нельзя без горечи. Добавь по вкусу горечь
И свой позор сумеешь искупить.*

Предметы стали приобретать цвет, шум стал глуше, всё вдруг отодвинулось от меня, как в перевернутом бинокле, и перестало раздражать.

«А ведь, пожалуй, чекушки будет мало», – подумал я.
«Поехали», – как сказал первый космонавт.

Февраль 2008 года.

Я проснулся на мглистом рассвете...

*Не лено ли братцы? – Конечно.
Еще как нелено, мой свет.
Нет слаще тебя и кромеиной,
тебя несуразнее нет!*

.....
*Я верую – ибо абсурдно,
абсурдно, постыдно, смешно,
Бессмысленно и безрассудно,
и, может быть, даже грешно.*

*Нелено ли, братцы? – Нелено.
Молись, Рататуй дорогой!
Горбушкой канадского хлеба
занохай стакан роковой.
Тимур Кибиров*

Я проснулся на мглистом рассвете неизвестно которого дня...

Проснулся так, как рано или поздно должен пробудиться всякий, кто еще в отрочестве насосался до одури блоковской отравы и надышался духами и туманами его изготовления.

«В самом чистом, самом нежном саване сладко ли спать тебе?» – спросил бы меня Сан Саныч, случись он в тот миг

рядом.

Короче, я проснулся в снегу.

Я лежал в белом венчике из снежной крупы, в чистом поле на свежем заструге, да меня самого уже изрядно замело.

Курилась мутная метель, звезд не было видно, первоначально, пока не попривыкли глаза, ничего не было видно; только ветер шуршал сухими травами у моего изголовья.

Я не без труда поднялся (меня наполнил шум и звон), сел на обрубок бревна и задумался сразу обо всем.

Нельзя сказать, что я впал в умоисступление, я просто совершенно не понимал, что мне делать и куда мне идти. Я вообразил себя последним человеком на голой земле...

Передо мной расстилалась безжизненная неопрятная равнина, спускавшаяся к реке; на другом берегу в мутном мраке то мерцали, то пропадали какие-то огоньки.

Или они мне мерещились?

*И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу...*

На изрядном расстоянии впереди слева чернел лес, и оттуда донесся подавший надежду на спасение перестук проходящего поезда.

В скорбной круговерти моих мыслей присутствовал, разумеется, и такой вопрос, третий в ряду великих русских вопросов: «кто виноват?», «что делать?» и «как я дошел до

жизни такой?»

Голова моя была пуста и легка до такой степени, что все норовила как-то взлететь, воспарить и оставить страдающее тело на неопрятной снежной равнине. Чтобы этого не произошло, я крепко обхватил ее руками.

И в то же время сознание было затянуто какой-то липкой тиной. Было, отчего прийти в отчаяние.

Но писал же другой классик: «И вот проклятая зелень перед глазами растаяла» – и я разом вспомнил (не все! далеко не все!) события вчерашнего вечера.

Вчера, в пятницу 3 декабря 1971 года, на дальнем берегу, безо всякого сомнения, цвели очи Саши Апта.

Саша Апт в ту пору был недостойным сыном весьма достойных родителей.

Консьержка писательского дома, где он до недавних дней проживал с родителями, говорила о нем: «У нас в подъезде два хулигана – Апт и Стариков» (литературовед и критик Екатерина Васильевна Старикова была матерью двуликого хулигана).

Кроме того, Саша был студентом биологического факультета МГУ, а известно, что биологи в большинстве своем в силу самого предмета занятий циничны и склонны к чувственному наслаждению неумеренного потребления напитков.

Не возьму охулки на руку – не был Саша никаким хулиганом, он просто отличался излишней живостью рук и ног при

довольно brutальном телосложении.

И пьяница он был никудышный, во всяком случае, не пил ежедневно, как я.

Нигилистом и циником Апт, как и предок его, Евгений Васильевич Базаров, казался исключительно по молодости, на самом деле, он, как и упомянутый Базаров, всего лишь хотел вывести «формулу жука», и я даже знал, какого именно – жука-плавунца.

Дело в том, что Сашу, он младше меня на семь лет, я знал еще ребенком. Он был одноклассником и другом моего тогдашнего шурина, а ныне, не побоюсь сказать, знаменитого протоиерея Вовы Вигилянского, да, того самого, что ныне щедро окормляет прихожан и прочих духовных чад Московской епархии в компании самого Святейшего Патриарха Алексия.

Впрочем, когда речь заходит речь об особах, над которыми почиет таинство и коим дана благодать справлять чин над кутьей, я благоговейно замолкаю.

Но вернемся на пустынный берег...

Вечером в пятницу 3 декабря Саша позвонил мне и сообщил: его молодая жена уехала ночевать к родственникам, и напомнил, что я давно обещал прочитать ему свои новые творения.

Надо признаться, что я в то время кропал всякие, как показало мне время, никчемные вещицы, а Саша был одним из

немногих моих читателей.

Но Апт недавно женился на студентке, комсомолке, красавице и потомственной биологине Анне Бибиковой. Впрочем, красавицы редко бывают счастливы...

Жена требовала внимания, и мы с Сашей стали встречаться редко. К тому времени мы все разъехались из писательского дома на Ломоносовском. Саша и будущий протоирей перебрались на Аэропорт в кооперативные хоромы, а я с семьей – в убогую хрущевку на улице имени славного наркома Цюрупы, на берега реки Котловки, еще не забранной в трубу.

Но незадолго до Сашиной женитьбы я по семейным обстоятельствам проживал у тещи все на том же Аэропорте.

Там, в окрестностях писательского поселка, таинственно пробились три ключа: пивная в самом начале Красноармейской улицы по соседству с ныне восстановленной церковью Благовещения Пресвятой Богородицы, служившей в ту пору ангаром для престарелых истребителей МИГ; два других пенных ключа били на пересечении улицы Черняховского с Часовой и у Ленинградского рынка.

Под сенью сих оазисов мы с Сашей частенько судачили о том, о сем: о портвейне, о странностях любви, о Софье Властьевне и смысле жизни.

Но поженившись, биологи стали снимать однокомнатную квартиру на улице 26-ти Бакинских комиссаров-мучеников, темную историю которых сбивчиво и путанно поведал миру 27-й бакинский комиссар – Анастас Иванович Микоян. По

его словам, он был ответственным за работу среди женщин, ушел в это дело с головой и как-то не заметил расстрела товарищей.

То ли англичане пощадили Микояна за исключительную приверженность женщинам, то ли те выдали его за свою товарку, но Микоян один уцелел, а остальные – увы.

Итак, Саша остался бобылем накануне семейного праздника, к которому было куплено столько водки, что она даже вся не влезла в холодильник. По голосу Саши я понял, насколько его волнует судьба тех бутылок, что остались без спасительного холода.

Надо же было случиться такому совпадению: моя жена меня тоже покинула. Она отбыла со своей музыкальной подругой Викой Вайнер в город Ярославль слушать концерт Натальи Гутман. Меня они с собой не взяли, так как в их глазах я не был человеком достаточно утонченным, чтобы проливать слезы над виолончельным пением.

Томясь в бездействии досуга, я освежался «Рымниковским» вином и «Рижским» пивом. Грядущая суббота была у меня свободным днем, что в какой-то мере определяло количество «Рымниковского», которое я мог себе позволить.

Я лениво размышлял над тем, как блистательная победа Александра Васильевича под Рымником могла породить столь чудовищный напиток, и какое «Рымниковское» гаже – красное или белое. И тут раздался звонок Апта.

Это были барабаны судьбы.

Я разделил тревогу друга за судьбу бутылок, не влезших в холодильник.

Водка! Как много в этом звуке для сердца русского слилось...

Водка волшебным образом меняла унылую евклидову геометрию бытия, раздвигались границы сознания, обострялись чувства; безобразное как бы скрадывалось в тумане, прекрасное становилось нестерпимо прекрасным: и ярче творческие сны. А, главное, водка заглушала муку вины и стыда, стыда и вины, их вечного и выносимого гнета.

*Когда сквозь синих туч на воды упадет
косой последний луч в осенней тишине
и льется по волне и долго остывает, –
не страшно ли тебе, не стыдно ли тебе?*

Вины было немеряно, перед женой, сыном, Татьяной Михайловной, близкими и далекими людьми.

Стыда тоже хватало, и мертвящий страх за Женю и Илью прорывался в ночные кошмары.

*Когда летящий снег из мрака возникает
В лучах случайных фар, скользнувших по стене,
И пропадает вновь и вновь беззвучно тает
На девичьей щеке, – не страшно ли тебе?*

И еще эти девичьи щеки, вечно по ним течет то дождь, то слезы; вечно на них тают снежинки, и они сами тают и бледнеют от любви и страсти.

Ну, куда же они-то еще в мучительную кутерьму из вко-нец изолгавшейся власти, жестокого пьянства, преподавания истории в заданных жизнью обстоятельствах (уже приходи-ли из конторы), танков в Праге, перемоловших своими тра-ками мою жизнь – вот ко всему этому еще девы, их щеки и прочий приклад.

Я хорохорился: рак души, амнезия совести... Я всех убил, кого любил, я сердце вьюгой закрутил... Но было муторно.

Я не могу сказать, о чем я, я не знаю...

Так просто ерунда. Все глупости одни.

Такая красота и тишина такая...

Не страшно ли тебе, не стыдно ли тебе?

И как я от этой красоты, тишины, стыда и страха с ума не сошел?

Водка спасла: она направляла мысли в иное русло, мы вос-паряли – глоток иллюзорной свободы, миг невесомости до-рогого стоили. И заплатить пришлось всем, что было, до ко-пеечки...

Саша сказал, что встретит меня у Дома туриста, и я от-правился в путь.

Мне нужно было пересесть с автобуса на автобус в начале

улицы Гарибальди у гостиницы «Южная». В этом доме располагался кафетерий, который по сути дела был распивочной, а наискосок напротив – продамаг, не мог же я заявиться к Апту трезвым – это было бы невежливо, тем более что по его голосу я догадался: он уже начал предпринимать кое-какие меры по спасению бутылок, оставшихся вне попечения холодильника.

Саша ждал меня на остановке, но лучше бы он этого не делал.

«Веди меня, Вергилий», – высокопарно воскликнул я, не подозревая, как близок к истине.

И мы пошли вдоль дощатых грязных заборов, по разбитым деревянным тротуарам, по доскам, брошенным через канавы и рвы, и, наконец, по хлипким мосткам, проложенным по самому краю глубокого котлована.

Моя служба в военно-строительных войсках воспитала во мне стойкое недоверие к разного рода ямам, о чем я решил поведать Апту, но не успел.

Увлеченный рассказом о своих невероятных приключениях на знаменитой Беломорской биостанции, мой Вергилий неосторожно взмахнул руками и в мгновение ока оказался по колено в воде на дне котлована.

Начиналась метель, порывами налетал ледяной пронизывающий ветер, на столбе мотался беспомощный фонарь...

Болота, работа, бегемота – это мы с детства проходили.

Используя длинную мокрую, а потому тяжеленую жердь

(я), и кусок арматуры (Апт), мы минут через 30 благополучно завершили спасательную операцию.

Оба выбились из сил, вымазались в глине и усталые, но счастливые, добрались, наконец, до однокомнатного кооперативного шалаша.

Мы, как могли, почистились, привели себя в порядок и уселись, как это было тогда принято, на кухне, где на полу действительно стояли пять бутылок водки – это были те самые сироты, не поместившиеся в холодильник.

Саша объяснил мне, что для личного употребления мы будем брать охлажденную водку, и таким образом беспризорные пол-литра получают шанс по очереди попасть в вождельенный холод.

На столе появилась банка с солеными огурцами, грудинка варено-копченая, хлеб. И мои рукописи были извлечены из видавшего вида, но натуральной кожи портфеля.

Очень скоро мы стали таскать огурцы из банки пальцами, я, вперемешку с водкой,пил рассол, грудинка была забыта...

То ли художественное совершенство моих творений, то ли водка, которую мы пили из подарочных стаканов, каждый раз наливая по полной, то ли водка вкупе с болгарскими сигаретами «Джебел», но Апт быстро захмелел.

Я мало уступал ему, но нить беседы не терял, в какие бы витиеватые лирические отступления не пускался. Сказывалась военно-строительная закалка, полученная под землей в

пятистах метрах от трех могучих ядерных сердец закутанного в бесконечных пеленах колючей проволоки Красноярского горно-химического комбината.

О чем мы так горячечно говорили? О Шиллере? О славе? Иль, может быть, о странностях любви?

Но рассуждать с молодоженом именно о странностях любви – по меньшей мере, неделикатно, к Шиллеру я равнодушен; как любой сочинитель я, конечно, мечтал о том, что лукавый Пушкин назвал «яркою заплатой на нищем рубище певца», но мне жизнь упрямо предлагала рубища исключительно без заплат. А широкую известность в узких кругах я мог приобрести только в комплекте с койко-местом в мордовских лагерях, и меня совсем это не прельщало.

*«.....О боли,
о валидоле, о юдоли слез,
о перебоях с сахаром, о соли
земной, о полной гибели всерьез.
О юности, о выпитом портвейне,
да, о портвейне! О пивных ларьках,
исчезнувших, как исчезает память,
как все, клубясь, идет в небытие»*

Наверное, примерно так.

Близились полночь. В какую-то минуту просветления Апт твердо сказал, что надо ложиться спать, и он сейчас постелет мне, как дорогому гостю, на кровати, а себе на полу.

С тем он и отправился в комнату.

Увидел я его через неделю.

Мои посиделки затянулись. Я, конечно, времени даром не терял и баловался водочкой, отдал, наконец, должное и варено-копченой грудинке, а Саша все не звал меня поживать.

Я уже приготовил подходящую случаю почти цитату из поэта Льва Мея, ныне справедливо забытого вместе со всей остальной изящной литературой: «Милый мой, возлюбленный, желанный! Где, скажи, твой одр благоуханный?». Но в квартире стояла гнетущая тишина.

Дверь в комнату открывалась вовнутрь, замка в ней не было, но она не поддавалась ни на миллиметр.

Я был оскорблен, обижен и заинтригован – я знал обстановку комнаты, там помещалась кровать, шкаф и всякая мелочь. Припереть дверь намертво было решительно нечем, но под ударами моего массивного зада дверь только вздрагивала.

Я стучал, скребся, пробовал обнаружить признаки жизни путем тщательного вслушивания, пускал в ход азбуку Морзе, лил под дверь водку, благо ее еще много оставалось, но все было безрезультатно.

Аня, прибывшая на следующее утро, тоже тщетно пыталась войти в комнату.

Ее чрезвычайно насторожили два обстоятельства: исчезли полуботинки мужа, старые, разношенные, которые он использовал на манер домашних тапочек, вместо них под ве-

шалкой стояли чужие и, во-вторых, водка уже вся помещалась в холодильник, а пустых бутылок на кухне не было.

Когда милиционер, «скорая» и слесарь открыли дверь, Саша продолжал безмятежно спать с простыней в руках.

Он честно из последних сил пытался исполнить долг гостеприимства, намереваясь постелить мне постель, но, видимо, отдавши слишком много сил барахтанью на дне котлована, потерял равновесие, упал, упершись ногами в дверь, головой – в шкаф и словно окаменел.

Мне, если бы я сохранял хоть каплю здравого смысла, ничего другого не оставалось, как постелить пальто, положить под голову портфель и забыться мертвецким сном.

Ведь спал же я на кабельном барабане, извиваясь, как уж, между штырей; на трубах под потолком на десятиметровой высоте...

Но я был взбешен необъяснимым коварством Саши. Поэтому собрал пустую посуду в портфель (привычка уничтожать улики), непечатую бутылку засунул во внутренний карман пальто, оделся и хлопнул дверью так, что стены затряслись.

На улице я выбросил с риском для жизни пустые поллитровки в котлован, и по тому, как ловко я это сделал, понял: мне лучше вернуться назад.

Легко сказать: адреса-то я не знал. То есть дом стоял у меня за спиной и был он устроен так: по обе стороны от лиф-

та шел коридор, где слева и справа располагались по четыре квартиры, итого 16 квартир на одном этаже.

Мое положение облегчалось тем, что я точно помнил этаж – шестой, и что от лифта мы пошли направо. Квартира была не первой и не последней в ряду...

Итак, чет или нечет.

При этом я как-то совершенно упустил из вида следующее соображение: почему Апт, не отворявший мне, когда я бухал в дверь задом, призывно вызывал его нежным голосом пьяной сирены и крыл военно-строительным матом, почему он откроет дверь на звонок.

Впрочем, у меня уже и ответ был готов: грубый мужлан, заколотивший дверь перед лицом товарища, обрадуется, что это вернулась нежная супруга, которая успела соскучиться по нему настолько, что забыла у родственников ключи. Я уже злобно ликовал: каково будет Апту, когда вместо горячо любимой Ани он увидит меня во всей красе и гнев!

Ни в той, ни в другой квартире мне никто не ответил, тогда я начал звонить во все двери подряд.

Был первый час ночи.

Те, кто открывали двери, вели себя одинаково (я старался быть по возможности предельно вежливым и любезным) – отвечали, что ни Сашу, ни Аню, ни вообще кого-либо в доме не знают, так как недавно въехали.

У меня не было с собой даже куска мела (тоже мне – учитель!), дабы помечать крестом квартиры, в которые я уже

звонил, поэтому через какое-то время поведение жильцов изменилось: одни грозили позвонить в милицию, другие – спустить меня с лестницы, иные просто посылали коротко и выразительно.

Я перебудил и настроил против себя половину дома, но сезам не отворился.

Оставалось два выхода: постелить в торце любого коридорчика, под батареей пальто вдвойне (все-таки камень!), сунуть под голову портфель и забыться безмятежным сном.

Второй способ был такой – выйти на улицу комиссаров-мучеников и поймать такси. У меня оставалась сдача с десятки, что я разменял на улице Гарибальди по дороге к Апту – два тарифа, обычная ночная ставка... Кроме того, в потайном кармане брюк всегда лежали запаянные в полиэтиленовую пленку 25 рублей – на откуп от ментов в каком-нибудь крайнем случае. По своему опыту борьбы с преступностью в стальных рядах комсомольско-оперативного отряда типографии и издательства «Известий», я знал: сиреновой бумажки достаточно, чтобы отмазаться от любого административного правонарушения и даже легкого уголовного преступления – но к ним-то я совершенно не был склонен.

Правильным решением было лечь спать под батареей, но я, влекомый бурей и желанием выпить стакан горячего свежесваренного чая, выбрал второе.

Дальнейшее я помню смутно и разрозненно. Машину я остановить не смог, видимо, из-за известного предубежде-

ния таксистов по отношению к пьяным.

Помню, как ехал в пустом автобусе, и на какой-то остановке в салон вошел прилично одетый молодой человек и подсел ко мне.

А потом я проснулся в чистом поле.

Когда я совершал свою первую ходку по дурдомам, в 15-й психбольнице, что на Каширке недалеко от Блохинвальда, врач-гипнотизер Владимир Райков, действительно продельывавший с людьми поразительные штуки, запугивал нас во время сеанса смертью под забором.

Меня, он, впрочем, выволок за шиворот вместе с полотенцем и тазиком (на случай рвоты) уже со второго сеанса – я комментировал его проповедь и, по мнению больных, очень смешно его передразнивал.

Так вот, чем же так позорна смерть под забором, разве что непоэтичностью?

Суровый Гумилев писал:

*И умру я не на постели
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели...*

Чистое поле куда возвышеннее дикой щели. Как много позже писало одно погибшее разностороннее дарование: «в чистом поле на перекрестке дорог, там, где хоронили самоубийц, Блок перевенчал Россию с ветром...»

Под колыбельную этого ветра я мог заснуть навсегда.

Курилась мутная метель...

На том берегу зажглось еще несколько огней: сомнений не оставалось: там была жизнь, люди, тепло и свежесваренный крепкий чай.

Мгновенно в моей бедовой голове, распираемой винными парами, сложилась удивительная по нелепости картина: я вообразил, что позади меня находится улица Каховка (но позади меня ничто не было, кроме тьмы и неопрятной равнины), впереди – мое место жительства – улица Цюрупы, а водная преграда – река Котловка, которая действительно время от времени разливалась по неизвестным причинам.

Спроси меня в этот момент какой-нибудь скептик: как объяснить наличие леса впереди слева, откуда изредка доносился перестук проходящих поездов, я нашел бы объяснения и лесу, и железной дороге...

Я спустился к воде. Вдоль берега тянулся ледяной припай с вмерзшими в него камышами, тусклым свинцовым блеском (к этому времени метель стихла и выглянула слабая, как бы размазанная луна) была обозначена довольно широкая река, значительнее полноводнее Яузы.

Я, в общем-то, неплохо знаю Москву и мог бы задуматься: таких рек в столице нет, а если это пруд, его можно обойти (как выяснилось позже, дамба была всего в семидесяти метрах от меня, но я ее не разглядел).

И, наконец, Котловка никак, даже в случае всемирного потопа, не могла разлиться таким невероятным образом.

Но желание оказаться дома, лечь в горячую ванну, выпить крепкого свежезаваренного чая, особенно последнее, окончательно свело меня с ума.

И я вошел в воду.

Вернее, я скатился в нее, дно быстро ушло из-под ног, и я поплыл, попеременно воображая себя то броненосцем «Потемкин», то ледоколом «Красин». Немного позже я окончательно утвердился во мнении, что я – ледокол.

Тяжелое драповое пальто на ватине тянуло меня на дно, но, громко и фальшиво распевая замечательную песню «Холодные воды вздымает лавиной суровое Черное море», я медленно приближался к противоположному берегу.

Я не напрасно уточнил: «к противоположному берегу», ибо за три года до того, в Малаховке, находясь в восторженном состоянии («Кубанская», коньяк, пиво, «Мукузани», «Красное крепкое», «Айгешат» и что-то еще) я забыл, с какого берега я вошел в воду! И плавал ночью, правда в июне, оглашая окрестности песнями военно-морского уклона, часа три, пока за мной не пришла милиция и не разбудила моих друзей, оставшихся на берегу стеречь вещи.

Через четверть часа я понял, насколько плохи мои дела: лед не пускал меня к берегу, я не смог ни вылезти на лед, ни нащупать мелкое место, чтобы встать и отдохнуть, ибо силы кончались.

Едва я попытался опереться о кромку льдины, она ломалась под моей тяжестью, я рубил ее руками, и, когда я очередной

раз добрался до слов: «тот первым в родимую бухту вернется...», я ощутил ногами дно.

Еще минут десять понадобилось, чтобы выбраться на твердую землю.

Пошатываясь и дрожа от усталости, вступил я на снежную равнину, от меня шла испарина: невольно вспомнилось: «какая сила в нем сокрыта...»

Впереди было видно какое-то одноэтажное здание, окруженное несколькими скирдами.

Мелькнула беспощадная мысль: «В Москве ли я?»

При ближайшем рассмотрении скирды оказались автобусами, здание – конечной станцией, и я начал догадываться: это не улица Цюрупы, и крепкого свежесваренного чая мне не пить.

В одном из автобусов собрались водители, работал двигатель, пахло бензином и выхлопной трубой, было сильно накурено.

«Где я, в каком городе?» – хрипло спросил я, подражая классическим образцам.

И все взоры разом уставились на меня, наступила гнетущая тишина.

Вид мой был дик. С меня текло, и на полу сразу образовалась изрядная лужа.

– Ты откуда такой красивый? – наконец спросил меня кто-то.

– Я только что переплыл реку, и мне надо согреться.

Мне уступили место у двигателя.

Все молчали, затем кто-то резонно заметил:

– Здесь нет никаких рек. Это Очаково. Вот что, – говоривший, видимо – бригадир, обратился к одному из шоферов, – ты едешь первым рейсом, отвези его на метро «Университет» и сдай ментам.

У меня не было сил возражать.

Набившиеся на маршруте в автобус люди рядом со мной не садились (с меня продолжало течь) и старались ко мне не приближаться.

Скоро я очутился в линейном отделении милиции метрополитена, мне поставили стул посреди комнаты, вызвали женщину-врача.

Собралось человек шесть, и все они смотрели почему-то на мои ноги. Поглядел на них и я: на мне были полуботинки без шнурков, чужие.

Даже дети в стране советов, знали строки Галича:

*А сидеть вам в Соловках и Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках.*

– Ты, стало быть, реки зимой переплываешь? – весело спросил меня лысый майор.

– Там, где их нет, – заметил другой офицер.

И кто-то беззлобно хохотнул:

– Морж в пальто.

– Покажите мне ваши руки, – приказала врач.

Я разделся. Она осмотрела и спросила:

– Вы пытались вскрыть вены?

– Что вы! – возразил я. – Позвольте вам все объяснить.

– Ты сначала мне объясни, кому шнурки подарил, – сказал майор.

И я, ничего не утаивая, поведал им свою скорбную повесть.

Когда я умолк, в комнату вошел пожилой старшина и что-то зашептал майору на ухо.

– Так ты не беглый? – спросил меня майор.

– Боже упаси. Вот мой домашний телефон, в доме сын Илья и бабушка Мария Федоровна. Жена уехала в командировку в Ярославль.

Я знал, что только притворным смирением и лживым раскаянием можно тронуть их волосатые сердца.

Баба Маня, собственно, была самым слабым звеном в деле моего освобождения, но я понял, что без нее не обойтись.

Она иной раз заговаривалась, с телефоном обращалась, как с живым существом, объясняла ему, куда собралась звонить, и подробно излагала содержание своего предстоящего монолога.

А что, если она спросонья не поймет, о чем идет речь или испугается слова милиция? Недаром, когда мы, бывало, собирались с Женей в кинотеатр «Тбилиси» на последний се-

анс, она всегда спрашивала: вы билеты не забыли? ключи взяли? а паспорта?

В первый раз Женя удивилась:

– А зачем паспорта?

– А вдруг облава.

Но баба Маня не подкачала, лысый майор коротко, но толково допросил ее, и обратился ко мне совсем по-свойски.

– Что же ты сразу про бабку не сказал? А то наплел тут целый роман, сочинитель моржовый.

– Ты вот что, – это уже старшине, – отвези его домой.

Дорóгой водитель мрачно молчал, он, видимо, считал, что я – плут и выжига, сумевший запорошить глаза начальству.

В семь утра я вошел домой.

Баба Маня попеняла мне на меня же за ночное отсутствие. Не обращая внимания на её попреки и сетования, я принял горячую ванну, выпил два стакана крепкого свежесваренного чая с лимоном и медом, отправил Илью в школу, постелил себе чистое белье и уснул сном праведника.

Проснувшись, я, сколько мог, почистил пальто, повесил его на плечиках над ванной, успокоил бабу Маню, изложив ей в высшей степени благонамеренную и фантастическую версию своих ночных походов, где самым ярким эпизодом было спасение утопающей благородной вдовы с двумя бедными сиротами.

Баба Маня подробно изложила мне свой разговор с лысым

майором, а я, тем временем, позвонил в школу и узнал, что дают аванс.

Я побрился, заметив в зеркале, что лицо мое приобрело суровое выражение, какое бывает у человека, долго плававшего во льдах и не раз смотревшего смерти в лицо.

Скорее всего, в моем лице действительно появилось новое выражение (следов вчерашнего пьянства не было совершенно, не было и перегара – он исчез сразу после водных процедур), потому что все, кого я встретил (Татьяна Михайловна, Феликс Александрович, Виктор Исаакович), спрашивали меня:

– Что-то случилось?

– Ничего, – отвечал я сдержанно, самой сдержанностью намекая – да, мол, случилось, но говорить об этом нельзя.

Коля Формозов проводил меня до автобусной остановки. Но поехал я не домой: недавно прочитал в «Вечерней Москве», что в связи с капитальным ремонтом ресторан «Бакку» с улицы Горького временно переехал на улицу чекиста Кедрова и открыт для посетителей.

Туда я и направился.

Зал был совершенно пуст.

Официант сказал:

– Катастрофа. Местные не ходят, а кто же поедет на окраину, ведь это все равно – сюда или в Калугу.

Я заказал баклажан с орехом и чесноком, осетрину хо-

лодного копчения с перламутровым отливом, маринованный чеснок и другие острые овощи; греческие оливки, мягкие и очень жирные; парча-безбаш – нельзя же без первого, сабза-каурма – плов – это святое, бозартма из баранины – официант шепнул, что шашлыки «не очень», бутылку красного вина «Матраса» – прекрасно в нас влюбленное вино, «Матраса» – конечно не «Мукузани» или «Кварели», ну, да за неимением гербовой – пишут и на простой; бутылку марочного «Гёк-Гель» – это был действительно хорошо выдержанный коньяк, минеральную воду «Сираб» – пора и о печени подумать, гранатовый сок – витамины зимой! И лаваш – хлеб всему голова... Конечно, не Питер Клас и не Виллем Геда, но натюрморт достойный...

Как-никак я разминулся со смертью.

Скатерть белая залита вином...

Скатерть была свежей, сказывалось отсутствие клиентов. Я выпил фужер коньяку, и перед глазами поплыл лед с вросшими в него камышами, мертвенный отблеск воды, неопрятная снежная равнина.

Я мог замерзнуть в снегу, мог утонуть, мог, выбившись из сил, упасть на том берегу и замерзнуть еще раз.

И сейчас, когда я жевал осетрину, меня бы еще не нашли...

И срам небытия и тленья еще не обнажился бы.

Я думал о смерти, о жизни, о чем так хотел побеседовать с Джугашвили наивный Пастернак.

*Не жизни жаль с томительным дыханьем.
Что жизнь, что смерть, но жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет и плачет, уходя.*

Ведь горит же во мне огонь! Или он уже погас?

Великое зеро... Не верю, аз есмь недостойный, что буду лететь светлым туннелем под завыванье ангелов навстречу апостолу Петру, амбалу с лучезарным лицом, недоброй улыбкой и монтировкой в волосатой руке...

Вот говорят, что смерть все спишет... Нет, остается память, да и никто не знает, что там, за чертой, – меланхолично размышлял я, запивая баранину красным вином. – Да и смерть у всех разная. Моя смерть – торговка Бела из продмага на Цюрупе, женщина невероятных телесных достоинств, но несчастная в личной жизни. За воровство и хамство ее из винного отдела упекли в «Соки-воды» где она внаглую разливала «Кубанскую», рупь стакан (166 граммов), имея, таким образом, полтинник с бутылки – в будний день верный тридцатник, а по выходным – вдвое. Но очень комфортно: во-первых, я люблю именно «Кубанскую» – она почему-то отдает виноградную кожицей, а, во-вторых, запиваешь крепко посоленным томатным соком – дешево и сердито...

Я думал о происхождении века связующих тягот. О том,

что напутал, сильно напутал поэт и с гением, и с льготами, и особенно с гнетом – его и при гении было в избытке.

И я понимал: ничего нельзя поправить.

Все так губительно накренилось, все грозит бедой, и ничего нельзя изменить, и спасенья нет. Все так мучительно переплелось, затянулось в такие узлы, особенно женщины – сеть прельщения человекoв.

И распутать ничего нельзя. *Все перепуталось и неко-
му сказать, что постепенно холодея, все перепуталось, и
странно повторять: Россия, Лета, Лорелея...*

И о России я думал: в оцепенении замерла она над без-
дной, и о том, вместе мы с ней рухнем или я успею уйти из
жизни раньше.

Эта ночь давала надежду, что буду первым.

В зале было прохладно, и я пожалел, что не надел свитера,
который на день рождения подарила мама: толстый, мохна-
тый, болотных цветов.

Но колыхнулась перед глазами ледяная вода, и я вспом-
нил, что проснулся на мгlistом рассвете без свитера.

И бутылки водки во внутреннем кармане не было...

Может, я еще где-то погостил, раздевался, пил ту самую
водку?

И вдруг из свинцовых волн выплыло слово «портфель».

Там было девять рукописных текстов, копий не существо-
вало...

Раскаленное отчаяние заточкой вошло в сердце.

Там было начало повести «Опыт напрасной любви», написанный в совершенно новой манере. В нем было..., да что там говорить, я всерьез относился к своей работе, я да еще Татьяна Михайловна...

Не знаю, как я не потерял сознание.

Я стал утешать себя тем, что портфель, наверняка, я оставил у Апта...

За окном уже смеркалось. Я не люблю сумерек – день еще не умер, а ночь еще не началась, в них есть неопределенность и тревога.

Приторный голос Рашида Бейбутова пел: «Соловей над розой алой...»

Какие, к черту розы, какие соловьи!

Я допил коньяк и почувствовал себя трезвым, как устав гарнизонной службы.

Я поманил официанта и, поколебавшись, заказал еще триста. Он уважительно сказал: «Понимаю».

Ничего уже было нельзя ни спасти, ни отмотить, а жизнь затаилась в декабрьском безнадежном полумраке и стерегла меня за окном, как конвой.

Декабрь 2007 года

Вторая школа. Начало

К лету 1970 года стало окончательно ясно: в советскую историческую науку мне дороги нет, все ходы-выходы, все окольные тропы, хитрые обходные маневры и подкопы – все было испробовано, и везде и всюду, подчас в самый последний момент возникала контора...

Один совершенно случайный собутыльник в кафетерии ресторана «Гавана», которого я и не думал посвящать в свои обстоятельства, вдруг посочувствовал и дал мне неожиданно трезвый совет – идти работать либо в школу, либо в библиотеку (он был настолько любезен, что даже указал в какую именно: Фундаментальную Академии общественных наук). «И от дома недалеко, а годиков через несколько можно будет попробовать в институт истории профсоюзного движения. В зависимости от благонадежности», – и он по-свойски подмигнул мне.

Я поблагодарил его за заботу, не знающую границ приличий; о школе даже думать не хотелось, а библиотеку посетил, меня посмотрели и обещали подумать, но по тому, как встретили-проводили, я понял – эти возьмут.

Меня честно предупредили о женском засилье, о том, что начальница склонна принимать, подозревать, и преследовать.

У меня был относительно светлый период, я был более

или менее уверен в себе и зачислил библиотекарство, как хлеб насущный, в резерв последней очереди.

Поступали и экзотические предложения: гувернером к Виктору Луи, известному агенту КГБ и международному авантюристу; литературным секретарем к члену-корреспонденту АН СССР Д. Д. Благому, тому самому, о котором Осип Мандельштам писал: «Некий Митька Благой – лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки – сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина».

К тому времени лицейская сволочь уже не сторожила удавку, она писала всякие благоглупости про Пушкина и Шолохова, гуляла по дачному поселку в тубетейке, и с ней моими благожелателями велись неспешные переговоры. К лицейской сволочи и к тому же молочному вегетарианцу мне не хотелось, и я всерьез подумывал о сопровождении пива и апельсинов в Норильск.

Самое остроумное предложение работы было сделано мне между могилами Петра Яковлевича Чаадаева и безнадежно влюбленной в него хрупкой, экзальтированной, болезненной Авдотьи Сергеевны Норовой.

С одним незнакомцем, впрочем, совершенно достойным джентльменом, который явно не знал ни моих обстоятельств, ни моего адреса, мы поминали басманного отшельника, и мой визави предложил мне место в оркестре слепых музыкантов, игравшем в крематории Донского монастыря, где все

еще жгли по ночам избранных заслуженных товарищей.

То, что я зрячий, не смущало моего собеседника, он так загорелся своей идеей, и я ему так понравился, что он не сразу уразумел, что я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте.

– Даже на губной гармошке? – огорченно уточнил он. – Жаль, а то там такие вещи с покойников бывают, закачаешься

– Я бы мог быть у них дирижером, – вещи с покойников распалили мое воображение, но он только налил по новой.

Летом сестра Лида уехала с девочками в Прибалтику на взморье и взяла с собой Илью, но мы все же сняли дачу в Шереметевке на всякий случай.

Нашими соседями по финскому домику были Борис Генрихович Пузис, в миру Володин, и его жена, Нонна Аркадьевна, она преподавала русский язык и литературу (где – не помню).

Борис Генрихович, в прошлом врач-гинеколог и автор гимна акушеров (на мотив «а мы монтажники-высотники» из фильма «Высота»):

*Мы не шоферы, не геологи,
У нас работа первый сорт:
Мы акушеры-гинекологи,
Любому сделаем аборт!
Хотя и вопреки традиции*

*Больному смотрим мы не в рот,
Мы всем поможем вам родиться
Или совсем наоборот!*

– зарабатывал на жизнь статьями и научно-популярными книгами по вопросам биологии и медицины.

Нонна Аркадьевна взялась меня пристраивать в Институт социальных исследований через видного сотрудника этого почтенного учреждения Арона Каценелинбойгена, которого, естественно, поставила в известность о том, что контора неустанно печется обо мне.

Но господин Каценелинбойген сказал, что у них в институте таковых большинство, и дело пошло тихими стопами по иррациональным умопомрачительным зигзагам.

Но история на сей раз обернулась фарсом: меня-то уже почти как взяли на должность МНС, но в это самое время прикрыли институт социологии за систематическое искажение советских общественных пропорций и очернение общественного мнения по разнообразным вопросам.

Не знаю в точности, как обошлись с другими социологами, но Арон Каценелинбойген незамедлительно уехал в США.

Но я не остался у разбитого корыта. Нонна Аркадьевна не то училась вместе с Зоей Александровной Блюминой, то ли просто была знакома; словом, возникла имя «Вторая школа».

Нонна Аркадьевна старалась, поелику возможно, подсластить пилюлю: замечательные учителя, дети сплошь вундеркинды и администрация – либеральные интеллигенты чистой воды. Я смотрел на всю эту рекламу скептически, так как по моему разумению подобную школу разогнали бы за год до ее появления, но, тем не менее, в погожий день в конце августа я переступил порог типовой пятиэтажки.

Многочисленные смотрины минувшего года закалили меня, но я все равно волновался.

Приехал я загодя и решил подождать в вестибюле, дабы создать ложное представление о своей пунктуальности. На вопрос о том, кого жду, я со значением отвечал: назначено.

Вдоль раздевалки передо мной прогуливался джентльмен в затрапезной москвошвейной паре; старый физиономист, я сделал заключение, что, судя по внешности и манере поведения, это – завхоз, припозднившийся с ремонтом и теперь ожидающий вызова на ковер к начальству (впоследствии оказалось, что это преподаватель литературы Ф. А. Раскольников).

Того же качества были и прочие мои экспертизы: гордо пронесла себя грациозная старшая пионервожатая, правда, почему-то на ней не было галстука (В. А. Тихомирова), потом появился артистических манер господин, которого я определил душою общества (и не ошибся – И. Я. Вайль); он взял за руку нервного завхоза и начал вкрадчиво вещать ему что-то успокоительное про отдых в Прибалтике.

Директор принял меня любезно, хотя в силу врожденной мрачности, это давалось ему с трудом. На смотринах присутствовали Р. Б. Вендровская, наследство которой, четыре выпускных класса, я принимал; Герман Наумович, Зоя Александровна и может быть еще кто-то.

Регина Борисовна уходила из школы в институт методики преподавания АПН, случилось это внезапно, и я был призван спасти положение, хотя все и понимали, сколь мало я подхожу на роль пожарного.

Вендровская объясняла мне, что в прошедшем учебном году она не успела пройти новейшую историю и мне надо будет начать с этого курса, а потом как-нибудь поджаться...

Все это было для меня китайской грамотой, и Владимир Федорович понял это, видимо, по тому, как очумело я вертел головой.

– Да он не знает, с какой стороны конduit открыть. Ведь вы классный журнал никогда в руках не держали?

Я благоразумно обошел молчанием то скользкое обстоятельство, что десять лет назад не только держал, но собственноручно сжег классный журнал своего родного 9 «А» класса на крыше гаражей у красных домов.

Все старались меня ободрить, но я впал в каталепсию, тупо выслушал наставления про учебно-календарный план (еще один иероглиф), получил брошюрки с программой-максимум и программой-минимум, учебник новейшей истории и приказ явиться через день на педсовет.

Дома я разложил программы, учебники, почитал, полистал, посчитал и понял, что влип основательно.

Одно дело рассказать исторический анекдот за столом на кухне, другое – попытаться изложить концепцию тоталитарного государства так, чтобы она была пригодна для сравнения с моделью другого государства, и при этом не потерять драгоценных деталей, которые есть вкус, цвет и запах истории. Прошлое нельзя восстановить и передать полноценно, умирает воздух времени, душа, но изображение ушедшей эпохи может быть и театром восковых фигур, и кунсткамерой, и панорамой Бородинского боя с товарищем Сталиным на лихом коне, и добротным альбомом подлинных фотографий с дневниковыми записями, письмами и воспоминаниями участников событий. И с нашими комментариями, нашей реконструкцией событий, нашим, сегодняшним пониманием причин и следствий.

Я написал урочно-календарный план, подобрал материал по теме первого урока, положил перед собой карманные часы и начал витийствовать. Когда часовая стрелка пошла на четвертый круг, я попил водички и умолк, совершенно обесиленный. Я проговорил три листочка из 11 страниц моего плана...

После мучительных сокращений (мне казалось, что я отсекаю самое важное, а что до деталей, то им вовсе не оставалось места) я все равно не мог втиснуться в рамки урока.

Конечно, в университете был курс методики преподава-

ния, но он считался второстепенным и как-то не оставил по себе никаких воспоминаний, как впрочем, и курс педагогики и психологии.

Запомнился только энтузиаст программированного обучения, В. П. Беспалько, забавный живчик, на которого пьяный студент Игошин уронил громадный, еще дореволюционный книжный шкаф.

Эпическая картина падающего сооружения и обрушающихся с него антресолей, которые, как выяснилось, хранили в своем чреве портреты ближайших соратников товарища Сталина (я приволок домой Берию и Маленкова), была как бы живой картиной по мотивам известного полотна «Последний день Помпеи»; особенно хорош был господин Беспалько, присевший подобно брюлловской матроне с детьми под падающим колоссом и прижимающий к груди, в отсутствие дочерей, английское переводное пособие по программированному обучению. Вот эта-то Помпея и составляла весь мой практический и теоретический педагогический багаж.

Кое-как, буквально топором обтесывая гитлеровскую диктатуру, я заколотил ее в 45-минутные рамки, но Регина Борисовна, похвалив и обласкав меня, заметила, что урок информационно перегружен. Исходить надо было не из того, что я знаю и хочу сообщить, а из того, сколько могут воспринять ученики.

А сколько? И понимают ли они меня вообще?

На втором уроке в 10 «Г» выложили на столы так, чтобы мне было видно, книгу Л. А. Безыменского «Гитлер и его генералы». Я пользовался этой монографией, и ученики намекали, что им известны нехитрые источники моей эрудиции.

К счастью для меня, они ошибались. Двенадцатилетнюю историю рейха, историю национал-социалистической рабочей партии Германии и ее вождя я знал очень основательно, я намеривался специализироваться в университете по истории фашистской Германии, у которой было так много родимых пятен сталинской диктатуры, но обстоятельства не сложились.

Так что очень скоро мне удалось убедить моих слушателей в том, что предмет свой я знаю и люблю, да и чисто человеческие отношения с ребятами складывались хорошо.

Нас разделяли 10 лет, всего 10 лет. Я Сталина видел; нас разделяли XX съезд, оттепель, карибский кризис, публикация «Одного дня», крах Хрущева; нас разделял мой жизненный опыт, работа в типографии, семейная катастрофа, Средняя Маша и Красноярск-26, общение с КГБ – всего не перечислишь...

И все-таки всего десять лет. Я играл с ними в футбол, на переменах откровенно говорил на любые темы – запретных не было, а острые и еще острее – были.

Не я первый: «киндеры и вундеры вовсе замучили, не жалея сил молодых...»

Меня приглашали на домашние посиделки, в походы, на

дачи, но на подобное сближение я был не готов, смущала неизбежная фигура – вино, лицемерить мне было противно, а пить с учениками я себе запретил раз и навсегда.

За то недолгое время, что я учительствовал во второй школе, я не стал школьным человеком и стал им отчасти уже в 19 школе под влиянием Б. П. Гейдмана и И. Е. Точилиной, но все же настоящей «училки» из меня не получилось...